

## Итальянская новелла Возрождения, Джованни Боккаччо

Новелла итальянского Возрождения – явление в мировой литературе, быть может, единственное. Единственное не в смысле абсолютного художественного достоинства, но в смысле долголетия, жанровой устойчивости и влияния на все виды и роды итальянской, да и не только итальянской, литературы. Именно в новеллистике полное всего выразились черты того умственного движения, которое сопряжено с открытием «мира и человека» и с утверждением того великого переворота, который был назван Возрождением.

Представленные в сборнике новеллы обнимают двести пятьдесят лет деятельной жизни этого жанра: от Джованни Боккаччо до Шипионе Баргальи. Сегодня эту долгую жизнь принято рассматривать двояко: либо видеть в ней единство, либо видеть раздор, непрерывное противоборство, борьбу за выживание. Все же главное в ней – единство, хотя была и междоусобица, спасавшая, впрочем, жанр от омертвения.

У истоков итальянской новеллистики стоит титаническая фигура Джованни Боккаччо, являвшегося наряду с Петраркой отцом итальянского Возрождения. Именно они положили начало национальному литературному языку, национальной литературе и, в духовном смысле, осознанию единства Италии.

Боккаччо не был создателем новеллы как таковой, если под ней понимать просто какой-то короткий несложный рассказ, имеющий характер некоторой новизны, сообщения чего-то доселе неизвестного в устной или письменной форме. Но именно Боккаччо создал литературную форму новеллы со своими повествовательными законами и языком. Мало того, что он создал новеллу, он создал систему объединения новелл в нечто более целое, подчинив ее этому целому. Он создал «Декамерон», книгу, из ста продуманно составленных новелл, в которой с невиданной еще в повествовательной литературе силой выразил мироощущение нового, свободного от средневековых пут человека; создал книгу, которая на целых двести пятьдесят лет стала образцом для всех итальянских писателей, работавших в этом жанре.

После смерти Боккаччо и с победой предначертанного им гуманизма наступила эпоха усиленной латинизации литературы. Значение гуманизма прежде всего в его всеобщности, в том, что он менее всего тяготел к местной изолированности культуры. В условиях тогдашней политической, социальной и языковой раздробленности Италии то был фактор огромного прогрессивного смысла. Именно гуманисты поддерживали столь необходимое тогда духовное единство, пробуждали национальное сознание, вырабатывали новые моральные и эстетические нормы. Латынь гуманистов была не отступлением от национального начала, но, если угодно, средством его обогащения, распространения при кажущейся его консервации. Тот же Боккаччо, как автор сочинений на народном языке, с легкой руки гуманистов стал явлением общеевропейским. И вовсе не произвольно они переводили новеллы из «Декамерона» на латинский язык! Когда же наступила историческая пора и общество было подготовлено, он снова заговорил в полный голос на своем, народном.

Читатель этого сборника легко поймет, что Боккаччо был все же не единственным новеллистом своего времени. Хронологически почти рядом выступают и безымянный Сер Джованни, по прозвищу Флорентиец, и Франко Саккетти. И как бы ни были несравнимы масштабы, и Сер Джованни и особенно Саккетти тоже не прошли бесследно для последующей традиции. Сер Джованни прославился уже одним тем, что сюжетом его новеллы воспользовался Шекспир для своего «Венецианского купца». Новостью явилось и использование ими близких по времени исторических событий. От интереса к историческому прошлому рукой подать до понимания истории уже не как однолинейных случайных сцеплений, а как смены состояний.

Саккетти нередко выставляют антиподом Боккаччо. Это не так. Склонность к просторечию и неприятие более благозвучной речи свидетельствуют лишь о личной

культуре и вкусовых пристрастиях. Известно его уважение к Боккаччо. Но гуманизм, как умственное течение, его мало интересовало. Он предпочитал быт и ту городскую флорентийскую среду, в которой вырос. Новеллы его, часто смахивающие на частный житейский анекдот, были злободневны и пользовались спросом не только при жизни. Многие из новеллистов гораздо более позднего времени все еще обращались к Саккетти и охотно заимствовали у него не только сюжеты, но и способы его обработки.

В XV веке, после некоторого ослабления интереса к новелле, интерес к ней возродился во второй половине века. И возродился он сразу в двух центрах тогдашней ренессансной культуры – Флоренции и Неаполе.

Во Флоренции это произошло в кружке Лоренцо Великолепного де Медичи, некоронованного властителя Флоренции. Анджело Полициано написал сборничек фацетий (коротких новелл-анекдотов), а Луиджи Пульчи – новеллу о сиенце, давнем предмете насмешек для любого флорентийца. Не остался в стороне и сам Лоренцо Медичи. Он сочинил «Новеллу о Джакомо», где досталось не только простофилю супругу героини новеллы Кассандры, но прежде всего монашескому сословию. Искать в ней особого антиклерикализма не стоит. Высмеивание монашеского лицемерия стало традицией со времен Боккаччо, но дух свободомыслия в ней несомненно присутствует.

Но все это были частные эпизоды, хотя и очень примечательные для становления итальянской прозы.

Самым же крупным новеллистом XV века явился, вне всякого сомнения, Томмазо Гуардати, называвший себя Мазуччо Салернитанцем (ибо был он родом из Салерно). Его «Новеллино» состоит из пятидесяти новелл поделенных на пять декад. Мазуччо писал на итальянском языке, но не без охоты использовал и местный диалект. Это дает извечное основание причислить Мазуччо к демократической (если не низовой) струе итальянской ренессансной литературы. Мазуччо придерживался «контрастного» метода в своем писательском деле. Он полагал, что «различия вещей противоположной природы» будут от этого только яснее. Но, видимо, он усматривал кричащие противоречия не только в отдельных вещах, но и самом переживаемом им историческом бытии. Отсюда горечь и резкость, трагичность многих его страниц. Неаполитанская жизнь того времени давала для этого все основания.

#### Новелла Чинквеченто

Развитию и чрезвычайной распространенности новеллистики в XVI веке (по-итальянски Чинквеченто) способствовали разные причины. Одной из них было свойство самого жанра, емкого и гибкого, способного в самых многообразных формах (комической и трагической, реалистической и сказочной) показать человека хорошего или плохого, достойного или порочного, но всегда нового, ставшего центральным героем истории.

Невиданному еще утверждению новеллы на итальянской литературной арене способствовало и восхищение, почти преклонение перед Боккаччо. Быть может, было оно не меньшим в предшествующем веке, но теперь под него подвели теоретическое обоснование и возвели как бы в абсолютную норму в лингвистическом плане усилиями Пьетро Бембо, поэта и авторитетного теоретика, автора диалогизированного трактата в защиту национального языка (1525). Новеллисты XVI века сознавали отчетливее своих предшественников, что «Декамерон» является не только неиссякаемым источником структурных схем и повествовательных ситуаций, но, и это важнее всего, образцовой речевой моделью.

В XVI веке ренессансный индивидуализм в своем преимущественно буржуазном контексте нашел в новелле лучший – по сравнению с рыцарскими и мифологическими поэмами или биографиями знаменитых людей – способ самовыражения, а читатель – возможность узнать о себе и о своем времени. Авторы новелл любили подчеркнуть «реализм» своего повествования, правдивость описываемых событий. Ведь Боккаччо, наряду с событиями

географически и исторически несомненно правдивыми, касался и сюжетов сказочного, чудесного характера, и таких, в которых чувствовался привкус средневекового ехемплум (примера, назидания). Недаром в своем вступлении к «Декамерону» автор говорит, что среди предлагаемых ста повестей читатель найдет «побасенки, притчи, истории». Мазуччо также во многих своих новеллах изображал хорошо ему знакомую реальную жизнь (Неаполя, Салерно, использовал местную провинциальную хронику, интересовался распрями между салернитанцами и амальфитанцами, не упускал даже хозяйственных частностей) или какие-нибудь события из преданий знатных домов. Но в своих новеллах он любил подчеркнуть исключительность, трагическую контрастность рассказываемого.

В отличие от предшественников новеллисты Чинквеченто не только любят создавать в своих повестях реальный фон, но и стремятся всячески подчеркнуть историческую достоверность описываемых событий (даже когда эти события являются плодом чистого вымысла). Достигается это с помощью вступительных предуведомлений или таких формул в самом повествовании, как «по обычаю», «как это водится у нас», «подобно бесконечному числу сходных случаев» и т. д.

С другой стороны, именно в Чинквеченто в литературу включается на равных правах материал народной сказки (фьябы). Этому особенно способствовал Страпарола в своих «Приятных ночах». Но и ей он старается придать реальное обличье. Входит в моду также и восточная сказка, к примеру у Фиренцуолы.

Вообще же надо сказать, что источники новелл XVI века весьма разнообразны. Помимо Боккаччо, его современников и писателей следующего за ними века (не только итальянских, но и французских), ими являлись и античные классики (Валерий Максим, Апулей и, конечно, позднегреческий роман), и латинский Петрарка. Из его сочинений «Regum memorandum» [1 - «О достопамятных событиях» (лат.).] и др. почерпнули сюжеты для своих новелл многие писатели.

Из обширной панорамы новеллистики XVI века можно лишь в целях упрощения исключить многочисленные произведения других; жанров, либо непосредственно оплодотворенных новеллой, либо включающих в себя самые настоящие новеллы, пусть в стихотворном или диалогизированном виде. Достаточно сослаться на поэму Ариосто «Неистовый Роланд». В ней среди второстепенных эпизодов встречаются совершенно самостоятельные новеллы, пронизанные очень личным виденьем мира и личным опытом. Об итальянской комедии XVI века, пропитанной духом «новеллистичности», и говорить нечего. Многие из тогдашних комедий являются самыми настоящими новеллами в диалогах. Впрочем, вопрос этот, любопытнейший сам по себе, интересует нас в данном случае как наглядное доказательство роли новеллистического жанра.

О его популярности, сравнимой разве что с популярностью романа у испанцев, можно привести множество свидетельств современников. Долгое время ошибочно полагали, что едва ли не основным путем распространения новеллы была устная традиция. Но второй половине XVI века, когда интерес к новелле достиг апогея, издатели, уже не довольствуясь авторскими сборниками, начали собирать самые ходовые из них в специальные антологии. Особой известностью пользовалась антология, составленная Франческо Сансовино под названием «Сто новелл на народном языке лучших авторов». Выпущенная впервые в 1561 году, она выдержала одно за другим девять изданий с новыми прибавлениями. В конце концов в ней оказалось сто шестьдесят пять новелл (от Боккаччо, Сера Джованни и Мазуччо вплоть до современников, то есть писателей XVI века).

Тяга XVI века к регламентации языкового и литературного материала коснулась и новеллы. Виднейшим зачинателем этой регламентации был Кастильоне, автор знаменитейшего трактата «Придворный», настольной книги просвещенных людей позднего Возрождения, в которой Кастильоне изложил свои взгляды на образцовый литературный язык, а завершили ее братья Баргальи, Шипионе и Джироламо, первый в своих

«Забавах», второй – в «Диалоге об играх». В последующий период итальянская новеллистика ничего по-настоящему примечательного уже не дала. Расцвет новеллистики Чинквеченто падает на промежуток между книгами Кастильоне и Баргальи.

Между ними есть существенная и весьма показательная разница, Кастильоне говорил о новелле, как и о факетии и «мотто» (острое, находчивое «словцо»), в плане своих теоретических рассуждений об «изящной речи», подобающей «совершенному человеку», и потому рассматривал новеллы как законченное единство. Баргальи – и как единство тоже, но преимущественно как часть более общего целого. Вырастает потребность в придаче новеллам большей значительности. Перед ними либо ставится поучительная, воспитательная цель, либо они объединяются в сложные своды, делятся, как например у Шипионе Баргальи, на «Дни» и «Ночи», позволяя, таким образом, вводить разнообразный и вроде бы инородный материал вплоть до всевозможных интеллектуальных игр и ученых диспутов. Стало быть, есть определенные закономерности в развитии новеллистического жанра от простейших его форм к более изощренным.

Ясно и то, что одной хронологии недостаточно для обнаружения разнообразия новеллы Чинквеченто. Поправку может дать ее «география». Есть определенная разница между характером Североитальянской новеллы и Тосканской. Если для последней, быть может отчасти в силу местных литературных пристрастий, пример Боккаччо особенно близок и озорная проделка и любовная тема занимают в ней значительное место, то для новеллы северян характерна большая широта в выборе тем: тут и любовная (с комическим или трагическим разрешением), и озорные проделки, и современная черная хроника, сказка, рыцарские деяния, придворная жизнь. Некоторые из новеллистов-северян были завсегдатаями придворных аристократических салонов (венецианец Парабоско) или сформировались при дворах Северной Италии (Да Порто, Страпарола, Банделло). По сравнению с «буржуазными» тосканцами, Граццини и Фортини, в рассказах северян чувствуется больший отрыв от народной стихии, хотя одному из них, Страпароле, удалось, как и его тосканскому собрату Фиренцуоле, – обогатить язык новеллы живой разговорной речью.

Но разница существует не только между северянами и тосканцами. Пожалуй, законно говорить и о разновидностях Тосканской новеллы, о новелле Флорентийской и Сиенской. Для тосканцев характерен один незыблемый образец: Джованни Боккаччо, в то время как для сиенца, допустим Фортини, образцом, помимо Боккаччо, служили и другие новеллисты; Саккетти и Мазуччо, а для Баргальи еще и Бембо и Кастильоне. Разница предопределялась и укладом местной жизни, и самой историей, и междоусобицами. Но все же разница между сиенской и флорентийской школами не так ощутима, как между новеллистикой севера Италии и Тосканы. Чаще они разнятся по тематическому признаку, нежели по формальному.

#### Новеллисты-северяне

Луиджи Да Порто написал одну-единственную новеллу «История двух благородных влюбленных». Она-то его и прославилась. Впервые она была напечатана в Венеции в 1530 году и в более пространной редакции в 1539-м, через десять лет после смерти автора. Историю эту якобы рассказал новеллисту подчиненный ему лучник во время переезда из Градиски в Удине. На самом деле новелла Да Порто основана на трагической истории «О сиенце Мариотто, влюбленном в Ганоццу». Автор этой трагической истории Мазуччо Салернитанец, и напечатана она в его «Новеллино» (первое издание – 1476 год). Да Порто перенес действие из Сиены в хорошо ему знакомую Верону. Потом эту фабулу обработал Банделло, а Герардо Больдьери переложил ее октавами в «Несчастной любви двух верных влюбленных, Джулии и Ромео» (Венеция, 1553). И наконец, всемирную славу доставил этой истории Шекспир.

Оригинальность Да Порто в обработке сюжета Мазуччо не подлежит сомнению. Из сравнения двух новелл наглядно выступает разница между новеллистом XV века и новеллистом первой половины XVI века. И выступает она уже не в частности, а

отражает два типа литературного сознания.

В новелле о Ромео и Джульетте самая атмосфера и описываемые чувства резко отличаются от абстрактной и нарочитой обстановки, созданной фантазией Мазуччо. Мазуччо неоднократно по разным поводам считает нужным подчеркнуть необычность рассказываемого. Да Порто, напротив, все вводит в рамки обыденности (вот-де жили в городе два знатных семейства, и между ними, как водится, возгорелась люта я вражда...). История, рассказанная Да Порто, развивается в конкретном месте и в конкретное время. Неопределенному времени Мазуччо («не так уж прошло много времени») противопоставлено время исторически определенное, время братоубийственных междоусобиц в Вероне XIV века. Почти беспредельному пространству Мазуччо (от Сиены до Александрии в Египте, да еще с экзотическими корсарами и торговцами) противопоставлено крохотное пространство, ограниченное Вероной и окрестностями.

Любовь Ромео и Джульетты развивается в обстановке обычных семейных отношений, чуждых неумеренной фантазии Мазуччо. Да Порто без нажима изображает внезапную любовь юной девушки, нежную заботливость ее родителей, думающих излечить тоскующую дочь с помощью брака и тем только усугубляющих ее горе. Нежная забота матери, гнев отца... Словом, все просто, правдиво. В соответствии с общим тоном повествования вводятся и пейзажные куски, почти всегда мотивированные действием или настроением героев.

Не выбиваются из общей тональности и второстепенные персонажи. У Мазуччо гонец, долженствующий известить юношу о мнимой смерти возлюбленной, «схвачен корсарами и предан смерти». У Да Порто он просто не застаёт Ромео дома и оставляет письмо у себя.

Вот это банальное, казалось бы, недоразумение предопределяет трагическую развязку. От этого она только страшнее, для читателя действеннее. Чем незамысловатее, чем случайнее непосредственная причина, тем сильнее она поражает воображение.

Мариотто (у Мазуччо) возвращается в Сиену на могилу Ганоццы. Его схватывают и казнят, а возлюбленная, бежавшая в Александрию в поисках Мариотто, оканчивает свои дни в монастыре. Тут все смещено в пространстве и времени. У Да Порто развязка наступает в фамильном склепе, где погребена мнимо умершая Джульетта. Влюбленные гибнут вместе. И напиши Да Порто заключительную сцену покороче, он наверняка создал бы литературный шедевр. Нашел же он изумительную по лаконизму и взвешенности концовку: «Таков жалостный конец любви Ромео и Джульетты, как описано мною и как мне поведал Перегрино из Вероны».

«Новелла о находчивом монахе» Джироламо Парабоско, венецианского музыканта и литератора, взята из любопытного и показательного для новеллистов-северян сборника «Потехи» (1550?). Большая часть недолгой жизни этого писателя протекла в Венеции. Он был вхож в местные аристократические и артистические кружки и салоны. Посетителей одного из таких великосветских салонов Парабоско вывел в своем сборнике «Потехи», и среди них известных литераторов: Пьетро Аретино, Спероне Сперони, Джован Баттисту Сусио, Даниэля Барбаро и других. С самого начала понятно, что поездка на венецианскую лагуну под предлогом рыбной ловли – обычная литературная фикция. Плохая погода загоняет светскую компанию в рыбацкую хижину, где в течение трех дней она предаётся спорам о том, что такое любовь истинная и ложная, изоощряется в остроумии, развлекается всевозможными играми. Ну и, конечно, рассказываются по ходу спора о любви соответствующие случаи (новеллы). Словом, чисто интеллектуальная светская игра. И большинство из семнадцати входящих в сборник новелл тоже подчинены этому «игровому», умозрительному началу, доказательству какого-то априорного, часто парадоксального тезиса. Публикуемая новелла о находчивом монахе – редкое среди них исключение.

Более плодовитым новеллистом-северянином, в значительной мере венецианцем, был Джованфранческо Страпарола, умерший примерно в один год с Парабоско. Ему принадлежит сборник под названием «Приятные ночи», в полном издании включающий

семьдесят пять новелл, якобы рассказанных в течение тринадцати дней карнавала и сопровождаемых всякий раз стихотворной загадкой.

Своей первоначальной славой сборник обязан тем новеллам, которые построены на материале сказок (фьяб), имевших широкое хождение среди венецианской публики. Впрочем, многие из этих новелл-сказок Страпарола заимствовал из латинского сборника «Новелл» Морлини. Более двадцати из них являются, в сущности, простым переводом. Из Италии слава Страпаролы перекинулась в соседнюю Францию. В 1560 году там была переведена первая часть «Ночей», а в 1572 году – вторая. Однако, несмотря на счастливую литературную судьбу, новеллы-сказки Страпаролы никак нельзя признать лучшими в сборнике. Безликость – их главный недостаток. В них нет того, что поражает воображение, в них нет «волшебства». Истинная заслуга Страпаролы в другом. Если не считать двух новелл, написанных на диалекте (V,3 и V,4), Страпароле удалось и в некоторых других новеллах уловить то национальное, народное начало, которого в эпоху Чинквеченто так чурались многие новеллисты, приверженцы ненационального, придворного начала, поднятого, по словам Антонио Грамши, «на щит нашими риторамии». Несомненной заслугой Страпаролы является также и то, что он, будучи венецианцем, способствовал утверждению тосканской языковой нормы, ставшей в конце концов и нормой общеитальянского литературного языка.

С другой стороны, любопытно и другое. Если в языке Страпаролы проявлялись живость и непритязательность, проницательно отмеченные Де Сапкτισом, классиком итальянского литературоведения, то с изобразительностью дело обстояло хуже. Слух у него был развит куда лучше, чем глаз. В картинных описаниях вместо живости появлялась подмалевка, вместо непритязательности – надуманность и дурной вкус.

Переходя к лучшему из новеллистов Чинквеченто, к Маттео Банделло, хотелось бы обратить внимание читателя на две схожие по сюжету новеллы: новеллу II из второй «Ночи» Страпаролы, рассказывающую о том, как в Болонье «три прелестные дамы жестоко надсмеялись над студентом Филеньо Систерна, и он воздает им тем же, устроив ради этого пышное празднество», и новеллу Маттео Банделло (новелла III, часть первая) «О том, как некая дама издевалась над молодым дворянином и как он отплатил ей за все сполна». Кто у кого заимствовал сюжет новеллы – значения в данном случае не имеет, тем более что обе они восходят к новелле Боккаччо (новелла II восьмого дня).

Пусть особенное внимание читатель обратит на описательные куски у двух новеллистов. Он легко заметит, как внешней декоративности, искусственности Страпаролы противостоит сочная красочность Банделло. У Страпаролы был дар рассказчика, но не было живописного дара. Банделло же, вслед за такими писателями, как Ариосто, был и замечательным живописцем. Но не только этот дар сделал его лучшим новеллистом века.

Незаурядное его дарование сказалось и в том решительном и вполне сознательном отходе от, казалось, бесспорной до него модели «Декамерона». Повествовательный материал он организует по совершенно иным правилам. Обращения, которые Банделло предпосылает новеллам, ставят своей целью не столько воздать хвалу тому или иному могущественному вельможе или литератору, сколько для того, чтобы дать читателю ключ для верного понимания следующего за обращением рассказа.

В посвящении читателям, которое предваряет третью часть «Новелл», автор говорит о своем интересе к «многообразным событиям». О каких событиях идет речь? В посвящении к новелле XXI второй части Банделло это уточняет. Речь идет о том, что он хочет «собрать воедино происшествия наших дней, а также то, что произошло во времена наших дедов». Времена дедов далее толкуются еще более расширительно, и становится ясным, что речь пойдет и о временах очень далеких. Но на первом месте все же современная хроника. Далекие события нужны лишь в качестве авторитетного «примера» и назидания. Хронику своего времени Банделло написал. Но это была хроника безрадостная. Банделло сомневался, а то и вовсе не верил в совершенствование человека, в прогресс. Мотивировки поступков казались ему неизменными. Находясь в зените эпохи Возрождения, питаясь его идеями, Банделло недоверчиво относился к

человеческой *virtus*[2 - Добродетели (лат.)]. Отсюда его стремление как-то регламентировать действительность, ввести ее в определенные схемы. Отсюда стремление сгруппировать, систематизировать возможные жизненные ситуации, дабы извлечь из них некое поучение. Иногда эти поучения оказывались крайне обнаженными и упрощенными. Так, новелла IV первой части (многократно публиковавшаяся на русском языке), повествующая об истории любовных страстей и смерти графини ди Челан, почерпнутая из черной современной хроники, в угоду принятому для себя закону оказывается нужна Банделло лишь как назидание. Смысл назидания сам Банделло раскрывает во вступлении к рассказу: знатный человек не должен жениться на женщине «из простой семьи и незавидного происхождения».

Но, разумеется, для последующих поколений смысл новелл Банделло вовсе не исчерпывается субъективными, порой жестко идеологизированными, намерениями автора. Главной оказывается объективная художественная правда. И Банделло-художник оказался сильнее Банделло теоретика и мыслителя-скептика. Он оставил целую панораму ярких, часто кровавых событий и галерею портретов сильных, жестоких, а порой и нежных, но всегда цельных людей своего удивительного века.

### Новеллисты-флорентийцы

Республиканец, противник Медичи, бежавший во Францию и там нашедший себе приют при дворе сперва Франциска I, а потом Генриха II, Луиджи Аламанти написал одну-единственную новеллу «Бьянка, дочь Тулузского графа...». Это, пожалуй, один из немногих образцов чисто «рыцарской» новеллы. Главные ее достоинства – богатство фантазии и добрые чувства (осуждение скупости и восхваление истинного благородства), В этом смысле она нимало не рознится с сочинениями в других жанрах, вышедшими из-под пера Аламанти: его театральными пьесами и рыцарской поэмой. В развитии итальянской новеллистики «Бьянка, дочь Тулузского графа...» роли не сыграла, но лишней раз обнаружила внутрижанровое разнообразие итальянского короткого повествования.

В богатой и пестрой панораме первой четверти Чинквеченто Аньоло Фиренцуола, несмотря на эклектизм, занимает видное и совершенно особое место. Он явился смелым экспериментатором, пытавшимся сочетать опыт итальянских новеллистов прошлого, опыт Апулея с языковыми и изобразительными ресурсами народного характера. Культурные интересы Фиренцуолы были чрезвычайно широки: увлечение Боккаччо и произведениями Востока и античности, проблемами языка и театра, поэзией Петрарки и поэтов кружка Медичи, Берни и биографическим жанром. Не все в его творчестве одинаково удачно. Но в своих лингвистических опытах он преуспел несомненно. Заметнее всего это сказалось на его прозе, и в первую очередь на его сборнике «Беседы о любви».

Поначалу он был сторонником классической языковой нормы. Затем, вступив в полемику с ученым-педантом Триссино, пытавшимся реформировать итальянскую орфографию, Фиренцуола частично пересмотрел свои позиции. Признавая бесспорные авторитеты прошлого, Фиренцуола пришел к выводу, что тем не менее эти авторитеты никак не должны сковывать свободу современного писателя. Он призывал считаться с реальной жизнью языка, с повседневной практикой. Он писал: «Не нужно так уж тесниться друг к другу, держаться узкого кружка, порой можно и шагнуть в сторону». В стихотворном творчестве Фиренцуолы намечается отход от петраркизма, а в прозе – определенное противодействие возведению в обязательный принцип Боккаччо. Прежде всего Фиренцуола если не меняет, то облегчает самую систему обрамления повестей. Меняется и вся иерархия подачи материала: сперва, по приказу «королевы», начинается платонический диспут о любви, потом чтение стихов, потом повествовательная часть, а потом так называемые «мотто» (острословие), то есть тут заметно очевидное желание подчинить новеллу трактату. Но на самом деле связь между новеллой и диспутом оказывается почти иллюзорной уже с самого начала.

В языковом плане свидетельством отхода от Боккаччо является введение в

повествование разговорной речи, разговорных формул и оборотов. Но не нужно думать, что в своей реформе языка новеллы Фиренцуола был последователен. Новизна то и дело чередуется с классической нормой. Языковой протест сменяется имитацией. Особенно это заметно в сходных с боккачевскими новеллистических ситуациях. Дальше некоторого обновления и оживления Фиренцуола в своих языковых исканиях не пошел.

Значительно больше личностного начала в творчестве Граццини, на формировании которого как писателя сказался не только обязательный круг чтения (Данте, Петрарка, Боккаччо), но и прилежное изучение писателей более близкого времени, включая современников (Буркьелло, Пульчи, Берни, Ариосто). Со всем тем Граццини был решительный противник петраркизма, аристотелизма и подражания древним. Всю жизнь Боккаччо оставался любимым автором Граццини. Его он называл не иначе, как Сан Джованни Боккадоро (Святой Иоанн Златоуст), но эпигоном его Граццини не стал.

Во всех литературных диспутах, в которых Граццини принимал участие, он всегда отстаивал народное начало, спорил с педантами.

Демократический, народный настрой Граццини сказался уже в его вступлении к «Вечерним трапезам» (сборнике из двадцати двух новелл). В спешный зимний день компания из пяти юношей и пяти юных дам собирается в доме одной из них не для того, чтобы рассуждать о любви, а просто после игры в снежки погреться у огня и славно поужинать.

Уже в самой этой рамке наглядно проявилось умиротворенное жизнелюбие автора, не ищущего ни бурных развлечений, ни ученых споров. Основной интерес компании (и автора) сосредоточен на новеллах, а не на отвлеченных диспутах. И тут возникает мир героев Граццини, мир лавочников, ремесленников, врачей, шутников, простонародных женщин, священников. Есть, правда, и новеллы трагические, где героями выступают люди более высокого положения. Но не эти новеллы являются наиболее удачными. Более всего Граццини дается то, что он любит и знает. Простой быт, нехитрые радости жизни – вот стихия Граццини. Чувство и знание народного языка, местного фольклора позволяют Граццини быть точным, лапидарным и, вместе с тем живописным, Новелла о Сальвестро Бисдомини – тому свидетельство.

#### Сиенские новеллисты

Среди сиенских новеллистов выделяются «народник» Фортини и аристократы братья Баргальи. Фортини работает в общей традиции новеллистического жанра. Образцом для него (как, впрочем, и для большинства других новеллистов) был в первую очередь Боккаччо. Но заметен интерес и к Саккетти, и к менее громким другим писателям. Для Баргальи ориентиром, помимо Боккаччо, служило творчество Данте и Петрарки, Бембо и Кастильоне, а также латинских авторов и среди них в первую голову Овидия.

Между 1556 и 1561 годами Пьетро Фортини собрал объемистый сборник своих новелл, изданный, за исключением VI части «Ночей», лишь в 1888–1905 годах в «Библиотекина грассочча». В сборник вошли «Дни юных влюбленных» и «Приятные, сладостные ночи влюбленных». В «Днях» пять юных дам и два кавалера, собираясь в саду, рассказывают (от воскресенья до воскресенья) сорок девять новелл. Пятницу они посвящают декламации стихотворений и переложенной в итальянские стихи апулеевской сказки об Амуре и Психее. В «Ночах», являющихся продолжением «Дней», компания собирается по вечерам и в первые пять своих собраний выслушивает лишь две новеллы. Остальное время занимает чтение стихов (платонических, печальных и простонародно-крестьянских), комедий и фарсов, а также всевозможные игры и диспуты о любви. На шестом сборище, продолжавшемся по желанию «короля» веселой компании целый день и всю ночь, рассказываются тридцать новелл.

Обрамление сборника занимает в нем весьма существенное место: в «Днях» ему отводится почти весь VI день (не считая чтения стихов), а в «Ночах» новеллы

занимают, очевидно, подчиненное место. Это обрамление в отличие от Боккаччо и большинства новеллистов XVI века, у которых оно является способом организации материала, началом, устанавливающим (пусть чисто формально!) характер и последовательность рассказов, лишено четкости. В нем не задается ни тема повестей, ни (во второй части) даже количество присутствующих «влюбленных» (их может быть и семь, и одиннадцать, и десять), ни количество положенных на одну «Ночь» рассказов, ни их порядок. Отсутствием геометрической стройности «рамки» собрания новелл Фортини резко выделяются на фоне архитектуры других новеллистических композиций эпохи и далее всех отходят от общего образца, заданного «Декамероном». Автор совершенно сознательно делает построение своего сборника «открытым». В обращении «К читателю» он прямо говорит, что не может обещать определенного количества новелл, «потому как намеренно принятая свобода позволит в зависимости от материи, трактуемой в тот или иной день, что-то добавить, убавить или переставить».

Нередко «влюбленные» рассказывают случаи, участниками которых были они сами. Все это, вместе взятое, делает границы между структурной – и повествовательной частями более стертыми.

В композиции «Дней» преимущественное место занимает еще тема любви, унаследованная непосредственно от Боккаччо, с соответствующей обстановкой, вроде «ласкающих взор прудов», «зеленой травки», «приветливых садочков»; и с большей, правда; тягой ко всякого, рода изыскам и орнаментике в духе нарождающегося маньеризма. В «Ночах» торжествует чувство новизны, интерес к странному, удивительному – словом, что-то похожее на мироощущение живописцев того времени. Писателя привлекают эффекты в изображении интерьеров, ломящихся от изобилия столов, фонтанов и садов. Тут фантазия его просто безгранична.

К серьезным недостаткам Фортини-рассказчика можно отнести отсутствие чувства меры, неумение отсеять лишнее; создаваемые им характеры часто бывают наперед заданы и строятся на одной какой-нибудь черте (фанфаронство, если это испанец или неаполитанец; скряга, если это флорентиец); монотонность в описании некоторых ситуаций, особенно в любовных сценах; случайность в выборе определений, проистекающая от зыбкости взгляда художника на описываемый мир и явления; множество стереотипных, бесцветных выражений (так, о девице, желающей познать любовь, Фортини непременно скажет, что «она уже вышла из возраста, когда мать составляет единственную ей компанию», и никак иначе); угловатость переходов от одного повествовательного куска к другому и ряд других недостатков. Но когда Фортини доводится затронуть нечто новое, необычное, еще не бытовавшее в итальянской новеллистике, слог его становится живым, повествование стройным и энергичным. Так, к примеру, обстоит дело во II новелле из «Дней юных влюбленных», публикуемой в этом сборнике.

В новеллах Фортини любовь подается как некий спектакль, непременно предполагающий зрителя. Вот почему зритель – персонаж чрезвычайно существенный для «Дней» и «Ночей». И вот в чем оправдание принятой в них системы обрамления.

Шипионе Баргальи рассматривает новеллу как «игру», как приятное времяпрепровождение изысканного общества.

В этом смысле заключительный этап эволюции ренессансной новеллы живо напоминает бесславный конец плутовского повествования в Испании, где оно из действенного, боевого жанра постепенно выродилось в развлекательное чтение, своего рода «игру» для досужего аристократического ума.

В «Забавах» Баргальи принимают участие четыре светские дамы и пять юных кавалеров, собравшихся на три последних дня карнавала 1553 года в осажденной испанцами и флорентийцами Сиене. Шесть новелл, составляющих основу сборника, распределены по трем «Дням», или «играм» («игра в вопросы Любви», «игра в храм Любви» и «игра слепцов»).

Начиная со вступления Баргальи признает своими образцами диалогизированные «Азоланские беседы» Пьетро Бембо и «Декамерон» Боккаччо. Вопрос, поставленный Бембо, «что больше ценится в любви – красота телесная или красота душевная?», получает свою разработку в «игре в вопросы Любви». У Боккаччо Баргальи заимствует важную для построения сборника мотивировку: «Подобно тому как бурная радость сменяется горем, так же точно вслед за испытаниями приходит веселье». Вот этот принцип смешения противоположностей лежит в основе «парного» расположения шести новелл Баргальи. В первых двух «Днях» противопоставлено патетичное и комическое, среда аристократическая и простонародная. Например, за новеллой, повествующей о любви представителей двух враждующих знатных сиенских семейств, следует рассказ о горожанине Гальгано де'Николуччи, вздумавшем проделать озорную шутку с любимой и оставшемся в результате посрамленным. В последнем «Дне» противоположение состоит в различных способах разрешить противоречие между вожделием и разумом. Так, в пятой новелле (публикуемой в данном сборнике) Лавинелла, достигая цели своего любовного томления, так и остается неизвестной для любовника, чем спасает свою честь и удовлетворяет желание. А в парной с ней новелле VI мадонна Маргерита успешно отстаивает свою честь от напористого посягательства кавалера, заставшего ее врасплох.

Тенденция к «нормативности», заметная у Шипионе Баргальи, была регламентирована его братом, Джироламо Баргальи (1537–1586) в «Диалоге об играх, принятых на вечерах у сиенцев» (Сиена, 1572). Он регламентировал не только игры, но и новеллистическое повествование, понимаемое как своего рода игра. Одним из главных установленных им правил является контрастная смена тона, характера повествования.

Нетрудно заметить, что наряду с утверждениями вполне еще в духе ренессансного гуманизма (научить, например, женщин: настоящей любви) в «Диалоге» Джироламо Баргальи присутствуют уже принципы тех «аристотелевских норм», которые в 1570 году систематизировал в своей поэтике Кастельветро («единое событие» и правдоподобие, отличающие историю от поэзии, цель которой – доставлять развлечение). Присутствуют в нем и мотивы откровенно морализующего контрреформистского толка (отказ от новелл, посрамляющих религию). Но господствующими они станут у новеллистов уже более позднего времени. Это уже эпилог итальянской новеллы Возрождения.

Это не значит, конечно, что новеллы вообще перестали писать, что жанр полностью себя исчерпал, был отменен другими видами повествования. Писались новеллы и позже, но теперь их питала уже не повседневность, не жгучие вопросы действительности. Итальянские новеллисты семнадцатого и восемнадцатого веков и даже начала девятнадцатого века продолжали культивировать жанр Возрожденческой новеллы, но именно «культивировать», ставя перед собой задачи преимущественно литературные, стилизаторские, имитируя по личной вкусовой прихоти то новеллистов четырнадцатого века (назад к Боккаччо!), то шестнадцатого века, беря за образец Банделло.

Весьма показательно, что заядлым «тречентистом» (так называют в Италии писателей четырнадцатого столетия) проявил себя многоопытный литератор самого конца века Просвещения – первой четверти XIX века Антонио Чезари.

В эпоху романтизма, когда интерес к национальному прошлому особенно обострился и когда романтики в спорах с классицистами начали в полемическом задоре вербовать под свои знамена художников даже очень отдаленных времен, как бы подыскивая себе подходящую родословную, новелла Возрождения оказалась для них чрезвычайно привлекательной. И дело не столько в том, как она использовалась в теоретических распрях, а в том, что на нее реально опирались создатели исторического романа, ставшего наряду с исторической драмой, одним из ведущих жанров итальянского романтизма.

Но поистине самым замечательным заключительным аккордом многовековой истории итальянской новеллистики, начавшейся, на заре Возрождения, явилась книга Стендаля,

этого самого «итальянского» из писателей не итальянцев. «Итальянские хроники» Стендаля – своего рода литературное чудо проникновения в самый дух итальянской новеллистики эпохи Возрождения, как бы квинтэссенция ее, тончайшее проникновение в итальянский характер и итальянскую жизнь, увиденные глазами писателя новейшего времени. Это ли не символ поразительной живучести дела Боккаччо и Банделло?

Н. Томашевский

Итальянская новелла Возрождения

Джованни Боккаччо

Из «Декамерона»

День второй

5

Андреуччо из Перуджи, приехав в Неаполь покупать лошадей, в течение одной ночи подвергся трем опасностям и, всех трех избежав, возвращается домой владельцем рубина

Сколько мне известно, жил-был в Перудже некий юноша по имени Андреуччо ди Пьетро, по роду занятий своих – лошажник. Сведая, что в Неаполе кони дешевы, он, хоть и никогда прежде из дому не выезжал, положил в карман кошелек с пятьюстами золотых флоринов и вместе с другими купцами отправился в Неаполь. Прибыв туда в воскресенье под вечер и расспросив обо всем своего хозяина, он наутро пошел на Рыночную площадь, увидел множество добрых коней, так что у него глаза разбежались, приценился к одному, к другому, но в цене не сошелся, а чтобы показать, что он в самом деле намерен купить коня, неопытный и неосторожный Андреуччо каждый раз доставал из кармана кошелек с флоринами напоказ сновавшему люду. Случилось, однако ж, так, что, пока он торговался и всем показывал свой кошелек, некая юная сицилийка, первейшая красавица, готовая, однако ж, всякому угодить за самое скромное вознаграждение, прошла мимо него, и он-то ее не заметил, а она-то его кошелек заметила, а заметив, тут же сказала себе: «Если б эти деньги достались мне, то уж я бы себе ни в чем отказу не знала!» И пошла дальше. С девицей шла старушка, тоже сицилийка, и как увидела она Андреуччо, тотчас бросила свою спутницу и крепко его обняла. Девица же молча отошла в сторонку и начала поджидать ее. Андреуччо оглянулся и, узнав старушку, обрадовался ей чрезвычайно, она же, не тратя лишних слов и пообещав зайти к нему в гостиницу, пошла своей дорогой, после чего Андреуччо снова начал приторговывать себе коня, но в то утро все старания его остались безуспешны. Меж тем девица, чье внимание привлек к себе сначала кошелек Андреуччо, а потом его знакомство со старушкой, задалась целью сыскать способ завладеть всеми его деньгами или, на худой конец, хотя бы их частью, и того ради принялась осторожно выведывать у старушки, кто он таков и откуда, что он здесь делает и где они познакомились. Старушка рассказала ей про Андреуччо почти так же подробно, как он сам мог бы о себе рассказать, оттого что она долго жила в услужении у его отца, сначала в Сицилии, а потом и в Перудже; сверх того, она сообщила ей, где он остановился и зачем прибыл.

Получив достоверные сведения обо всех родственниках его и о том, как их зовут, девица именно на этом хитроумно и основала корыстолюбивый расчет свой. Возвратившись домой, она нарочно задала старушке работы на целый день, чтобы той некогда было сходить к Андреуччо, и, позвав служанку, великую мастерицу оказывать подобного рода услуги, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччо. Придя, наперсница случайно столкнулась с ним в дверях; он был один, и она у него же про него и спросила. Андреуччо ответил, что он, мол, самый и есть; тогда она отвела его в сторону и сказала: «Мессер! Бели вы ничего не имеете против, одна здешняя знатная дама хотела бы с вами побеседовать». Услышав это, Андреуччо призадумался: будучи высокого мнения о своей наружности, он вообразил, что дама в него влюбилась, как будто на нем свет клином сошелся, и поспешил ответить, что рад был бы с нею встретиться, но только где и когда?

Служанка же ему на это сказала: «Не угодно ли вам, мессер, следовать за мною? Она ждет вас у себя».

Андреуччо ничего не сказал в гостинице и тотчас же обратился к служанке: «Иди, а я за тобой».

В конце концов служанка привела его к дому своей хозяйки, проживавшей на улице под названием Труба, хотя лучше было бы назвать ее не Труба, а Трущоба[3 - Pertugio, Malpertugio (ит.) – буквально «Дыра» и «Скверная дыра» – квартал в портовой части Неаполя, там находились торговые склады и лавки. Район славился злачными местами.] – такое это было злачное место. Ничего о том не ведая и ничего не подозревая, убежденный, что идет по самой что ни на есть барской улице к прелестной даме, Андреуччо, пропустив вперед служанку, доверчиво вошел к ней в дом, поднялся по лестнице, и когда служанка позвала свою госпожу и объявила: «А вот и Андреуччо!» – увидел ее, вышедшую к нему навстречу и остановившуюся в ожидании наверху лестницы.

То была еще совсем юная особа, статная, пригожая, одетая и убранная с благопристойною роскошью. Андреуччо двинулся к ней, она же, раскрыв объятия, спустилась на три ступеньки и, обвив его шею руками, некоторое время стояла молча, как бы в избытке чувств; затем, со слезами на глазах, поцеловала его в лоб и прерывающимся от волнения голосом проговорила: «Добро пожаловать, мой Андреуччо!»

Озадаченный столь нежными ласками, Андреуччо в крайнем замешательстве вымолвил: «Рад вас видеть, сударыня».

Тогда она, взяв его за руку, повела наверх, к себе в валу, а оттуда, ни слова не говоря, в свою спальню, благоухавшую розами, померанцами и всякими иными ароматами, и тут он увидел пышное, ложе под пологом, множество платьев, висевших, по здешнему обычаю, на вешалках, и всяческое красивое и богатое убранство, – все это его, человека, не выдавшего света, должно было укрепить в мысли, что перед ним по малой мере важная дама. Как скоро они уселись рядом на скамье у кровати, она обратилась к нему с такими словами:

«Я убеждена, Андреуччо, что тебя приводят в изумление как ласки, которые я тебе расточаю, так и мои слезы, – ведь ты же меня не знаешь и вряд ли когда-либо обо мне слышал. Но сейчас ты услышишь нечто такое, что приведет тебя в еще большее изумление: знай же, что я – сестра твоя. Поверь: господь явил мне милость неизреченную, ибо я еще при жизни увиделась с одним из моих братьев (а как бы мне хотелось увидеть их всех!), и теперь я готова умереть в любую минуту – такое господь послал мне утешение. Если ты ничего не знаешь, то я тебе сейчас все расскажу. Как тебе должно быть ведомо, наш с тобой отец, Пьетро, долго жил в Палермо, и многие из живших там в ту пору и донине там проживающие помнят его доброту и услужливость. Но из тех, кто любил его, всех более любила его мать моя, женщина из хорошей семьи и уже тогда вдова, – столь пылко, что, отринув страх перед своим отцом и братьями, не боясь запятнать честь свою, сошлась с ним так близко,

что следствием этой их близости произошла на свет я, та самая, которую ты сейчас видишь перед собой. В дальнейшем Пьетро по некоторым обстоятельствам оставил Палермо и возвратился в Перуджу, бросив мою мать с малым ребенком и, сколько мне известно, ни разу ни о ней, ни обо мне и не вспомнив. Не будь он моим отцом, я бы горько его упрекнула за неблагодарность к моей матушке (я уж не говорю о том, как это странно, что он не испытывал никаких чувств ко мне, родной своей дочери, – ведь он же прижил меня не со служанкой и не с гулящей бабенкой), а мать моя отдала ему все, что у нее было, и себя самое, даже не зная, кто он таков, – единственно оттого, что она любила его преданнейшей любовью. Ну да что там говорить! Дурное, да еще давно минувшее, куда легче осудить, чем поправить. Что было, то было. Он бросил нас в Палермо, когда я была еще крошкой, ну, а потом я вошла в возраст и, чуть помоложе, чем теперь, по желанию матери, женщины состоятельной, вышла замуж за хорошего, происходящего от благородных родителей человека из Агридженто[4 - Агридженто – город в Сицилии.], который ради моей матушки и ради меня переехал на постоянное жительство в Палермо. Будучи ярым гвельфом[5 - То есть сторонником Анжуйского дома, изгнанного из Сицилии в 1282 г. после знаменитой Сицилийской вечери.], он вступил в тайные сношения с нашим королем Карлом[6 - Имеется в виду Карл II (1285–1309).]. Прежде чем эти сношения к чему-либо привели, про них дознался король Федерико[7 - Имеется в виду Фридрих II Арагонский, провозглашенный в 1296 г. королем Сицилии.], и вот, как раз когда я мечтала стать наизнатнейшей дамой на всем острове, нам пришлось бежать из Сицилии. Взяли мы с собой немного (сравнительно с тем, что у нас было), побросали имения и дворцы и нашли прибежище в этом городе, и тут король Карл в знак благодарности частично возместил убытки, которые мы из-за него потерпели, пожаловал нас поместьями и домами и постоянно оделяет моего супруга, а твоего зятя крупными суммами денег, в чем ты вскорости удостоверись. Вот так-то очутилась я здесь и по воле божией, а не по твоей, наконец-то увиделась с тобой, драгоценный мой братец!»

С этими словами она снова обняла его и, плача от радости, поцеловала в лоб.

Андреуччо, выслушав сию небылицу, столь складно и искусно рассказанную хозяйкой дома, ни на одном слове не споткнувшейся и не поперхнувшейся, припомнив, что его отец и правда жил одно время в Палермо, зная по себе, сколь ветрены юноши, в цветущие лета ищущие любовных походов, видя сладостные ее слезы, а равно и скромные поцелуи и объятия, все принял за самую что ни на есть чистую монету и, как скоро хозяйка дома умолкла, повел с нею такую речь: «Сударыня! Было бы странно, если бы ваш рассказ не поверг меня в смущение: мой отец воистину и вправду никогда почему-то ни о вашей матушке, ни о вас не говорил, а если и говорил, то мне, во всяком случае, ничего о том не известно, и я даже не подозревал о вашем существовании. Встретить сестру в чужом городе – это для меня тем более приятная неожиданность. Вы любому высокопоставленному лицу сделали бы честь своим знакомством, а не то что мне, мелкому торговцу. Сделайте милость, однако ж объясните мне: откуда вам стало известно, что я здесь?»

Она же ему ответила так: «Я услышала об этом нынче утром от одной бедной женщины, которая часто ко мне ходит, – она говорит, что долго пробыла в услужении у нашего отца в Палермо и в Перудже. Я рассудила, что если ты придешь в мой дом, а не я пойду к тебе в чужой, то так будет приличнее, а то бы я давно уж у тебя побывала».

Затем она начала подробно расспрашивать Андреуччо об его родственниках, перечисляя их всех поименно, и Андреуччо про всех ей рассказал, и эти ее расспросы окончательно укрепили его веру в то, во что ему не след было бы верить.

Беседа Затянулась, между тем в спальне было очень жарко, и хозяйка велела принести вина, а к нему сластей и угостить Андреуччо. Когда же настала пора ужинать, Андреуччо собрался уходить, однако ж хозяйка непустила его; разыграв отчаяние, она обняла его и сказала: «Какой ужас! Ты меня совсем не любишь – это ясно. Ты первый раз в жизни у сестры, у нее в доме, где тебе и надлежало бы остановиться по приезде, а ты отправляешься ужинать в гостиницу, – нет, это просто неслыханно!

Послушай: отужинай со мной! Жаль, конечно, что мужа моего нет дома, ну да уж я употреблю все свое женское уменье и постараюсь тебя ублажить».

Не зная, чем отговориться, Андреуччо сказал: «Я полюбил тебя так, как подобает любить сестру, но если я не вернусь в гостиницу, то меня прождут целый вечер, и это с моей стороны будет неучтиво».

Она же ему на это возразила: «Господи боже мой! Как будто мне некого послать в гостиницу сказать, чтобы тебя не ждали! Впрочем, с твоей стороны было бы любезнее – и даже это был бы прямой твой долг – пригласить своих приятелей отужинать сюда, вместе с нами, а после ужина вы бы все вместе и ушли».

Андреуччо ответил, что он и без приятелей охотно проведет вечерок и что пусть, дескать, она располагает им по своему благоусмотрению. Тогда она сделала вид, будто посылает в гостиницу сказать, чтобы к ужину его не ждали. Затем, поговорив о том, о сем, они сели за отменный ужин, состоявший из нескольких блюд, и ужин этот она с помощью различных уловок затянула допоздна. Когда же оба встали из-за стола, Андреуччо изъявил желание удалиться, однако же хозяйка объявила, что она ни под каким видом этого не допустит, так как ночью ходить по улицам Неаполя небезопасно, особливо – приезжим, и что она велела сказать в гостинице, чтобы его не ждали не только к ужину, – он, мол, и ночевать не придет. Андреуччо ей поверил, а так как он принимал ее не за то, что она представляла собой на самом деле, то ему было с ней приятно, и он остался. После ужина она не без тайного умысла повела с ним долгую беседу о разных разностях. Беседа эта зашла у них далеко за полночь, и наконец хозяйка, предложив Андреуччо расположиться у нее в комнате и оставив при нем мальчишку, чтобы он показал гостю, если тому что понадобится, вместе со служанками ушла в другую комнату.

Жарища была такая, что Андреуччо тот же час снял с себя полукафтанье, штаны, чулки и остался в одной сорочке. Но тут у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, и он спросил мальчику, где это у них тут можно проделать, – мальчик показал на дверцу в углу комнаты и сказал: «Вон там». Андреуччо, ничего не подозревая, туда вошел и нечаянно наступил на конец доски, другой конец коей был оторван от перекладки, на которой он прежде держался, – доска рухнула, с нею вместе загремел и Андреуччо, однако, по милости божией, не ушибся, хотя ему все-таки пришлось пролететь некоторое расстояние, зато весь как есть вымазался в нечистотах, коими место сие было обильно. А как оно было устроено, это я, чтобы вы яснее представили себе происшедшее и то, что за сим последовало, сейчас вам объясню. В узком проулке, как это нам нередко приходится наблюдать, от дома к дому были протянуты две перекладки, к ним были прибиты доски, а на досках сооружено сиденье; вот одна-то из этих досок и свалилась вместе с Андреуччо.

Удрученный случившимся, Андреуччо начал взывать из проулка к мальчику, однако ж мальчик, услышав стук падающего тела, опрометью помчался сообщить о происшествии своей госпоже, – та бросилась в комнату Андреуччо и начала шарить глазами, тут ли его платье; удостоверясь же, что тут и его платье, тут и его деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всюду таскал с собой и которым она, превратясь из палермитанки в сестру перуджинца, расставила силки, взяла денежки, заперла дверцу, через которую Андреуччо проник в отхожее место, а потом и думать о нем забыла.

Мальчишка меж тем не отвечал, Андреуччо стал кричать громче – ответа вновь не последовало. Вот когда у Андреуччо наконец-то возникло подозрение, и он, хотя и поздно догадавшись, что его облапошили, взобрался на стенку, отделявшую проулок от улицы, а затем спустился, подошел к хорошо ему знакомой двери дома и здесь долго и тщетно кричал, дергал и стучал. Горестно рыдая, как рыдает человек, постигший весь ужас своего положения, он вопил: «Что же я за несчастный! В мгновение ока лишился и пятисот флоринов, и сестры!»

Долго он стонал, а потом изо всех сил заколотил в дверь и так заорал, что многие из

ближайших соседей, разбуженные дикими этими криками, вскочили, а одна из служанок хозяйки этого дома, приняв заспанный вид, приблизилась к окну и недовольным тоном спросила: «Кто там?»

«Ты что, не узнаешь? – отозвался Андреуччо. – Я – Андреуччо, брат госпожи Фьордализо»[8 - Характерная для «почвенности» этой новеллы деталь: именно во времена Боккаччо в районе «Трущобы» проживала некая мадонна Флора-сицилийка.]

А та ему: «Ты, милый мой, как видно, лишнего хватил. Ступай проспись, а утром приходи. Я знать не знаю никакого Андреуччо и не могу взять в толк, что ты там мелешь. Уходи подобра-поздорову, не мешай людям спать».

«Уж будто ты не догадываешься, о чем я толкую? – воскликнул Андреуччо. – Еще как догадываешься! Но уж если сицилийцы так скоро забывают родственников, верни мне, по крайности, платье, и я пойду себе с богом».

Служанка, давясь хохотом, проговорила: «Да, ты, никак, спятил, мой милый!» – захлопнула окно и скрылась в глубине комнаты.

Тут Андреуччо совершенно удостоверился, что его обобрали, горечь утраты едва не обратила великий его гнев в бешенство, и он решил взять силой то, чего не мог добыть добром; того ради он схватил большой камень и давай опять колошматить в дверь, нанося еще более мощные удары, чем прежде. Многие из соседей, которые уже проснулись и встали, вообразив, что это какой-нибудь грубиян выдумывает всякий вздор, чтобы досадить порядочной женщине, обозленные его стуком, высунулись в окна и залаяли на него, как лают собаки на ту, что забежала не на свою улицу: «Ты что, невежа эдакий, разорался в такой поздний час, честным женщинам покою не даешь своими враками? А ну, милый человек, ступай с богом, дай людям поспать! Коли есть у тебя до нее дело, так приходи завтра, а по ночам не буянь».

То ли эти слова подстрекнули мужчину, находившегося в доме у добропорядочной женщины, ее сводника, которого прежде было видом не видать, слухом не слышать, но только он приблизился к окну и гласом громким, грозным и устрашающим возопил: «Кто там?»

Андреуччо поднял голову и, с трудом различив в темноте здоровенного детину с густой черной бородой, который словно только что спал крепким сном и теперь зевал спросонья и протирал глаза, не без тайной робости ему ответил: «Я брат хозяйки дома».

Однако же тот, не дав Андреуччо договорить, еще более злобным голосом промолвил: «А вот я сейчас спущусь и так тебя вздрючу, что ты забудешь, как тебя звали. Осел ты надоедливый, пьянчужка несчастный, всю ночь людям спать не даешь!» Тут он затворил окно и отошел.

Соседи, изучившие нрав этого человека, уже со страхом обратились к Андреуччо: «Ради Христа, милый человек, иди себе с богом, а не то тебя укокошат. Уходи, если тебе жизнь дорога».

Устрашенный и голосом и обличем этого человека, проникшись доводами соседей, казалось, искренне сочувствовавших ему, подавленный случившимся, утратив всякую надежду на то, что ему возвратят деньги, Андреуччо тою же дорогой, по которой его вела сюда служанка, пошел в гостиницу. Так как ему самому неприятно было распространяемое им зловоние, то он вознамерился выйти к морю и вымыться и для того повернул налево и пошел по Каталонской улице. И вот когда он шел по направлению к морю, то вдруг увидел, что навстречу ему идут двое с фонарем, и подумал, что это сыщики или же какие-нибудь злоумышленники, и, чтобы не попасться им на глаза, незаметно юркнул в стоявший на отшибе необитаемый дом. Однако те двое, как будто их именно в этот дом и послали, вошли сюда же, и тут один из них свалил с плеч какие-

то железные орудия, после чего он и его спутник принялись их рассматривать и обсуждать их достоинства.

Наконец один из вошедших не выдержал и сказал: «Что за черт? Тут так воняет – просто сил никаких нет!» Сказавши это, он приподнял фонарь, и тут они оба узрели беднягу Андреуччо и в изумлении окликнули его: «Ты здесь зачем?»

Андреуччо промолчал, они же, вплотную подойдя к нему с фонарем, спросили, где это он так перемазался и что он здесь делает. Тогда Андреуччо поведал им без утайки все свое злоключение. Те, живо смекнув, где это с ним могло приключиться, сказали друг другу: «Наверное, у мошенника Буттафуоко»[9 - Имеются сведения о реальном существовании этого сицилийца, сторонника Анжуйского дома. В новелле имеется много временных смещений, хронологических неувязок. Но, главное, Боккаччо воспроизводит с удивительной точностью атмосферу жизни современного ему Неаполя, со всеми сплетнями, пересудами, городскими преданиями и легендами.].

И тут один из них, обратясь к Андреуччо, молвил: «Хотя, милый человек, у тебя деньги украли, но ты еще должен денно и ночью бога благодарить, что ты провалился, а потом не мог в дом попасть. Можешь быть уверен: если б ты не свалился, то как бы скоро ты заснул, тебя бы ухлопали, а тогда уж и денешки и жизнь – все прощай навеки. Слезами горю не поможешь. Легче звезду с неба достать, чем медный грош вернуть. Смотри: никому про это ни гугу, а то он тебя пристукнет».

Сказавши это, они друг с дружкой посоветовались, а потом обратились к нему: «Понимаешь: нам тебя жалко стало. Так вот, если ты нам поможешь в одном дельце – даем голову на отсечение: ты с лихвой будешь вознагражден за то, что у тебя стащили».

Андреуччо больше терять было нечего, и он ответил согласием.

В тот день состоялись похороны архиепископа Неаполитанского, высокопреосвященнейшего Филиппо Минутоло[10 - Филиппо Минутоло – архиепископ Неаполя; умерший в 1301 г.]; похоронили его в драгоценном облачении, с перстнем, в который был вделан рубин, стоивший пятьсот с лишним флоринов, – вот покойника-то эти двое и задумали ограбить и посвятили в свой замысел Андреуччо, а того обуяла жадность, и он без дальних размышлений пошел с ними.

От Андреуччо нестерпимо воняло, и по дороге в архиерейский собор[11 - В этом соборе похоронен архиепископ Минутоло. Его мраморная гробница находится там и по сей день. Бенедетто Кроче сообщает, что тело архиепископа, которое обнимал дрожавший от страха Андреуччо, покоится в капелле Минутоло Капече. Любопытно, что новеллу об Андреуччо рассказывает именно Фьимметта, та девушка, которой Боккаччо присвоил имя своей неаполитанской возлюбленной.] один из его спутников сказал: «Где бы это ему помыться? А то прямо с души воротит».

Другой ему: «Да тут близко колодец с валом и большой бадьей – пойдем и выкупаем его за мое почтение».

Приблизившись к колодцу, они увидели, что веревка на месте, а бадью кто-то унес; по сему обстоятельству они надумали привязать Андреуччо за веревку и спустить в колодец: отмоется – пусть, мол, только дернет за веревку, и они его вытянут. Как сказано, так и сделано.

Случилось, однако ж, что когда они спустили его в колодец, дозорные, которым захотелось пить то ли потому, что было жарко, то ли потому, что им пришлось за кем-нибудь погоняться, подошли к колодцу попить водички. Как скоро те двое увидели их, тотчас бросились наутек, так что дозорные, подошедшие напиться, не успели их заметить. Меж тем Андреуччо вымылся и дернул за веревку. Мучимые жаждой дозорные, решив, что внизу полная до краев бадья, сложили свои щиты, оружие, плащи – и давай

тянуть веревку. Когда Андреуччо убедился, что он уже вылезает, то отпустил веревку и обеими руками ухватился за стенку.

При виде Андреуччо дозорные, охваченные внезапным страхом, ни слова не говоря, бросили веревку – и врассыпную. Андреуччо немало тому подивился, так что если б он не держался изо всех сил, то, уж верно, от удивления полетел бы на дно колодца и покалечился бы, а то и убится. Когда же он спрыгнул наземь и остановил свой взгляд на оружии, которое, сколько ему было известно, товарищам его не принадлежало, то удивление его возросло. Теряясь в догадках, недоумевая и ропща на судьбу, он порешил уйти отсюда прочь и, ничего не тронув, пошел куда глаза глядят. По дороге встретились ему двое его сообщников, спешивших вытащить товарища из колодца. Столкнувшись с ним, они дались диву и спросили, кто же это его вызволил. Андреуччо ответил, что сам не знает, а затем рассказал все по порядку, не преминув добавить, что лежит подле колодца. Смекнув, как обстояло дело, те со смехом объяснили Андреуччо, почему они убежали и кто его извлек из колодца. Затем, не теряя драгоценного времени, так как давно уже било полночь, они пошли к собору, без труда в него проникли и, приблизившись к громадной мраморной гробнице, железным ломом приподняли тяжеленную ее плиту настолько, чтобы можно было пролезть человеку, а затем подперли ее.

После этого один из тех двоих спросил: «Кто полезет?»

Другой сказал: «Только не я».

«И не я, – подхватил первый, – пусть-ка Андреуччо».

«Я не полезу», – объявил Андреуччо.

Тогда они оба на него насели: «То есть как это так не полезешь? Попробуй не полезть – истинный господь, мы тебя вот этим самым ломом так по башке треснем, что из тебя душа вон».

Угроза подействовала на Андреуччо, но, влезая, он сказал себе: «Это они для того, чтобы меня околпачить: я им все передам, а как стану вылезать, они тем временем уйдут, я же останусь с носом». И тут ему пришло на мысль взять себе причитающуюся ему долю добычи заблаговременно. Вспомнив их разговор о драгоценном перстне, он, едва спустившись, поспешил снять перстень с пальца архиепископа и надеть себе на палец. Затем передал им посох, митру, перчатки, раздел покойника и, отдав им все вплоть до сорочки, объявил, что больше ничего тут нет. Те настаивали, что должен быть еще и перстень, – пусть, мол, поищет хорошенько, – а он уверял, что перстня нет, и, делая вид, будто ищет его, некоторое время подержал их в ожидании. Но они были не глупей его: велели все как есть обыскать, а сами, улучив минутку, выдернули подпорку, которая поддерживала плиту, и дали тягу, Андреуччо же оставили заживо погребенным. Можете себе представить, что восчувствовал Андреуччо, услышав над собой стук падающей плиты.

Несколько раз пытался он то головой, то плечами приподнять плиту, но старания его были бесплодны. От ужаса лишившись чувств, он упал на труп архиепископа, и если б в это мгновенье кто-нибудь посмотрел на них обоих, то затруднился бы определить, кто из них настоящий мертвец: архиепископ или же Андреуччо. А когда Андреуччо очнулся, то заплакал навзрыд при мысли, что ему, вне всякого сомнения, грозит одно из двух: либо, в том случае, если никто сюда не придет и не поднимет плиту, умереть в гробнице с голоду и от смрада, который исходил от разлагавшегося трупа, либо, в том случае, если придут и обнаружат его в гробнице, попасть на виселицу за грабеж. И он все еще предавался столь горестным размышлениям, как вдруг услышал шаги и голоса и сейчас догадался, что сюда явились какие-то люди с тою же самую целью, с какою пришли, в собор он и его сообщники, но от этого ему стало только еще страшней. Пришедшие подняли плиту, поставили подпорку и начали пререкаться, кому туда лезть, – охотников не находилось. Наконец, после долгих перекоргов, один священник

сказал: «Да чего вы боитесь? Не съест же он вас! Мертвые живых не едят. Дайте я туда слазаю». С этими словами он, запрокинув голову, оперся грудью о край гробницы и начал спускать ноги. Андреуччо приподнялся – и хватить священника за ногу, как бы с намерением стащить его вниз. Почувствовав, что кто-то его хватает, священник закричал не своим голосом и проворно выскочил из гробницы. Прочие же были до того напуганы, что оставили гробницу открытой и дернули из собора так, как будто сто тысяч чертей устремились за ними в погоню.

Тут Андреуччо, обрадовавшись столь неожиданному избавлению, мигом выбрался из гробницы и вышел из собора так же точно, как и вошел в него. Уже при свете дня Андреуччо, с перстнем на пальце, побрел наугад и, выйдя к морю, наконец добрался до своей гостиницы, – оказалось, что его товарищи и хозяин всю ночь не спали от беспокойства за него. Когда же он рассказал, что с ним стряслось, хозяин посоветовал ему немедленно покинуть Неаполь, какового совета Андреуччо тотчас послушался, а возвратившись в Перуджу, продал перстень и поехал на вырученные деньги покупать лошадей.

День восьмой

7

Студент любит вдовушку, а вдовушка любит другого и заставляет студента ночь напролет прождать ее на снегу; впоследствии по наущению студента она в середине июля целый день стоит на башне нагая, и ее жалят мухи, слепни и печет солнце

Королева велела рассказывать Пампинею, и та сейчас же начала:

– Милейшие дамы! Одна хитрость часто смеется над другою – вот почему безрассудно смеяться над себе подобными. Слушая разные историйки, мы много смеялись над всевозможными проделками, но вот об отместке за них мы не слышали ни разу. Мне же хочется вызвать у вас сострадание к одной нашей согражданке, понесшей заслуженную кару, – ее проделку ей припомнили, и она едва не стоила ей жизни. Послушать мой рассказ вам будет бесполезно – вы уже не так будете потом смеяться над другими, и в том проявится ваш превеликий разум[12 - Средневековая литература изобилует описаниями всяческих проделок, которые вытворяли женщины над поэтами, учеными, философами. Вслед за другими писателями в защиту этих «обижаемых» выступил и Боккаччо.]

Не так давно жила-была во Флоренции молодая женщина по имени Елена, красивая, гордая, славного рода и отнюдь не обойденная судьбой по части земных благ. Оставшись вдовой, она не пожелала вторично выходить замуж, так как по своей доброй воле отдала сердце некоему пригожему и очаровательному юноше и, позабыв обо всем на свете, при посредстве служанки, которая пользовалась у нее доверием безграничным, часто проводила с ним время, наслаждаясь безоблачным счастьем. Случилось, однако ж, так, что один молодой человек по имени Риньери, принадлежавший к городской знати, долго учившийся в Париже, но не для того, чтобы потом, по примеру многих других, торговать своими сведениями, а чтобы, как подобает человеку благородному, к источнику знания прикинуть и в суть и корень вещей проникнуть, вернулся тогда из Парижа во Флоренцию и, будучи весьма уважаем как за благородное свое происхождение, так и за свои познания, здесь обосновался и зажил на широкую ногу. Но те, кто отличается умом глубоким, чаще всего и теряют голову от любви, – так именно и произошло с нашим Риньери. Однажды он поехал на бал, там его взору явилась Елена в черном платье, как у нас полагается быть одетой вдове, и он усмотрел в ней столько красоты и столько прелести, сколько, как ему казалось, ни у одной женщины он до сих пор не видал. Только тот человек, думалось ему, имеет право называть себя счастливым, кого господь сподобил держать ее, нагую, в своих объятиях. Искося на

нее поглядывая, он, отдав себе отчет, что все великое и драгоценное дается нелегко, порешил не жалеть трудов и усилий, чтобы понравиться ей, понравившись – влюбить ее в себя, а добившись этого – получить возможность обладать ею. Взгляд у молодой женщины вовсе не был устремлен в преисподнюю, – напротив того, думая о себе больше, чем следовало, она ловко водила глазами и сразу замечала, кто ею любит. Обратив внимание на Риньери, она усмехнулась про себя. «Нынче я не зря сюда пришла, – подумала она. – Если не ошибаюсь, птичка попалась». И вот она нет-нет да и поглядит на него вскользь и даст понять, что он произвел на нее впечатление. Помимо всего прочего, Елена рассуждала так, что, чем больше она силою своих чар приманит и поймает поклонников, тем выше будут ценить ее красоту, в особенности тот, кому она подарила ее вместе со своею любовью.

Молодой ученый больше уже не философствовал – все его мысли были заняты Эленой. Ласкаясь надеждою понравиться ей, он разузнал, где она живет, и под разными предлогами начал прохаживаться мимо ее дома. По указанной причине это не могло не льстить ее самолюбию, и она притворялась, что его появления доставляют ей удовольствие, вследствие чего студент, воспользовавшись удобным случаем, вошел в дружбу к ее служанке, поведал ей тайну своей любви и попросил замолвить за него словечко госпоже. Служанка твердо обещала и все рассказала госпоже, – та выслушала ее и залилась хохотом. «Что же это он, нажил ума-разума в Париже и уже успел все растерять? – сказала она. – Ну хорошо, чего домогается, то от нас и получит. Когда он еще раз с тобою заговорит., скажи, что я люблю его гораздо сильнее, чем он меня, но мне нужно беречь мое доброе имя, чтобы я могла, как все честные женщины, высоко держать голову, и если он и впрямь так умен, как о нем говорят, то должен еще больше меня за это ценить». Ах, бедняжка, бедняжка! Не знала она, мои дорогие, что значит связываться со студентами. Служанка при встрече передала студенту все, что ей наказывала госпожа. Студент на радостях перешел к еще более жарким мольбам, начал писать письма, посылать подарки – все принималось, но в ответ студент получал общие фразы, и так Елена долго водила его за нос.

Она все рассказала своему возлюбленному, и тот на нее рассердился, даже стал ревновать, и вот, чтобы доказать ему, что он к ней несправедлив, она как-то раз послала к студенту, который все еще упорно домогался ее расположения, служанку, и та от ее имени ему сказала, что Елена давно уже уверилась в его чувстве к ней, что до сих пор ей все не удавалось доставить ему удовольствие, но что подходят святки, и вот-де на святках она надеется с ним побыть, так что, если ему угодно, пусть, мол, на другой день праздника вечером придет к ней во двор, а она при первой возможности к нему выйдет. Студент был наверху блаженства; в условленный час он пошел к своей возлюбленной, служанка впустила его во двор и заперла калитку, а он остался ждать Элену.

В тот же вечер Елена позвала к себе своего возлюбленного и после веселого ужина сообщила, что она затеяла в эту ночь. «Теперь ты увидишь, сколь сильное и глубокое чувство у меня было и есть к тому человеку, к которому ты так глупо меня приревновал», – прибавила она. От этих ее слов любовник возвеселился духом, и ему уже не терпелось поглядеть, как будет приводиться в исполнение ее замысел. Накануне выпало много снега, всюду намело сугробов, и студент очень скоро стал мерзеть, однако ж, уповая на награду, терпел.

Немного спустя Елена предложила своему возлюбленному: «Пойдем в ту комнату, поглядим в окошко – что поделывает тот человек, к которому ты меня приревновал, и послушаем, что он ответит служанке, – я ей велела поговорить с ним».

Они подошли к окошку, – им все отсюда было видно, а вот их никто не мог увидеть, – и подслушали разговор служанки со студентом. «Риньери! – сказала служанка. – Моя госпожа очень расстроена: к ней брат пришел, долго разговаривал, потом изъявил желание отужинать и до сих пор еще не ушел, но теперь она скоро к тебе выйдет. Она просит тебя не пенять на нее за долгое ожидание».

Не подозревавший обмана студент ответил ей так: «Скажи моей бесценной, чтобы она обо мне не беспокоилась. Нельзя так нельзя – пусть выйдет, когда освободится».

Служанка пошла спать.

«Ну? Что скажешь? – обратилась к своему возлюбленному Елена. – Если б я точно любила этого человека, как это ты себе вбил в голову, то неужели же заставила бы его мерзнуть во дворе?» Тут она и ее отчасти удовлетворенный любовник легли в постель и долго-долго блаженствовали и наслаждались, смеясь и потешаясь над злосчастным студентом.

Студент, чтобы согреться, ходил по двору и делал различные телодвижения, но спрятаться от стужи ему было негде, и он проклинал засидевшегося у Элены брата. При каждом шорохе у него возникала надежда, что это она отворяет ему дверь, но ожидания его были напрасны.

Порезвившись со своим возлюбленным до полуночи, Елена его спросила: «Как тебе, душа моя, нравится наш студент? Что, по-твоему, сильнее: его благоразумие или же моя любовь к нему? И не выморозит ли в твоей груди стужа то, что в ней поселили мои шутки?»

«Душенька моя! Теперь я вижу, что ты мое блаженство, мое утешение, моя радость, мое упование, а я весь твой!» – сказал ей в ответ возлюбленный.

«Ну так поцелуй же меня тысячу раз – тогда я тебе поверю», – молвила Елена. И тут любовник сдавил ее в объятиях и поцеловал даже не тысячу, а более ста тысяч раз.

Поговорив еще немного с возлюбленным, Елена предложила ему: «Давай встанем и поглядим, не погас ли тот огонь, в котором целый день горел новоявленный мой любовник, как он писал о том в своем письме ко мне».

Оба встали, подошли к тому же самому окошку и, заглянув во двор, увидели, что студент, промерзнув до костей, под щелканье собственных зубов выбивает на снегу чечетку, да такую быструю и частую, какой им отроду видеть не приходилось. «Что скажешь, моя отрада? – спросила Елена. – Теперь ты видишь, что когда мои поклонники ради меня вытанцовывают дробь, то им не нужны ни трубы, ни волынки?»

«Вижу, счастье мое!» – со смехом отвечал ей возлюбленный.

«Давай подойдем к двери, – предложила Елена. – Ты молчи – говорить буду я. Любопытно знать, что-то он скажет. Может, его ответы будут еще забавнее, чем его вид». На цыпочках выйдя из комнаты, они приблизились к входной двери, и тут Елена, не отворяя ее, прильнула к замочной скважине и шепотом позвала студента.

Услышав, что его зовут, и понадеявшись, что сейчас он войдет в помещение, студент мысленно возблагодарил бога. «Я здесь, сударыня, – подбежав к двери, проговорил он, – ради бога, отворите, я замерз!»

«Уж больно ты зябкий! – молвила Елена. – Какой же это холод – снегу-то ведь немного! В Париже куда больше бывает снегу! Я еще не могу тебе отворить – мой окаянный братец отужинал и не уходит. Но он скоро уйдет, и тогда я сейчас же отворю. Я от него еле вырвалась на секундочку, чтобы тебе не так томительно было ждать».

«Ах, сударыня! – возопил студент. – Отворите мне ради создателя, дайте добыть в тепле, – весь день бушевала вьюга и сейчас еще метет, а в закрытом помещении я буду ждать сколько угодно».

«Не могу, голубчик, – сказала Елена, – дверь очень скрипучая, как бы братик не

услыхал, но я его сейчас выпровожу, приду и отворю».

«Пожалуйста, поскорей! – взмолился студент. – И вот еще что: будьте добры, прикажите развести пожарче огонь, а то я весь заоченел».

«Не может быть, – возразила Елена, – ведь ты же сам писал мне, что пылаешь ко мне любовью. Да нет, ты просто шутишь надо мной! Ну, я пойду, а ты жди и не падай духом». В восторге от этого разговора любовник возвратился с Эленой в ее опочивальню, но только эту ночь они почти не спали: все только миловались да посмеивались над студентом.

А несчастный студент щелкал зубами, как волк; он уже догадывался, что над ним смеются, пытался отворить дверь, искал другого выхода и, не находя, метался, как лев в клетке, проклиная и непогодь, и женское коварство, и ночи зимней долготу, а заодно и свою простоту. Он был так сердит на Элену, что его длительная и жаркая страсть внезапно превратилась в дикую, бешеную злобу; и он уже перебирал в уме разные способы мести, один другого страшнее, ибо мести он жаждал теперь сильнее, нежели еще так недавно жаждал свидания со своею возлюбленною.

Ночь тянулась бесконечно долго, но все же уступила место дню, а когда стало светать, служанка, исполняя приказание своей госпожи, вышла во двор, отворила калитку и, изобразив на своем лице сочувствие, сказала студенту: «А, чтоб ему пусто было, вчерашнему нашему гостю! Мы из-за него всю ночь волновались, а ты тут мерзнул. Но только ты не горюй – что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Моей госпоже это было так неприятно, так неприятно, уж ты мне поверь!»

У студента в душе все кипело, но он был человек рассудительный и прекрасно понимал, что угрозы – это оружие того, кто сам находится под угрозой, а потому предпочел затаить в груди слова, под действием неукротимого гнева рвавшиеся у него наружу. Не возвышая голоса и не показывая вида, что он озлоблен, студент ответил служанке: «Откровенно говоря, такой скверной ночи у меня еще не было, но я понимаю, что твоя госпожа несколько не виновата, тем более что она меня пожалела и приходила извиниться и подбодрить меня. Ты же сама говоришь: что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Не забудь поклониться от меня своей госпоже. Ну, оставайся с богом!»

Скрючившись от холода, студент еле добрался до дому. Дома усталость и бессонная ночь сморили его, и он повалился на постель и заснул; когда же он проснулся, то ему показалось, что ни рук, ни ног у него нет. Тогда он послал за лекарем и, рассказав, как он продрог, попросил его принять меры. Лекари применили к нему средства сильные, действующие быстро, и все же им лишь по прошествии некоторого времени удалось привести его мышцы в такое состояние, что они вновь обрели способность сокращаться, а не будь он так молод и если б не наступила теплая погода, он бы еще намучился. Когда же он снова стал бодрым и свежим, то, глубоко запрятав свою ненависть, притворился, что никогда еще не был так влюблен в свою госпожу, как теперь.

И вот некоторое время спустя судьба предоставила ему возможность осуществить свое намерение. Молодой человек, которого любила вдова, презрел ее чувство и, прельстившись другою женщиною, выказывал по отношению к Элене совершенное равнодушие и холодность, отчего Елена скорбела и плакала не осушая глаз. Служанка очень жалела свою госпожу, но не знала, как рассеять ее тоску по изменившем ей возлюбленном. Студент между тем все так же прохаживался под окнами Элены, и вот у служанки явилась безрассудная мысль: с помощью некромантии пробудить в бывшем любовнике прежнее чувство, студент же – думалось ей – должен быть великим мастерам по некромантической части, и все эти свои домыслы служанка выложила госпоже. Ум у госпожи был короткий, и, не сообразив, что если б студент знал толк в некромантии, то, верно уж, воспользовался бы ею в своих целях, она вполне прониклась доводами служанки, велела ей переговорить со студентом и, в случае его согласия, дать ему

твердое обещание, что, какой бы награды он себе за это ни попросил, желание его будет, дескать, Исполнено.

Служанка выполнила поручение в точности и добросовестно. Выслушав ее, студент возрадовался. «Слава тебе, господи! – подумал он. – Наконец-то пришло время с твоею помощью наказать подлую женщину, опозорившую меня в благодарность за мою великую к ней любовь». А служанке он сказал так: «Передай владычице моей души, чтобы она не печалилась: если б даже ее возлюбленный находился в Индии, я бы и оттуда немедленно вызвал его и заставил просить у нее прощения за то, что он так ее избил. А как ей надлежит действовать – об этом она от меня узнает, когда и где ей будет угодно. Так ты ей и передай и скажи, чтоб она не волновалась». Служанка сообщила его ответ госпоже, и Елена условилась встретиться со студентом в Санта Лючия дель Прато[13 - Церковь Санта Лючия у Порта дель Прато существует и поныне.].

Когда Елена и студент пришли на свидание и начали беседовать наедине, Елена, позабыв о том, что она чуть было его не заморозила, чистосердечно призналась ему во всем и попросила помочь ей, студент же ответил так: «Признаюсь, сударыня, в Париже я, между прочим, изучил и некромантию, – тайны ее мне открыты, – но занятие это богопротивное, и я дал клятву никогда не прибегать к ней ни ради себя, ни ради других. И все же я так вас люблю, что ни в чем не могу отказать вам, и если бы даже за одно это я угодил в пекло, все равно я исполню ваше желание. Но только я упреждаю вас, что некромантия – дело трудное, труднее, чем вы, вероятно, себе его представляете, особенно когда речь идет о том, чтобы заставить мужчину полюбить женщину или женщину заставить полюбить мужчину, потому что здесь нельзя обойтись без участия заинтересованного лица, и участнику надлежит быть неустрашимым, ибо это нужно проделать ночью, в уединении, без свидетелей, а я не знаю, способны ли вы на это».

«Ради любви я готова на все, лишь бы вернуть человека, который ни за что ни про что меня бросил, – отвечала пылкая, но недалекая Елена. – Ты только скажи мне на милость: в чем именно должна выразиться моя неустрашимость?»

Тут глаза у студента загорелись недобрым огнем. «Мне нужно будет, сударыня, изготовить оловянное изображение того человека, любовь которого вы желаете вернуть, – отвечал он, – и вот, как скоро я пришлю вам его, вы должны ночью в первосонье, когда месяц будет уже не так ярко светить, раздеться догола, взять в руки изображение и семь раз окунуться в проточную воду, а затем совершенно голой влезть на дерево или на крышу нежилого дома и, повернувшись лицом к северу с изображением в руке, семь раз подряд произнести те несколько слов, которые я вам напишу. Когда же вы их произнесете, перед вами предстанут, две девушки, писанные красавицы, поздороваются с вами и любезно спросят, в чем заключается ваше желание. Вы им на это вразумительно и подробно ответите, но только смотрите не назовите кого-нибудь другого. Девушки после этого удалятся, а вам тогда можно будет спуститься, одеться и вернуться домой. Ручаюсь вам, что в следующую же ночь придет ваш возлюбленный и будет со слезами каяться и просить у вас прощения, и больше он ни на кого вас не променяет».

Выслушав студента и всему поверив, Елена обрадовалась так, как будто, мечта ее уже наполовину сбылась; ей казалось, что она снова держит любовника в своих объятиях. «Можешь не сомневаться, что я все исполню как нельзя лучше, тем более что у меня есть для этого полная возможность, – сказала она. – В Верхнем Вальдарно недалеко от реки расположена моя усадьба, а ведь сейчас июль – самое время для купанья. Помнится, там неподалеку от реки стоит необитаемая башенка; на вышку ведет приставная лестница из каштанового дерева, туда иной раз взбираются пастухи поглядеть, не видать ли где отбившейся от стада скотины, – место, как видишь, безлюдное и глухое. Туда-то я и заберусь и все, что ты мне велишь, отлично исполню».

Студент прекрасно знал эти места, знал и эту башенку, довольный тем, что Елена

приняла твердое решение, он сказал ей: «Мне, сударыня, не приходилось бывать в тех краях, я не знаю ни ваших владений, ни башенки, но если все обстоит так, как вы говорите, то лучше и желать нечего. Итак, немного погодя я пришлю вам изображение и заклинание, но только очень прошу вас: как скоро желание ваше исполнится и вы уверитесь, что я сослужил вам службу, – вспомните тогда обо мне и слово свое сдержите». Елена сказала, что он может быть совершенно спокоен, и, простясь с ним, возвратилась домой.

Обрадованный тем, что замысел его близок к осуществлению, студент приготовил изображение, что-то на нем нацарапал, вместо заклинания написал какую-то чепуху, затем отослал и то и другое Элене и велел передать ей, чтобы она этого дела не откладывала: пусть, мол, нынче же ночью исполнит то, о чем у него был с ней разговор, а сам взял с собою слугу и, дабы насладиться плодами задуманного предприятия, отправился тайком к своему другу, жившему совсем близко от башенки.

Туда же направила путь и Елена со своей служанкой, и, когда наступила ночь, она сделала вид, что сейчас ляжет, а служанку уснула спать, и вот в первосонье крадучись вышла она из дому, пошла к башенке, что стояла на берегу Арно, и долго оглядывалась по сторонам, – кругом все тихо, нигде ни души; тогда она разделась, спрятала одежду под кустом, семь раз с изображением в руке окунулась, а затем, нагая, не выпуская из рук изображения, пошла к башенке. Студент со слугою еще с вечера схоронился подле башенки среди ив и других деревьев, и он видел, как она окунулась; когда же она, сверкая во мраке ночи белизною своего обнаженного тела, прошла мимо него, он разглядел ее грудь, разглядел ее всю, восхитился тем, как прекрасно она сложена, и, подумав о том, что в самом непродолжительном времени с этим телом станется, ощутил нечто похожее на жалость, но тут же в нем заговорила плотская похоть и заставила нечто перейти из лежачего состояния в стоячее, так что студент готов был выскочить из засады, схватить Элену и удовлетворить свое желание, – словом, он был раздираем противоположными чувствами. Когда же он пришел в себя и вспомнил, как и за что его оскорбили, то снова вознегодовал и, подавив в себе и сострадание, и позывы плоти, решился во что бы то ни стало довести дело до конца и не остановил Элену. Елена взошла на башню и, повернувшись лицом к северу, начала произносить слова, которые он ей написал. Малое время спустя студент подкрался к башенке, незаметно убрал лестницу, ведущую на вышку, где сейчас находилась Елена, и начал за ней наблюдать.

Элена семь раз подряд сотворила заклинание и стала поджидать девушек, но прождала она их, дрожа от холода, до самой зари – девушки так и не появились. Огорченная тем, что предсказания студента не сбылись, она невольно подумала; «А не устроил ли он мне такую же ночь, какую я когда-то устроила ему? Если так, то это неудачная месть: нынешняя ночь втрое короче той, да и похолодней тогда было». Тут она решила спуститься, чтобы день не застал ее на башне, и вдруг обнаружила, что лестницы нет. Перед глазами у нее все поплыло, сердце зашлось, и она упала как подкошенная. Когда же она очнулась, то начала горько плакать и роптать на судьбу. Смекнув, что это дело рук студента, она стала упрекать себя в том, что напрасно обидела человека, а равно и в том, что доверилась этому человеку, которого, не без основания должна была считать своим недругом. И так прошло много времени. Поглядев, нельзя ли каким-либо другим способом сойти с башни, но ничего утешительного не обнаружив, Елена пришла в отчаяние и снова заплакала и запричитала: «Горе тебе! Что скажут твои братья, твои родственники, соседи и все флорентийцы, когда узнают, что тебя нашли здесь нагою? Твое доброе имя было до сего дня незапятнанным, а теперь все станут говорить, что о тебе составилось ложное мнение. Если бы даже ты и попыталась как-нибудь вывернуться, что не так-то уж трудно, проклятый студент, которому все про тебя известно, выведет тебя на чистую воду. Нужно же уродиться такой несчастливой: одновременно утратить возлюбленного, которого ты полюбила на свою беду, и свое доброе имя!» Тут душевная ее мука достигла такой силы, что она чуть было не бросилась с башни.

В это время взошло солнце, и Елена, подойдя к краю вышки, посмотрела вокруг – не

видать ли стада с подпаском, которого она могла бы послать за своей служанкой, но тут студент, вздремнувший под кустом, проснулся и увидел ее, а она его. «С добрым утром, сударыня! Ну как, приходили девушки?» – спросил он.

Увидав и услышав студента, Елена опять заплакала навзрыд, и попросила его подойти к башне – ей-де нужно с ним поговорить. Студент в сем случае оказался достаточно любезен. Елена легла на пол, так что в проеме виднелась только ее голова, и со слезами заговорила: «Ты, Риньери, провел из-за меня мучительную ночь, но, право же, ты мне жестоко за нее отомстил: хотя сейчас июль месяц, но я думала, что замерзну; ведь я же совсем раздета. Притом я всю ночь проплакала оттого, что я тебя тогда обманула, и оттого, что имела глупость тебе поверить, – диву даюсь, как я еще глаза не выплакала. Так вот, я обращаюсь к тебе с просьбой не ради любви ко мне – любить меня ты уже не можешь, я взываю к твоему благородству: удовлетворишь тем, что ты уже совершил, и больше не мсти. Вели принести мою одежду, чтобы мне можно было сойти с башни, и не отнимай у меня моего доброго имени – ведь ты при всем желании не сможешь мне его потом возвратить. В ту ночь я не позволила тебе побыть со мной – ну так я за одну ту ночь подарю тебе много ночей, стоит только тебе захотеть! Словом, удовольствуйся этим. Ты человек порядочный, так пусть же тебе будет довольно сознания, что ты сумел отомстить и дал мне это понять. Не издевайся над женщиной – победа над голубкой славы орлу не приносит. Ради бога и ради своей чести, смилуйся надо мной!»

Ожесточившийся студент, вновь и вновь вспоминая учиненную ему обиду, слушал плач ее и мольбу, и в душе у него боролись чувство удовлетворения и чувство жалости: удовлетворение доставляла месть, – мести он жаждал больше всего на свете, – меж тем как жалость внушала ему человеколюбие: оно – пробуждало в нем сострадание к попавшей в беду. И все же человеколюбие не смогло вытеснить в нем злорадство, и он ответил ей так: «Элена! Если б мои жалобы, к которым я – увьи! – не смел подбавить ни слез, ни меда, как это делаешь сейчас ты, тебя тронули и в ту ночь, когда я замерзал на твоём замеченном дворе, ты впустила бы меня хоть ненадолго погреться, то мне было бы нетрудно внять твоим жалобам ныне. Но раз тебе дорого твое доброе имя, – тогда ты, кстати сказать, так о нем не заботилась, – раз тебе неловко, что ты раздета, то воззови к тому, в чьих объятиях тебе не стыдно было голой лежать в ту памятную для тебя ночь, когда ты слышала, как я хожу по твоему двору; щелкая зубами и утаптывая снег, – вот пусть он и придет тебе на помощь, пусть принесет одежду, пусть приставит лестницу, пусть позаботится о твоём добром имени, которое ты ради него и тогда, и во многих других случаях не задумываясь ставила на карту. Что же ты его не зовешь? Кому же еще и выручить тебя, как не этому человеку? Ты принадлежишь ему. Кого же он тогда охраняет и кого вызволяет, если не тебя? Позови же его, безрассудная женщина, и удостоверься, способна ли твоя любовь к нему, а также твоя изворотливость совместно с его изворотливостью избавить тебя от моего безумия, – ведь ты же, развлекаясь с ним, спрашивала, что сильнее – моя глупость или же твоя любовь к нему. И не предлагай мне то, чего я теперь не желаю и в чем ты все равно не могла бы мне отказать, если б я пожелал. Побереги ночи для любовника, если только тебе удастся выйти отсюда живой. Я вам их уступаю – с меня довольно одной, раз поизмывались – и будет. Сейчас ты пытаешься меня растрогать, стараешься ко мне подольститься, нарочно толкуешь о моей порядочности, о моем благородстве, думаешь, как бы это ловчее воспользоваться моей добротой, чтобы я не наказывал тебя за твою подлость, но лести твоей не ослепить духовные мои очи, как ослепили их твои посулы. Теперь я закален; за все время моего пребывания в Париже я так не закалился, как в ту ночь – благодаря тебе. Положим даже, я выказал бы великодушие, но ведь ты этого не заслуживаешь: если б меня просил человек, я бы, конечно, удовольствовался содеянным, но такие хищницы, как ты, должны искупать свои злодеяния только смертью, и только так должно отмщать им. Я не орел, но ведь и ты не голубка, ты ядовитая змея, и преследовать я тебя буду как истинного своего врага – со всю силою ненависти; впрочем, то, что я с тобой делаю, в сущности, нельзя назвать мезью – скорее это наказание, ибо месть должна быть сильнее оскорбления, а моя месть – это не настоящая месть: ведь если б я захотел отомстить как должно, то, приняв в рассуждение, что ты со мной сделала, мне мало было бы лишить тебя жизни, –

да и не одну тебя, а сто таких, как ты, – потому что я умертвил бы всего-навсего скверную, гадкую, злую бабенку. Черт побери, если бы не твоя смазливая мордашка, которая очень скоро подурнеет, ибо годы избороздят ее морщинами, то чем ты лучше ничтожной служанки? А из-за тебя чуть не умер, как ты сама меня только что назвала, порядочный человек; я могу за один день принести людям больше пользы, нежели сто тысяч таких, как ты, способны принести пользы до скончания века. Словом, я покажу тебе, как глумиться над людьми здравомыслящими, я покажу тебе, как глумиться над людьми просвещенными, я раз навсегда отучу тебя от таких безобразий, если только ты выживешь. Ну, а если тебе там невоготу, так что же ты не бросишься с башни? Коли, с божьей помощью, сломишь себе шею, то и себя избавишь от страданий, – а ты, как видно, в самом деле страдаешь, – и меня сделаешь счастливейшим человеком в мире. Больше я тебе ничего не скажу. Я сумел устроить так, что ты туда взобралась, – сумей же ты теперь устроить так, чтобы тебе можно было сойти, как сумела ты надо мной насмеяться».

Пока студент говорил, несчастная женщина утопала в слезах. А время шло, и солнце подымалось все выше. Когда же студент умолк, заговорила она: «Послушай, жестокосердный человек! Если тебе так дорого досталась та проклятая ночь и проступок мой представляется тебе столь ужасным, что тебя не трогают ни моя молодость, ни моя красота, ни горячие слезы, ни смиренные мольбы, то пусть тебя разжалобит и пусть смягчит неумолимую твою суровость то обстоятельство, что я вновь тебе доверилась и поведала все мои тайны, – ведь этим я дала тебе возможность пробудить мою совесть, ибо если б я тебе не доверилась, ты не смог бы мне отомстить, а ведь ты, судя по всему, так жаждал мщения! Не гневись, прости же меня наконец! Если ты меня простишь и вызволишь отсюда, я брошу ветреного моего юнца, и ты будешь единственным моим обожателем и обладателем, хотя ты и ни во что не ставишь мою красоту и утверждаешь, что она недолговечна и не так уже обольстительна. Какова бы, впрочем, ни была моя красота, она, как и всякая женская красота, сколько мне известно, хоть тем одним ценна, что доставляет удовольствие, наслаждение и отраду молодым мужчинам, а ведь ты не стар. Хотя ты поступаешь со мною жестоко, я все же не могу допустить мысли, что ты жаждешь присутствовать при моей позорной смерти, что ты хочешь, чтобы я в отчаянии бросилась с башни у тебя на глазах, а ведь когда-то, сколько бы ты сейчас ни отпирался, взор твой пленился мною. Сжался надо мной ради бога и не мучай меня! Солнце припекает. Ночью я страдала от холода, а теперь мне жарко невмочь!»

Студенту доставляло удовольствие донимать Элену своими речами, и он заговорил снова: «Элена! Ты доверилась мне не по любви, а потому, что ты стремишься вернуть утраченное, – следственно, ты заслуживаешь еще более строгого наказания. И напрасно ты думаешь, что у меня была только одна возможность утолить желанную месть. В моем распоряжении было множество средств: притворяясь, что люблю тебя по-прежнему, я расставил вокруг тебя множество капканов, и если бы даже ты не попала в этот, то немного погодя непременно угодила бы в другой, и в других капканах тебе было бы еще хуже и еще стыднее; избрал же я именно этот не для того, чтобы облегчить твою участь, а потому, что из всех способов мести это наиболее забавный. Если бы даже все способы мести оказались мне недоступны, у меня осталось бы перо, и я написал бы о тебе столько и так, что, когда бы ты об этом узнала, – а не узнать ты бы никак не могла, – ты бы тысячу раз в день жалела о том, что родилась на свет божий. Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди, не имевшие случая удостовериться в том на опыте[14 - Мысль эту о грозной силе пера Боккаччо разовьет потом в своем «Корбаччо». Вообще же мысль о силе писательского пера будет очень популярной у писателей эпохи Возрождения разных стран. Перо охотно приравнивали к колющему оружию, а с изобретением пороха – и к огнестрельному.]. Клянусь богом, – и да ниспошлет он моей мести столь же отрадный конец, сколь отрадное ниспослал ей начало, – я написал бы о тебе такие вещи, что, устыдившись не только других, но и себя самой, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза, – так не упрекай же море за то, что ручеек подбавил в него воды! Я уже сказал, что до твоей любви мне теперь нужды нет, обладать тобою я не хочу. Продолжай, если только тебе это удастся, жить со своим бывшим любовником, – прежде я его ненавидел, а теперь люблю

– за то, как он с тобой обошелся. Вы, женщины, влюбляетесь в молодых и гоняетесь за ними, потому что у них цвет лица здоровее, борода чернее, потому что они на все горазды: и на балах красоваться, и на турнирах состязаться, хотя это отлично умеют и пожилые, у которых тем следовало бы еще поучиться. Кроме того, вы убеждены, что они лучше умеют ездить верхом и в день отмахивают больше, чем люди зрелого возраста. С этим я готов согласиться: в самом деле, нажаривать они мастаки, зато люди в летах, как более опытные, в отличие от них, хорошо разбираются, в чем самый смак. Лучше мало, да вкусно, чем много, да невкусно. Бешеная скачка утомляет и изматывает, а кто пойдет медленным шагом, – пусть даже это будет человек молодой, – тот достигнет цели хотя и позднее, да зато с меньшей затратой сил. Вы – неразумные твари, вам невдомек, сколько зла таит в себе мишурный блеск. Молодые люди никогда не довольствуются одною; сколько женщин ни пройдет перед их взором – к каждой испытывают они вождление, ибо они уверены, что нет такой женщины, которой они не были бы достойны; вот почему их любовь не может быть постоянной, – теперь ты это узнала на собственном горьком опыте. Молодые люди полагают, что женщины обязаны угождать им, лелеять их, и ничем они так не любят хвастаться, как своими победами над женщинами, оттого-то многие женщины предпочитают монахов – те, по крайней мере, держат язык за зубами. Ты уверяешь, что о твоих сердечных делах не знал никто, кроме твоей служанки да меня, но ты заблуждаешься; напрасно ты так думаешь, если, впрочем, ты и вправду так думаешь. И в его и в твоём околотке только про вас и говорят, но чаще всего тот, кого эти разговоры касаются, узнает о них в последнюю очередь. В довершение всего молодые люди вас грабят, меж тем как люди пожилые одаряют. Словом, выбор твой плох, ну так и живи с тем, кому ты отдалась, а надо мной ты насмеялась – так не отнимай же меня у другой: я нашел женщину гораздо лучше тебя, она меня оценила – не то что ты! Словам моим ты не веришь, зато увидишь по глазам моим, как страстно я желаю, чтобы ты покончила с собой, – так вот, чтобы это последнее впечатление ты унесла с собой на тот свет, бросайся скорее вниз, и душа твоя, которая уже сейчас находится в когтях у дьявола (для меня это сомнению не подлежит), увидит, изменюсь ли я в лице, глядя на то, с какой головокружительной быстротою падаешь ты с башни наземь. Впрочем, я уверен, что ты меня этим не порадуешь; слушай же, что я тебе скажу: если солнце тебя прижгло, вспомни, как ты меня морозила, и если ты сравнишь сегодняшнюю жару с тогдашним холодом, то неминуемо придешь к заключению, что нынче не так еще жарко».

Доведенная до отчаяния Елена, видя, что все речи студента направлены к одной и той же бесчеловечной цели, снова залилась слезами. «Послушай! – сказала она. – Бессильна я разжалобить тебя, так сжался надо мной хотя бы из любви к той женщине: по твоим словам, она оказалась умнее меня, она тебя любит – прости же меня ради нее, принеси мне одежду и помоги спуститься»[15 - Боккаччо слегка перефразирует стих Данте («Божественная Комедия», «Чистилище», песнь VI, 116).].

Студент рассмеялся; было, однако, уже около десяти. «Ну вот теперь, – молвил студент, – раз ты просишь меня ради такой прелестной женщины, я не в силах тебе отказать. Скажи, где ты спрятала одежду, – я за ней схожу и помогу сойти».

Елена ему поверила, приободрилась и указала место, где лежала ее одежда. Студент велел слуге далеко не отходить и следить за тем, чтобы до его возвращения никто к башне не подходил, а сам пошел к приятелю, откушал у него в свое удовольствие, а после обеда лег отдохнуть.

Оставшись на башне, Елена, отчасти утешенная обманчивою надеждою и все же до крайности удрученная, села и, прислонившись к той части стены, которая давала хоть немного тени, предалась в ожидании горчайшим думам. Некоторое время она размышляла, тужила, то надеждой ласкалась, то снова разуверялась в том, что студент принесет ей одеяние, мысли у нее путались, и наконец она, убитая горем, сморенная бессонною ночью, уснула. Время близилось к полудню, солнце палило немилосердно, отвесные его лучи падали прямо на ее изнеженное, холеное тело и на непокрытую ее голову, отчего кожа на местах, обращенных к солнцу, была обожжена и вся, как есть, потрескалась. И так ее нажгло, что она хоть и крепко заснула, а не могла не проснуться.

Почувствовав боль от ожогов, она пошевелилась, и тут ей показалось, будто вся ее сожженная кожа растрескалась и разлезлась, как разлезается опаленный лист пергамента – стоит только за него потянуть. Голова у нее раскалывалась, да и было от чего. Пол на вышке так накалился, что на нем невозможно было ни сидеть, ни стоять, и Елена, рыдая, все время перебегала с места на место. В довершение всего день был безветренный и на вышку налетели тучи мух и слепней; они садились на голое ее тело и так больно кусали, что при каждом укусе ей представлялось, будто в нее вонзается копьё, и она все время от них отмахивалась и кляла себя, свое существование, своего любовника и студента. Истомленная, истерзанная, мучимая несосветимой жарой, солнечными лучами, мужами, слепнями, голодом и, в еще большей степени, жаждой, а помимо всего прочего – роем докучных мыслей, она решилась позвать на помощь, что бы из этого ни воспоследовало, и, в надежде увидеть кого-нибудь поблизости или же услышать человеческий голос, вытянулась во весь рост. Однако враждебный рок отнял у нее и эту надежду. Крестьяне из-за жары вынуждены были приостановить полевые работы, – каждый возле своего дома занялся молотьбой. Елена слышала только треск цикад, а видела Арно, и когда она смотрела на его катившиеся волны, жажда в ней не только не уменьшалась, но, напротив того, усиливалась. А кругом виднелись тенистые рощи, усадьбы и манили ее к себе. Что еще вам сказать про несчастную женщину? Палящее солнце, раскалившийся пол вышки, укусы слепней и мух обезобразили ее; еще так недавно белизна ее тела побеждала ночную тьму, а теперь она была вся красная, как мареновая краска, вся в крови, так что на нее страшно было смотреть.

Уже не чая, что кто-нибудь ее вызволит, она больше всего хотела умереть. Наконец в половине второго проснулся студент, вспомнил про Элену и пошел посмотреть, что с ней, голодного же своего слугу отпустить поест. Услышав, что он пришел, изнемогшая и истрадавшаяся Елена приблизилась к проему, села и, плача, заговорила: «Риньери! Мечь твоя превосходит всякую меру: я проморозила тебя ночью на дворе, ты же днем меня жарить, вернее – сжигаешь, на башне, да еще не даешь ни пить, ни есть. Ради самого Христа, поднимись на вышку! У меня не хватает силы духа покончить с собой, вот я и обращаюсь к тебе с мольбой: прикончи меня! Я так страдаю, так мучаюсь, что смерть для меня теперь желанный исход. Если же ты не соизволишь явить мне эту милость, то прикажи, по крайней мере, подать мне воды, чтобы я могла омочить уста, а то слез у меня для этого не хватает – так пересохло во рту и так все горит, внутри».

Студент понял по ее голосу, как она ослабела, в проем ему было видно, как обожгло ее солнце, и он, тронутый самым звуком ее голоса, тем, во что она превратилась, равно, как и униженною ее мольбою, почувствовал к ней что-то похожее на сострадание, и все же обратился он к ней с такими словами: «Нет, злодейка, коли хочешь, сама накладывай на себя руки – от моей руки ты не умрешь, а напьешься ты у меня так же, как я у тебя согрелся. Только вот что меня огорчает: к отможенным местам мне пришлось прикладывать теплый вонючий навоз, а твои ожоги уврачует прохладная и душистая розовая вода; я чуть не умер от заражения крови, ты же сменишь кожу, подобно змее, и останешься такою же красавицею, как прежде».

«Красота досталась мне на горе! – воскликнула Елена. – Только лютым моим врагам могу я пожелать красоты. А ты – ты свирепее дикого зверя: как у тебя хватает жестокости так меня мучить? Как же ты поступил бы со мною, если б по моему хотению все родные твои погибли в лютых мученьях? Можно ли было бы изобрести для изменника, по вине которого разрушен целый город, более мучительную казнь, нежели та, какой ты обрек меня, заставив жечься на солнце и отдав на съедение гнусу? Этого мало: ты не дал мне воды, а ведь даже убийцам, когда их ведут на казнь, не отказывают в вине, сколько бы раз они ни попросили. Я вижу, ты непреклонен в неумолимой своей жестокости, пытки, которые я терплю, тебя не трогают, – ну что ж, я покорно буду ждать смерти, и да спасет господь мою душу! Молю его о том, чтобы он обратил всеправедный взор свой на то, что делаешь ты со мною». Произнеся эти слова, она, в отчаянии, полагая, что ей все равно уже не спастись от палящего солнца, с превеликим трудом отползла на середину вышки. Много раз ей казалось, что она вот

сейчас умрет от жажды или от нестерпимой муки, и, ропща на свою долю, она громко и неутешно рыдала.

Вечером, однако ж, студент решил, что с него довольно; приказав слуге взять ее одежду и завернуть в плащ, он направился к дому несчастной женщины и увидел на пороге служанку: печальная, унылая, она пребывала в крайней растерянности. «А что, голубушка, не скажешь ли, где твоя госпожа?» – спросил он.

«Не знаю, мессер, – отвечала служанка. – Я была уверена, что поутру застану ее в постели, – вечером я видела, как она ложилась, – но нигде ее не нашла. Не понимаю, что с ней могло случиться, с ума схожу от беспокойства. А вы, мессер, ничего о ней не знаете?»

«Жаль, что и ты вместе с нею не попала в ловушку, – я бы и тебе отомстил! – ответил ей на это студент. – Но ты от меня не уйдешь, я тебе отплачу за твои проделки, дабы впредь всякий раз, когда тебе придется охота одурачить мужчину, ты меня вспоминала». Тут он обратился к слуге: «Отдай ей одежду и скажи, что коли она хочет, то может идти за госпожой».

Слуга так и сделал. Служанка убедилась, что это точно одежда ее госпожи, а все, что она сейчас услышала, навело ее на мысль, не убита ли госпожа, и она чуть не вскрикнула от ужаса. Когда же студент ушел, она зарыдала и бросилась бежать к башне.

В тот день одному из работников Элены не повезло: он потерял двух свиней. Долго он разыскивал их, всюду шарил глазами и наконец, вскоре после того как студент оставил Элену одну, приблизился к той самой башенке и, услышав жалобный плач несчастной женщины, постарался как можно выше подпрыгнуть. «Кто это там плачет?» – крикнул он.

Элена сейчас узнала голос работника. «Пойди к моей служанке и позови ее», – назвав его по имени, сказала она.

Работник понял, что это его госпожа. «Ах, боже мой! – воскликнул он. – Как вы туда попали? Служанка целый день вас ищет, да разве ей могло прийти в голову, что вы там?»

Он взял лестницу и, приставив к башне, начал при помощи веток укреплять перекладины. Тут прибежала служанка, всплеснула руками и, не в силах долее сдерживаться, запричитала: «Ах, да что же это? Ненаглядная моя госпожа, где вы?»

Элена постаралась как можно громче крикнуть: «Я здесь, моя милая, на вышке! Не плачь, подай мне скорее одежду!»

Служанка узнала ее по голосу, и это придало ей бодрости; когда же она с помощью работника поднялась по лестнице, которую он к этому времени почти привел в порядок, и увидела, что ее госпожа, истерзанная, похожая на обгорелый пень, лежит нагая, изнемогая, на раскаленном полу, то заголосила над ней, как над покойницей, и начала царапать себе лицо. Элена, однако ж, умолила ее не плакать и помочь ей одеться. Узнав, что, кроме студента, его слуги да еще работника, никому не известно, где она пробыла это время, она несколько успокоилась и попросила служанку и работника ради всего святого никому ничего не рассказывать. После того как они обо всем переговорили, работник посадил госпожу к себе на закорки, – идти она была не в состоянии, – и благополучно спустился со своею ношей. А бедная служанка, спускавшаяся следом за ними, но не так осторожно, поскользнулась, полетела с лестницы наземь, сломала себе бедро и взвыла от боли. Работник положил Элену на траву и пошел посмотреть, что со служанкой; увидев, что у нее перелом бедра, он взял ее на руки и положил рядом с Эленой. Как скоро Элена уверилась, что случилась новая беда, что та, на кого она надеялась больше, чем на кого-либо еще, сломала себе бедро, то пришла в совершенное отчаяние и так горько заплакала, что работник,

тщетно пытавшийся ее утешить, в конце концов сам заплакал. Солнце уже склонялось к закату, и, чтобы ночь их тут не застала, он по просьбе удрученной госпожи пошел домой, позвал двух своих братьев, жену и захватил с собой доску; братья положили служанку на доску и перенесли в дом. Работник как мог ободрил Элену, дал ей холодной воды, а затем снова посадил на закорки и отнес к ней в спальню. Работникова жена дала ей поесть, раздела и уложила, а затем они оба распорядились, чтобы госпожу и служанку ночью доставили во Флоренцию, что и было исполнено.

Будучи изворотливой на диво, Элена сочинила про себя и служанку целую историю, нимало не похожую на то, что с ними случилось на самом деле, и уверила братьев своих, сестер и всех прочих, что все это дьявольские козни. Элена долго мучилась и страдала, постельное белье беспрестанно прилипало к ее телу, и его приходилось отдирать вместе с кожей, но в конце концов лекари вылечили ее и от злой лихорадки, и от всех прочих болячек, а служанке вылечили бедро. Элена после этого забыла и думать о своем любовнике и благоразумно остерегалась влюбляться и издеваться. А студент, услышав, что служанка сломала себе бедро, решил, что он за все отплатил сполна, на том успокоился и никому ничего не сказал.

Так вот как досталось безрассудной молодой женщине, вздумавшей подшутить над студентом, как она подшутила бы над всяким другим, и не знавшей, что студентам – правда не всем, но большинству – палец в рот не клади. А потому, милостивые государины, не шутите, в особенности – над студентами.

День десятый

10

Подданные уговаривают маркиза Салуццкого жениться; маркиз, объявив, что съест себе невесту сам, женится на дочери крестьянина; она родила ему двух детей; маркиз заставляет ее думать, что он убил их; потом он объявляет ей, что она ему надоела и что он женится на другой, и она в одной сорочке от него уходит; маркиз посылает за своей дочерью и всем говорит, что это его невеста; наконец он убеждается, что жена его все терпит; она ему теперь еще дороже, чем прежде, он призывает ее к себе и, показав выросших за это время детей, сам воздает и другим повелевает воздавать ей почести, подобающие маркизе

Кроме Дионео, рассказывать больше было некому, и он начал так:

– Незлобивые дамы! Бели не ошибаюсь, сегодня все рассказывали о королях, султанах и прочих высокопоставленных лицах. Я тоже не хочу ударить лицом в грязь и расскажу про одного маркиза, поступившего, однако ж, не великодушно, а донельзя глупо, хотя все кончилось благополучно. Но только подражать ему я не советую, ибо благополучный исход его сумасбродства – это величайшая несправедливость судьбы.

В давно прошедшие времена старшим в роде маркизов Салуццких[16 - Начиная с 1142 г. Салуццо на протяжении четырех веков был центром сильного маркизата. Среди маркизов Салуццских несколько человек носили имя Гвальтьери.] оказался юный Гвальтьери, неженатый, бездетный, целыми днями охотившийся на птиц и зверей, жениться и обзаводиться детьми не собиравшийся, в чем сказывался его недюжинный ум. Однако ж подданным это не нравилось, и они уговаривали его жениться, дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя, и вызывались сыскать ему такую хорошую невесту, из такой хорошей семьи, что ему нечего было бы опасаться за свое будущее.

А Гвальтьери им на это возражал: «Друзья мои! Вы принуждаете меня решиться на такой шаг, который по своей доброй воле я ни за что бы не сделал: я же знаю, как трудно сыскать жену сходного нрава, знаю, как много на свете женщин, которые мне совсем не

пара, и как тяжело приходится мужчине, сделавшему неудачный выбор. Вы утверждаете, что по нраву родителей можно безошибочно судить о нраве дочери, и отсюда делаете вывод, что подыщете невесту, которая пришлась бы мне по душе, но это вздор: мне невдомек, как вам удастся узнать отца или же выведать тайны матери, но если бы даже все про отца и мать вам было известно, дочери часто бывают совсем не похожи на своих родителей. Впрочем, раз вы непременно хотите наложить на меня эти цепи, то я вам перечить не стану, с условием, однако ж, что невесту сыщу я сам, чтобы в случае, если дело примет скверный оборот, я пенял на себя, и еще я вас упреждаю, что, кого бы я ни взял, вы обязаны почитать ее как свою госпожу, а иначе я вымещу на вас тяготу вынужденного моего брака». Добрые люди ответили, что пойдут на все условия, только бы он женился.

Гвальтьери уже давно пленился благонравием одной бедной девушки из ближней деревни; притом она была хороша собой, и Гвальтьери рассудил, что с нею он будет счастлив. Приняв в соображение, что от добра добра не ищут, он порешил на ней жениться и, послав за ее отцом, бедняком из бедняков, обо всем с ним уговорился.

После этого Гвальтьери созвал со всей округи друзей и объявил им: «Друзья мои! Вы все время настаивали на том, чтобы я женился, – ну так вот, я женюсь, но не потому, чтобы мне этого уж так хотелось, а чтобы угодить вам. Помните, что вы мне обещали? Удовольствоваться тою, кого я возьму, и почитать ее как свою госпожу. Я свое слово сдержал, сдержите же и вы свое. Совсем близко отсюда я нашел девушку, которая пришлась мне по нраву, – я на ней женюсь и введу ее к себе в дом. Позаботьтесь же, чтобы свадьба была отпразднована как можно торжественнее и чтобы жене моей был оказан почетный прием, – словом, чтобы и вы и я остались довольны». Добрые люди обрадовались и все в один голос сказали, что они довольны и что кто бы ни была его супруга, они примут ее как свою госпожу и, как госпожу, будут ее чтить и в дальнейшем. После этого все, в том числе сам Гвальтьери, занялись приготовлениями к роскошному, богатому и веселому пиру. Гвальтьери сказал, что свадьба должна быть богатейшей и роскошной, и велел созвать на нее великое множество родных, друзей, знатных и незнатных соседей. А еще он велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев по мерке, снятой с одной девушки, у которой была, по его мнению, такая же точно фигура, как у его невесты; помимо платьев, он велел приготовить пояса, кольца, дорогой и красивый венец, – словом, все, что нужно для новобрачной.

В день свадьбы, в семь часов утра, Гвальтьери и все его гости сели на коней. Отдав необходимые распоряжения, он сказал: «Синьоры! Пора ехать за невестой». Все тронули поводья и поехали в деревушку. Подъезжая к дому невесты, Гвальтьери ее встретил – она ходила за водой и теперь быстрым шагом возвращалась: ей хотелось вместе с другими поселянками посмотреть на невесту Гвальтьери, – а Гвальтьери, назвав ее по имени, то есть Гризельдой, спросил, где ее отец, на что она, застыдившись, ответила: «Дома, господин».

Гвальтьери спешил и, сказав спутникам своим, чтобы они его подождали, вошел в убогую лачугу и обратился к хозяину, которого звали Джаннуколе, с такими словами: «Я приехал за Гризельдой; прежде, однако ж, мне нужно кое-что сказать ей в твоём присутствии». И тут Гвальтьери объявил ей свою волю: если, мол, он на ней женится, ей придется во всем угождать ему; что бы он ни сказал и как бы ни поступил – она не должна на него гневаться, она обязуется быть ему послушной и все в этом роде, и спросил, согласна ли она; Гризельда же ответила ему полным согласием. Тогда Гвальтьери вывел ее за руку из дому, приказал в присутствии всех его спутников и при всем народе раздеть ее донага, потом – как можно скорее одеть и обуть во все новое, им заказанное, а на растрепанные ее волосы возложить венец. Когда же все выразили удивление, он сказал: «Синьоры! Если эта девушка ничего против меня не имеет, то я на ней женюсь». Тут Гвальтьери обратился к растерявшейся и смущенной Гризельде и спросил: «Гризельда! Хочешь быть моею женою?»

«Хочу, господин», – отвечала Гризельда.

«А я хочу быть твоим мужем», – молвил Гвальтьери. Повенчавшись с Гризельдой при большом стечении народа, он посадил ее на доброго коня и с честью доставил в замок. Начался роскошный и богатый пир; торжество было такое, как будто Гвальтьери взял за себя дочь французского короля.

Казалось, новобрачная вместе с одеждой сменила и душу и нрав свой. Я уже сказал, что она была красива и стройна, а теперь к ее красоте прибавились и другие качества: она стала до того обаятельна, очаровательна и учтива, что, глядя на нее, можно было подумать, будто она никогда раньше не пасла овец и была дочерью не Джаннуколе, а какого-нибудь важного господина, чем приводила в изумление всех, кто знал Гризельду до ее замужества. Помимо всего прочего, она была до того послушна и до того предупредительна к мужу, что он был счастлив и доволен; с подданными же его она была так ласкова и милосердна, что все ее боготворили, служили не за страх, а за совесть, молились о ее счастье, благополучии и процветании, и если прежде про Гвальтьери говорили, что он поступил неблагоразумно, женившись на ней, то теперь все признавали его за благоразумнейшего и проникательнейшего человека ни свете, потому что никто, мол, на его месте не углядел бы под убогим рубищем, под крестьянской одеждой столь высокие добродетели. Словом сказать, не только в маркизате, но и всюду за его пределами все теперь восхищались ее достоинствами и ее поведением и уже не корили, но одобряли Гвальтьери за то, что он вступил с нею в брак. Гризельда вскорости затяжелела и в срок родила девочку, по каковому случаю Гвальтьери устроил великое торжество.

Вскоре, однако ж, Гвальтьери пришла в голову странная мысль: испытать терпение Гризельды путем долговременной и мучительной для нее проверки; начал же он с попреков; притворившись недовольным, он сказал ей, что его приближенные возмущены: у него, мол, жена простого звания, а тут еще пошли дети, и родила-то она не сына, а дочь; это-де очень их огорчило, и они ропшут. Гризельда не изменилась в лице и ни одним движением чувства не дала понять, что отказывается от своего первоначального благого намерения. «Поступай со мной, повелитель мой, так, – молвила она, – как, по твоему разумению, того требуют честь твоя и благополучие, я же всем буду довольна; я знаю, что я им не ровня и что я не заслуживаю той чести, которой ты по доброте своей меня удостоил». Ответ жены произвел на Гвальтьери благоприятнейшее впечатление, ибо он удостоверился, что та честь, которую воздавали Гризельде и он, и все прочие, не вскружила ей голову.

Со всем тем несколько дней спустя Гвальтьери намекнул ей, что его приближенные терпеть не могут ее дочку, а затем подослал к ней слугу, и тот, сам не свой, объявил ей: «Госпожа! Мне моя жизнь дорога, а потому я не могу не исполнить приказ моего господина. Он велел мне взять вашу дочку и...» Слуга не договорил.

Услышав эти слова, посмотрев слуге в лицо и вспомнив, что говорил ей муж, Гризельда догадалась, что слуге приказано умертвить девочку. Быстрым движением вынув дочку из колыбели, она ее поцеловала, благословила, и хотя душа у нее была растерзана, она, не дрогнув, передала дочку с рук на руки слуге. «Возьми ее, – сказала Гризельда, – и в точности исполни все, что тебе повелел твой и мой господин, но только не оставляй ее на съедение зверям и птицам, если, впрочем, ты не получил от него особого распоряжения». Взяв девочку, слуга пошел к Гвальтьери и передал все, что говорила ему Гризельда, а Гвальтьери, подивившись твердости ее духа, отправил слугу с младенцем в Болонью к своей родственнице; родственницу эту он просил, никому не открывая, чья это дочь, не пожалеть трудов на то, чтобы вырастить ее и воспитать.

Вскоре после этого Гризельда опять затяжелела и в срок родила сына, чем Гвальтьери был безмерно счастлив. Но ему, как видно, было недостаточно первого испытания, и он нанес жене еще более глубокую рану. Однажды он с сердитым видом сказал ей: «Жена! После того как ты родила сына, с подданными моими нет никакого сладу: их убивает одна мысль, что после меня правителем у них будет внук Джаннуколе. Боюсь, как бы мне не пришлось сначала прибегнуть к тому же, к чему я однажды уже прибегнул, а потом бросить тебя и жениться на другой, иначе меня могут изгнать».

Жена выслушала его спокойно и ответила так: «Только бы тебе было хорошо, мой повелитель, поступай как знаешь, а обо мне не беспокойся: ведь я только тобой и живу».

Немного погодя Гвальтьери послал за сыном, как в свое время посылал за дочерью, снова обставил дело так, как будто он умертвил ребенка, а между тем отдал его на воспитание туда же, куда и дочь, то есть в Болонью. А Гризельда отдала сына так же безропотно, как отдала дочь, чему Гвальтьери немало дивился; он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь другая женщина была на это способна. Если б он не знал, какая Гризельда любящая мать, – она проявляла эту свою любовь, пока он ей разрешал, – он, уж верно, подумал бы, что она равнодушна к детям, однако ж поведение Гризельды явилось для него свидетельством ее мудрости. Подданные, думая, что он умертвил детей, осуждали его и упрекали в жестокости, а Гризельду очень жалели; между тем Гризельда, когда другие женщины сокрушались из-за гибели ее детей, неизменно отвечала, что она на это согласилась, потому что так угодно было их отцу.

Несколько лет спустя после того, как у них родилась дочь, Гвальтьери надумал в последний раз испытать терпение жены и того ради стал говорить направо и налево, что Гризельда ему опостылела, что женился он на ней по молодости лет, необдуманно, а потому будет добиваться от римского папы разрешения на второй брак, Гризельду же он, мол, намерен бросить, за что все добрые люди порицали его, но он отвечал одно: мол, быть по сему. До Гризельды эти разговоры дошли, и, представив себе, что ей, по всей вероятности, предстоит возвратиться в родительский дом и, по всей вероятности, опять пасти овец, а того, в ком полагала она все свое счастье, увидеть в объятиях другой женщины, она глубоко закручинилась, но решилась перенести и эту превратность судьбы с тою же твердостью, с какою переносила все, что ей выпадало на долю.

Некоторое время спустя Гвальтьери пришли из Рима подложные письма, и он всем и каждому их показывал, а в них говорилось, что папа разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой. Наконец Гвальтьери за нею послал и при всех объявил: «Жена! Папа разрешил мне расстаться с тобою и жениться на другой. Предки мои были люди знатные, весь этот край был им подвластен, а твои предки – хлебопашцы, и больше я с тобой жить не хочу; забирай свое приданое и уходи к Джаннуколе, а я найду себе другую, более подходящую жену».

Гризельда, переборов женскую свою природу, с величайшим трудом удержалась от слез. «Я всегда помнила, мой повелитель, – заговорила она, – что я, низкого состояния женщина, не пара такому знатному человеку, как вы. За то, что я находилась при вас, в вашем замке, я должна благодарить бога и вас. То, что я получила в дар, я никогда не почитала и не признавала своим, – я говорила себе, что это дано мне на время. В любую минуту, когда бы вам ни пришла охота что-либо потребовать у меня обратно, я бы это с не меньшей охотой вам возвратила, и сейчас я вам все возвращу. Вот ваше кольцо – возьмите его. Вы велите мне забрать мое приданое. Для этой цели вам не придется посылать за своим казначеем, а мне не понадобятся ни кошелек, ни выючная лошадь, – ведь я же прекрасно помню, что вы взяли меня в чем мать родила. Если вы почтете приличным, чтобы все увидели тело носившей зачатых от вас детей, я уйду от вас нагая, но все же я бы вот о чем вас попросила: дозволейте мне, не в счет приданого, а в награду за мою непорочность, которую я принесла вам в дар и которой мне уже не вернуть, надеть на себя хотя бы сорочку».

К горлу Гвальтьери подступили рыдания, но он, напустив на себя суровость, сказал: «Можешь надеть».

Все, кто при сем присутствовал, стали просить Гвальтьери выдать ей платье: негоже, мол, той, которая на протяжении тринадцати с лишним лет была ему женою, у всех на глазах с таким позором, в одной сорочке, как нищая, уходить из его дома, однако ж Гвальтьери был неумолим, – жена его, в одной сорочке, босая и простоволосая,

простилась со всеми и, выйдя из замка, пошла к отцу, а вслед ей неслись плач и рыдания. Джаннуколе, не веривший в прочность этого брачного союза и со дня на день ожидавший подобной развязки, сберег одежды, которые дочь его сняла с себя в то утро, когда Гвальтьери с ней обручился. Как скоро дочь к нему возвратилась, он ей эту одежду достал, Гризельда ее надела и, стойко перенося тяжкий удар злодейки судьбы, начала, как в былые времена, все делать по дому.

Между тем Гвальтьери распустил слух, будто он женится на дочери графа Панаго, и, приказав готовиться к великому торжеству, послал за Гризельдою. Она явилась, и он ей сказал: «Я собираюсь ввести к себе в дом мою невесту и готовлю ей торжественную встречу. Ты знаешь, что у меня в замке нет таких женщин, которые прибрали бы в комнатах, как подобает перед великим семейным празднеством, и позаботились бы о многом другом. Ты – бесподобная хозяйка, так вот ты и наведи порядок в доме, пригласи, по своему усмотрению, дам, прими их как подобает, а после свадьбы можешь идти домой».

Каждое слово Гвальтьери было для Гризельды как острый нож, ибо со своей участью она примирилась, а вытравить из сердца любовь так и не сумела. «Я все сделаю и все исполню, мой повелитель», – сказала Гризельда. И вот она, в платье грубого сукна войдя в тот дом, откуда недавно вышла в одной сорочке, принялась подметать и убирать в комнатах, распорядилась повесить ковры и положить подстилки, занялась стряпней, не погнушалась самой черной работой, как будто она была последняя служанка в доме, и только тогда позволила себе отдохнуть, когда все было приведено в надлежащее устройство и в надлежащий порядок.

Затем Гризельда в ожидании торжества от имени Гвальтьери созвала со всей округи дам. Когда же настал день свадьбы, Гризельда, несмотря на то что одета была бедно, нашла в себе мужество встретить их, сохраняя собственное достоинство и с самым приветливым видом. Дети Гвальтьери получили отличное воспитание у его родственницы, вышедшей замуж за графа Панаго; дочери его, красавице писаной, исполнилось к тому времени двенадцать лет, а сыну – шесть; и вот Гвальтьери попросил своего болонского родственника вместе с дочерью его и сыном, с блестящей и почетной свитой пожаловать к нему в Салуццо; и еще Гвальтьери его попросил всем говорить, что он-де везет Гвальтьери невесту, и никому не сообщать, кто она. Граф исполнил просьбу маркиза; пустившись в дорогу, он несколько дней спустя вместе с девушкой, ее братом и почетной свитой прибыл к обеду в Салуццо – здесь невесту ожидала толпа сельчан и соседи Гвальтьери по имению. Дамы проводили ее в залу, где уже были накрыты столы, и тут ее радушно встретила скромно одетая Гризельда. «Добро пожаловать, государыня моя!» – сказала она. Дамы, неотступно, но тщетно просившие Гвальтьери дозволить Гризельде уйти в другую комнату либо дать ей на время какой-нибудь из бывших ее нарядов, а то, мол, неприлично ей в таком виде показаться гостям, сели за стол. Все разглядывали невесту и находили, что Гвальтьери сделал удачный обмен. Гризельде тоже очень понравились девушка и ее младший брат.

Наконец-то Гвальтьери достигнул, чего хотел: он познал на опыте, что терпение Гризельды неистоимо; удостоверясь, что сломить ее не удастся, понимая, что эта ее стойкость проистекает не от скудоумия, ибо рассудительность Гризельды была ему хорошо известна, отдавая себе отчет, что на душе у нее, уж верно, лежит печаль и что она только искусно скрывает ее под личиною хладнокровия, он решился сию же минуту снять с ее души это бремя. Того ради он подозвал ее и, улыбаясь, громко спросил: «Ну, как ты находишь невесту?»

«Мне она очень понравилась, мой повелитель, – отвечала Гризельда. – И если она так же умна, как и прекрасна, в чем я совершенно уверена, то, вне всякого сомнения, вы будете наисчастливейшим супругом. Но только я осмелюсь обратиться к вам с просьбой: если можно, не наносите ей ран, какие вы наносили вашей первой жене, – я не уверена, что она перенесет их: она моложе вашей первой жены и воспитана в неге, а та с малолетства привыкла к невзгодам».

Гвальтьери, растроганный тем, что Гризельда нимало не сомневалась в его женитьбе на этой девушке и все же говорила о ней только хорошее, посадил Гризельду рядом с собой и сказал: «Теперь, Гризельда, пора тебе пожать плоды твоего долготерпения; тем же, кто почитал меня за человека жестокого, злого и бессердечного, да будет известно, что у меня была своя цель: я хотел научить тебя быть примерной женой, я хотел научить этих людей выбирать и беречь жену, я хотел обрести на все время пашей с тобою совместной жизни нерушимый душевный покой, а между тем, когда я на тебе женился, я очень боялся, что у меня не будет покоя, – оттого-то, дабы испытать тебя, я, как ты знаешь, и наносил тебе – одну за другой – раны и язвы. Но коль скоро ты никогда ничего не говорила и никогда не действовала мне наперекор и коль скоро я постиг, что ты можешь составить мое счастье, я хочу сразу вернуть тебе все, что отнимал у тебя постепенно, и нежнейшей любовью залечить твои раны. Итак, возвеселись: мнимая моя невеста и брат ее – это наши с тобою дети, которых я будто бы предал лютой смерти, – так долгое время считала ты и многие другие, – а я – твой муж, и люблю я тебя больше всего на свете и, верно уж, могу похвалиться, что в целом мире нет человека, который был бы так доволен своею женою, как я».

Тут Гвальтьери обнял Гризельду, расцеловал, она заплакала от радости, затем оба встали, подошли к замершей от изумления дочке, ласково обняли и ее, и сына и тем самым покончили с заблуждением, в коем все присутствовавшие находились. Дамы, обрадовавшись, встали из-за стола и, пройдя с Гризельдой к ней в комнату, с еще большим восторгом, чем когда убирали ее к венцу, совлекли деревенский ее наряд, вместо него надели господский и торжественно, как госпожу (впрочем, госпожою казалась она и в отрепьях), снова вывели ее в залу. Гризельда не могла наглядеться на своих детей, все кругом радовались, веселье все росло и росло, празднество длилось несколько дней. Общее мнение было таково, что Гвальтьери человек умнейший, что испытания, коим он подверг супругу, жестоки и бесчеловечны, а что Гризельда еще умнее его. Граф Панаго спустя несколько дней возвратился в Болонью. Гвальтьери больше не позволил Джаннуколе хлебопашествовать и всем его обеспечил; с той поры Джаннуколе жил в почете и припеваючи, как подобает тестю маркиза, и умер в глубокой старости. А Гвальтьери приискал для своей дочери завидную партию; супругу же свою Гризельду он необычайно высоко чтит и жил с нею долго и счастливо.

Отсюда следствие, что и в убогих хижинах обитают небесные созданья, зато в царских чертогах встречаются существа, коим больше подошло бы пасти свиней, нежели повелевать людьми. Кто еще, кроме Гризельды, мог бы не просто без слез, но и весело переносить неслыханные по жестокости испытания, коим Гвальтьери ее подверг? А ведь ему было бы поделом, если б он напал на такую, которая, уйдя от него в одной сорочке, спозналась бы с другим и живо согрелась бы под чужим мехом.

Франко Саккетти

Из «Трехсот новелл»

Новелла VIII

Некий генуэзец невзрачной наружности, но очень ученый спрашивает поэта Данте, как добиться любви одной дамы, и Данте дает ему забавный совет

В городе Генуе некогда жил ученый гражданин, отлично владевший многими науками, но роста он был небольшого и наружности весьма невзрачной. К тому же он был сильно влюблен в одну красивую генуэзскую даму, которая то ли из-за его невзрачного вида,

то ли из-за собственной отменной порядочности, то ли по какой-либо иной причине не то чтобы просто его не любила, но скорее даже избегала его, предпочитая смотреть в другую сторону.

Наконец, уже отчаявшись в своей любви и прослышав о величайшей славе Данте Алигьери и о том, что он жил в городе Равенне[17 - Конец жизни Данте (1265–1321) провел в Равенне, где и похоронен. Саккетти обращается к Данте и в ряде других новелл, в частности в новелле CXIV.], этот человек твердо решил туда отправиться, чтобы повидать поэта и с ним подружиться, в надежде получить от него помощь и совет, как добиться любви этой дамы или по крайней мере не быть ей столь ненавистным. И вот он двинулся в путь и добрался до Равенны, где ему удалось попасть на пир, в котором участвовал означенный Данте; а так как оба они сидели за столом очень близко друг к другу, генуэзец, улучив время, сказал:

– Мессер Данте, я много наслышан о ваших достоинствах и о славе, вас окружающей; могу ли я обратиться к вам за советом?

И сказал Данте:

– Только бы я сумел дать его вам.

Тогда генуэзец продолжал:

– Я любил и люблю одну даму со всей преданностью, какой любовь требует от любящего; однако она не только никогда не удостоивала меня своей любви, но даже ни разу не осчастливила меня хотя бы единым взглядом.

Данте, выслушав его и заметив его невзрачную наружность, сказал:

– Сударь мой, я охотно исполнил бы любое ваше желание, но что касается вашей настоящей просьбы, я не вижу иного способа, кроме одного. Вы, конечно, знаете, что у беременных женщин всегда бывает потребность в самых странных вещах, и поэтому было бы хорошо, если бы эта дама, которую вы так любите, забеременела; ведь если она забеременеет, легко может случиться, как это часто бывает с беременными женщинами, которых тянет на всякую диковину, что ее потянет и на вас; и этим способом вы могли бы удовлетворить и ваше вожделение; иным путем едва ли возможно этого достигнуть.

Генуэзец, почувствовав укол, сказал:

– Мессер Данте, вы мне советуете две вещи, гораздо более трудные, чем главная; ведь трудно предположить, что эта дама забеременеет, так как она никогда еще не бывала беременной, но еще труднее предположить, принимая во внимание количество самых разнородных вещей, которых желают беременные женщины, что она, забеременев, вдруг пожелает именно меня. Однако, клянусь богом, иного ответа на мой вопрос, кроме того, какой дали мне вы, и быть не могло.

После того как Данте понял его гораздо лучше, чем он сам себя понимал, генуэзец признался в том, что он был таков, что мало было женщин, которые бы от него не бегали.

И он так сблизился с Данте, что много дней оставался у него в доме, проводя в самом дружеском общении с ним все то время, что они прожили вместе.

Генуэзец этот был человек ученый, но, видно, вовсе не философ, как большинство ученых в наше время, ибо философия познает природу вещей, а если человек прежде всего не познал самого себя, как сможет он познать вещи вне себя? Если бы он посмотрел на себя в зеркало, будь то зеркало умственное или телесное, он подумал бы о своей наружности и сообразил бы, что красивая женщина, и в особенности женщина

порядочная, мечтает о том, чтобы тот, кто ее любит, имел вид человека, а не летучей мыши.

Как видно, к большинству людей приложима поговорка: «Ни в чем так не обманешься, как в самом себе».

## Новелла XVI

Молодой сиенец получает от умирающего отца три завета, но в скором времени их нарушает, и что от этого воспоследовало

А теперь я расскажу об одной женщине, которая вышла замуж девицей, но муж убедился в обратном и отослал ее домой прежде, чем с ней переспал.

В Сиене некогда жил богатый гражданин, который, будучи при смерти и имея единственного сына лет двадцати, оставил ему в числе других три завета. Первый – чтобы он никогда ни с кем не водился дольше, чем он успеет об этом пожалеть; второй – чтобы он, купив какой-нибудь товар или что-либо еще и имея возможность на этом нажиться, наживался, но давал бы нажиться и другому; третий – чтобы, собравшись жениться, он выбрал кого-нибудь по соседству, а если не по соседству, то все же из своих мест, а не из чужих краев.

Сын остался с этими наказами, а отец помер. Юноша этот долгое время водился с одним из семейства Фортегуерри, который привык швырять деньгами и имел несколько дочерей на выданье. Его родители ежедневно укоряли его за траты, но ничего не помогало.

В один прекрасный день случилось, что Фортегуерри приготовил роскошный обед для юноши и еще для кое-кого, за что его родители набросились на него, говоря:

– Что ты делаешь, несчастный? Ты хочешь состязаться в мотовстве с теми, которые получили большое состояние, и ты все задаешь пиры, имея дочерей на выданье?

Они наговорили ему столько, что он в отчаянии вернулся к себе домой, отменил все угощения, которые были уже на кухне, и, взяв луковицу, положил ее на накрытый стол, распорядившись, чтобы, когда такой-то юноша явится к обеду, ему предложили съесть луковицу и сказали, что ничего другого нет и что Фортегуерри дома не обедают. Когда пришло время еды, юноша отправился туда, куда он был приглашен, и, войдя в зал, спросил у хозяйки, где ее муж; она отвечала, что его нет и что он дома не обедает, но велел сказать, если придет такой-то, чтобы он съел луковицу, так как другого ничего нет. Увидев такое угощение, юноша вспомнил первый отцовский завет и насколько плохо он его выполнил, взял луковицу и, вернувшись домой, обвязал ее веревочкой и подвесил к потолку над тем местом, где он всегда обедал.

Немного времени спустя он купил скаковую лошадь за пятьдесят флоринов, рассчитывая получить за нее через несколько месяцев флоринов девяносто, но так и не захотел никому ее уступить и, требуя за нее сто флоринов, твердо стоял на своем. И вот однажды ночью у лошади появились какие-то боли, и она околела. Подумав об этом, юноша понял, что он и на этот раз плохо выполнил отцовский завет, и, отрезав у лошади хвост, подвесил его к потолку рядом с луковицей.

А затем, опять случилось так, что, когда он захотел жениться, он не мог ни по соседству, ни во всей Сиене найти себе девушку, которая пришлась бы ему по нраву, и отправился на поиски по другим областям. Добравшись наконец до Пизы, он встретился там с одним нотариусом, который служил в Сиене, был другом отца юноши и знал его. Поэтому нотариус принял юношу с почетом и спросил, что привело его в Пизу. Юноша сказал, что он отправился на поиски красивой жены, так как во всей Сиене он

не нашел ни одной, которая пришлась бы ему по вкусу. Нотариус же сказал:

– Если так, то сам бог прислал нам тебя и тебе повезло, так как у меня есть под рукой молодая Ланфранки, красавица, каких мало, и позволь мне сделать так, чтобы она стала твоей.

Юноше это понравилось, и он не мог дождаться, когда ее увидит. И вот это случилось. Как только он ее увидел, тотчас же состоялся сговор и был назначен день, когда он должен был увезти ее в Сиену. Нотариус же этот был ставленником семьи Ланфранки, а девица, которая была распутной и уже имела дело с некоторыми пизанскими юношами, так и не смогла выйти замуж. Поэтому нотариус был озабочен тем, чтобы родители смогли сбыть ее с рук и пристроить к сиенцу.

После того как была нанята горничная, быть может та самая сводня, ее соседка, некая бабенка по имени монна Бартоломея, с которой невеста нет-нет да и прогуливалась в свое удовольствие, и после того как все необходимое было предусмотрено и снаряжен свадебный поезд, в который входил некий юноша из тех, что не раз занимались с ней любовью, все во главе с женихом и невестой двинулись по пути в Сиену, куда наперед уже были высланы люди для приготовления к свадьбе. И вот в пути один из юношей, следовавших за невестой, в мыслях о том, что ее выдали на чужую сторону и что ему без нее предстояло вернуться в Пизу, – отчего он имел вид человека, шествующего на казнь, – своей задумчивостью и вздохами добился того, что жених стал приглядываться и к ней и к нему, ибо верно говорит пословица, что любви и кашля никогда не скроешь.

Вид этого юноши вызывал у жениха величайшие подозрения, и он наконец догадался, какова была эта девица и что нотариус его предал и обманул. Поэтому, когда доехали до Стаджа<sup>[18 - Имеется в виду замок неподалеку от Сиены.]</sup>, жених прибег к следующей хитрости: он объявил, что хочет отужинать пораньше, так как он собирается на следующее утро добраться до Сиены, чтобы подготовить все необходимое, и сказал это так, чтобы молодой человек расслышал его. Спальни же, где они ночевали, почти все были расположены одна рядом с другой и разделены дощатыми перегородками. В одной из них должен был спать жених, в другой – невеста с ее горничной, а в третьей – юноша, который не пропустил мимо ушей того, что было сказано сиенцем, и весь вечер переговаривался с горничной в ожидании рассвета; и так все улеглись. Наутро, почти за час до восхода, жених встал, чтобы отправиться в Сиену, как он об этом предупредил. Он спустился вниз, сел на коня и поскакал по направлению к Сиене, но, отъехав на расстояние примерно четырех выстрелов, повернул обратно, возвращаясь шагом и без шума к постоялому двору, откуда он только что выехал.

Привязав лошадь к кольцу, он поднялся по лестнице и, дойдя до спальни невесты и тихонько заглянув в нее, убедился, что юноша там. Толкнув плохо притворенную дверь, он вошел и осторожно добрался до места, куда на ночь складывали одежду, разглядывая, не найдет ли там чего-нибудь из вещей того, кто лежит на кровати. На свое счастье, он нашел его исподни. Любовники то ли услышали что-то и от страха притихли, то ли ничего не расслышали, но, как бы то ни было, добрый человек положил исподни за пазуху, вышел из спальни, спустился по лестнице и, вскочив на коня, направился в Сиену. Приехав домой, он их повесил рядом с луковицей и с конским хвостом. Когда наутро в Стаджа невеста проснулась вместе со своим любовником и молодой человек не мог найти белья, он сел на коня без оно и вместе со всеми поехал в Сиену. Доехав до дому, где должна была быть свадьба, они спешили. И когда все расположились для легкого завтрака под тремя висящими предметами, жениха спросили, что эти предметы означают. И он отвечал:

– Я вам скажу и попрошу, чтобы каждый меня выслушал. Не так давно умер мой отец и оставил мне три завета. Первый гласил так-то и так-то, и потому я взял эту луковицу и повесил ее сюда; второе, что он мне завещал, было то-то и то-то, и я его послушался: так как лошадь подохла, я отрезал у нее хвост и тоже повесил сюда; третий завет гласил, чтобы я женился на близкой соседке, и я не только не женился

ни на ком близком, но доехал до самой Пизы и женился на этой девушке, думая, что она такова, какими должны быть все, кто выходит замуж, выдавая себя за девиц. По дороге этот сидящий здесь юноша переночевал с ней на постоялом дворе, и я тихонько проник туда, где они были, и, обнаружив его исподни, унес их и повесил сюда. Если вы мне не верите, обыщите его, так как на нем их нет.

Так оно и оказалось.

– А что до этой доброй женщины, то по окончании пашей трапезы отвезите ее обратно, так как я не то что никогда с ней спать не буду, но и видеть ее не желаю. Нотариусу же, подавшему мне совет и снабдившему меня родней и брачным контрактом, скажите, чтобы он этот кусок пергамента употребил на обертку своего веретена.

Так и случилось. Все они вместе с невестой вернулись восвояси в дураках и не солоно хлебавши. Невеста же со временем отыгралась на многих мужьях, а жених на многих женах.

Совершив эти три глупости, юноша пошел против заветов своего отца, которые были все очень полезны, хотя многие с этим и не считаются. Что же касается последнего, самого важного, то никогда не ошибешься, породнившись с соседом. Но все мы поступаем наоборот. И это не только в браках; предстоит ли нам покупка лошадей – соседские не нужны, так как нам кажется, что у них уйма недостатков, и мы очертя голову бросаемся их покупать у немцев, едущих в Рим на богомолье.

И так постоянно случается то с одним, то с другим, как вы только что слышали, а то и еще хуже.

## Новелла XXI

О том, как Бассо делла Пенна в свой смертный час странным образом завещает мухам ежегодно корзину прелых груш, и доводы, которые он приводит для объяснения, почему он это делает

Сейчас я перехожу к истории о прелых грушах и о последней шутке Бассо, ибо это была его предсмертная шутка. Когда он умирал, – а время было летнее и смертность такова, что жена не подходила к мужу, сын бежал от отца и брат от брата, ибо велика была сила заразы в этой чуме[19 - В XIV веке Италию неоднократно посещала чумная эпидемия (одну из них красочно описал Боккаччо в «Декамероне»), и потому трудно сказать, какую именно эпидемию имел в виду Саккетти.], что хорошо известно каждому, кто это видел, – Бассо решил составить завещание. Видя себя всеми покинутым, он приказал нотариусу записать, что он завещает своим детям и наследникам обязательство ежегодно в июле месяце в день святого Якова давать мухам в определенном месте, им назначенном, корзину, вмещающую меру прелых груш. Когда же нотариус ему сказал: «Бассо, ты всегда шутишь», Бассо ответил:

– Пишите, как я вам говорю, ибо за всю мою болезнь не было у меня ни друга, ни родственника, который бы меня не покинул, кроме одних мух. И потому, будучи им настолько обязанным, я полагаю, что господь меня не помилует, если я не воздам им по заслугам. А чтобы вы удостоверились, что я не шучу, а говорю всерьез, напишите, что, если это не будет ежегодно выполняться, я лишаю своих детей наследства и все мое добро передаю такому-то духовному братству. – И нотариусу пришлось-таки в конце концов на это согласиться. Вот как рассудительна поступил Бассо в отношении такой крохотной скотинки.

Немного спустя, когда он уже стал отходить и был почти без памяти, к нему пришла одна из соседок, как это у всех бывает. Звали ее монна Буона, и она сказала:

– Бассо, да хранит тебя господь, я твоя соседка, монна Буона[20 - Виона – добрая, хорошая (ит.)].

А он с великим трудом посмотрел на нее и еле слышно произнес:

– Отныне хоть я и умираю, но уйду счастливым: ведь вот уже восемьдесят лет как я живу на свете, но ни одной доброй женщины никогда еще не встречал.

При этих словах никто из окружающих не мог удержаться от хохота; и под этот хохот Бассо вскоре и помер.

О его смерти я, об этом пишущий, и многие другие, жившие тогда, горевали, ибо всякий, кто бывал в Ферраре, знает, что Бассо был душой города: А разве не велика была его рассудительность по отношению к мухам? Не говоря уже о том, что это было крайне неприятно для всего его семейства. Да, много есть таких, кто в подобных случаях бросает тех, за которых они должны были бы положить свою жизнь; и такова наша любовь, что дети не только не отдают своей жизни за отцов, но по большей части желают их смерти, лишь бы им самим жилось свободнее.

#### Новелла LXVIII

Гвидо Кавальканти, достойнейший муж и философ, становится жертвой ребяческой хитрости

Предшествующая новелла напоминает мне о нижеследующей, которая такова. Виднейший гражданин Флоренции, по имени Гвидо Кавальканти[21 - Гвидо Кавальканти (ок. 1259–1300) – знаменитый итальянский поэт, друг Данте, родом из знатной флорентийской семьи.], однажды играл в шахматы. В это время один мальчуган, по обычаю игравший с другими не то в мячики, не то в кубари, не раз с шумом к нему подбегал; наконец, как это часто бывает, его толкнул другой мальчик, и он наткнулся на означенного Гвидо, и тот, которому, быть может, как раз не повезло в игре, в ярости вскочил и, бросившись на мальчика, сказал ему:

– Уходи играть в другое место, – и, вернувшись, снова уселся за шахматы.

Разобиженный мальчик плакал, мотал головой и, не отходя далеко, вертелся поблизости, бормоча про себя:

– Я тебе за это еще отплачу!

Подобрав большой гвоздь из лошадиной подковы, мальчик вместе с другими вернулся на ту улицу, где означенный Гвидо играл в шахматы, и с камнем в руке подошел за спиной Гвидо не то к завалинке, не то просто к лавке, на которой тот сидел, положил на нее руку, державшую камень, и стал по ней постукивать, сначала редко и тихо, а затем постепенно все чаще и сильнее, так что Гвидо наконец обернулся и сказал:

– Чего ты еще хочешь? Иди-ка от греха домой! Зачем ты стучишь камнем?

Тот сказал:

– Хочу выпрямить этот гвоздь.

Гвидо снова обратился к шахматам и продолжал играть. Мальчик же, тихонько постукивая камнем, ухватил полу куртки или кафтана, которая со спины Гвидо спадала на сиденье, и, приладив к ней свой гвоздь, стал усиливать удары, чтобы как следует

ее прибить, рассчитывая, что означенный Гвидо наконец встанет. Случилось так, как задумал мальчик. Гвидо, которому надоел стук, в бешенстве вскакивает, мальчик – убегает, а Гвидо остается пригвожденным к поле своего кафтана. Чувствуя, что он совсем опозорен и не может двинуться, и грозя рукой убегающему мальчику, он говорит:

– Иди с богом, но другой раз не попадайся.

Он пытается высвободиться, но не может и, не желая расстаться с полкой своего кафтана, вынужден оставаться пригвожденным в ожидании клещей.

Сколько же должно быть тонкого коварства в младенце, если человек, равного которому, пожалуй, не было во всей Флоренции, мог быть таким способом осмеян, пойман и обманут ребенком!

#### Новелла CXIV

Данте Алигьери наставляет кузнеца, который распевал его поэму, невежественно коверкая ее

Превосходнейший итальянский поэт, слава которого не убудет во веки веков, флорентиец Данте Алигьери жил в своем родном городе по соседству с семейством Адимари. Как-то случилось, что некий молодой рыцарь из этого семейства, не помню уже из-за какого проступка, попал в беду и был привлечен к судебной ответственности неким экзекутором, видимо дружившим с означенным Данте. Названный рыцарь попросил поэта заступиться за него перед экзекутором. Данте сказал, что сделает это охотно. Пообедав, он выходит из дому и отправляется по этому делу... Когда он проходил через ворота Сан Пьетро[22 - Близ этих флорентийских ворот жил Данте.], некий кузнец, ковавший на своей наковальне, распевал Данте так, как поются песни[23 - Речь идет о стихах «Божественной Комедии».], и коверкал его стихи, то укорачивая, то удлиняя их, отчего Данте почувствовал себя в высшей степени оскорбленным. Он ничего не сказал, но подошел к кузне, туда, где лежали орудия кузнечного ремесла. Данте хватает молот и выбрасывает его на улицу, хватается весы и выбрасывает их на улицу, хватается клещи и выбрасывает их туда же и так разбрасывает много всяких инструментов. Кузнец, озверев, обращается к нему и говорит:

– Черт вас побери, что вы делаете? Вы с ума сошли?

Данте отвечает ему:

– А ты что делаешь?

– Занимаюсь своим делом, а вы портите добро и разбрасываете его по улице.

Данте говорит:

– Если ты хочешь, чтобы я не портил твоих вещей, не порти мне моих.

На это кузнец:

– Что же я вам порчу?

А Данте:

– Ты поешь мою поэму и произносишь не так, как я ее сотворил. У меня нет другого ремесла, а ты мне его портишь.

Кузнец надулся и, не зная, что возразить, собрал свои вещи и принялся за работу. И с тех пор, когда ему хотелось попеть, он пел о Тристане и Ланцелоте[24 - То есть о героях средневекового рыцарского эпоса.] и не трогал Данте. Данте же пошел к экзекутору, как и собирался. Когда он пришел к экзекутору, он задумался над тем, что рыцарь из семейства Адимари, попросивший его об этой услуге, был высокомерным и малоприятным молодым человеком; во время прогулок по городу, в особенности когда он был на коне, он ехал с широко растопыренными ногами и занимал всю улицу, если она была не очень широка, так что прохожим приходилось начищать носки его сапог. А так как Данте такого рода поведение всегда крайне не нравилось, он сказал экзекутору:

– В вашем судебном присутствии лежит дело такого-то рыцаря по обвинению его в таком-то поступке. Я за него перед вами ходатайствую, хотя он и ведет себя так, что заслуживает большего наказания, ибо я полагаю, что посягать на общественный порядок есть величайшее преступление.

Данте сказал это не глухому, и экзекутор спросил его, в чем состоит это посягательство. Данте отвечал:

– Когда он разъезжает по городу верхом, то сидит на лошади, растопылив ноги так, что каждому, кто с ним встречается, приходится поворачивать обратно, будучи не в состоянии идти своей дорогой.

Экзекутор сказал:

– Это не шутка, это большее преступление, чем первое.

Данте продолжал:

– Так вот. Я его сосед и перед вами за него ходатайствую.

И он вернулся домой, а там рыцарь спросил его, как дела.

Данте сказал ему:

– Он дал мне хороший ответ.

Прошло несколько дней, и рыцарь получил вызов, предписывавший ему явиться и оправдаться в предъявленных обвинениях. Он приходит, и после чтения первого обвинения судья приказывает зачитать ему второе обвинение – в том, что он слишком привольно сидит на лошади. Рыцарь, чувствуя, что наказание будет ему удвоено, говорит сам себе: «Нечего сказать, хорошо я заработал! Я-то думал, что после прихода Данте меня оправдают, а меня накажут вдвойне». Сколько он себя ни обвинял и сколько ни оправдывал, но, вернувшись домой и увидев Данте, сказал ему:

– Клянусь честью, и удружил же ты мне! Ведь экзекутор хотел засудить меня за одно дело до того, как ты к нему ходил, а после твоего посещения он уже хочет засудить меня за целых два дела. – И, вконец рассердившись на Данте, он добавил: – Если он меня засудит, у меня хватит чем заплатить, но, как бы то ни было, я сумею вознаградить того, кому я этим обязан.

И Данте сказал:

– Я ходатайствовал за вас так, словно вы мне сын родной. Большого сделать нельзя было. А если экзекутор поступит иначе, я не виноват.

Рыцарь, покачав головой, отправился восвояси. Несколько дней спустя ему присудили уплатить тысячу лир за первое преступление и еще тысячу за широкую посадку. Однако этого никогда не могли переварить ни он, ни весь дом Адимари.

Из-за этого, ибо это была главная причина, Данте как белый[25 - Данте принадлежал к фракции «белых» гвельфов, враждовавшей с «черными» гвельфами.] в скором времени был изгнан из Флоренции и впоследствии умер в изгнании в городе Равенне, к немалому позору его родной флорентийской коммуны.

## Новелла СХХI

Находясь в Равенне и проигравшись в кости, магистр Антонио из Феррары попадает в ту церковь, где покоятся останки Данте, и, сняв все свечи, стоявшие перед распятием, переносит и прикрепляет их к гробнице означенного Данте

Магистр Антонио из Феррары[26 - Реальное историческое лицо. О нем писал Петрарка, находя в нем «неплохое, но странное дарование». Да и Саккетти называет его «отчасти поэтом».], человек в высшей степени одаренный, был отчасти поэтом и имел в себе нечто от придворного шута, но в то же время обладал всеми пороками и был великим грешником. Случилось так, что однажды, находясь в Равенне во времена правления мессера Бернардино да Полента[27 - Бернардино да Полента был синьором Равенны с 1346 по 1359 гг.], означенный магистр Антонио, который был азартнейшим игроком, играл целый день напролет, промотал почти все, что у него было, и, находясь в отчаянном состоянии, вошел в церковь братьев миноритов, где помещается гробница с телом флорентийского поэта Данте[28 - Действительно, во времена Саккетти (и до 1482 г.) гробница Данте находилась в церкви св. Франциска.].

Заметив древнее распятие, наполовину выгоревшее и закопченное от великого множества светильников, которые передним ставились, и увидев, что в это время многие свечи были зажжены, он тотчас же подошел к распятию и, схватив все горевшие там свечи и огарки, направился к гробнице Данте, к которой он их прикрепил, говоря:

– Прими сие, ибо ты гораздо более достоин этого, чем он.

Люди при виде этого с удивлением говорили: «Что это значит?» – и переглядывались.

В то время по церкви проходил один из дворецких синьора. Увидев это и вернувшись во дворец, он рассказал синьору о поступке магистра Антонио, чему он был свидетелем. Синьор, как все прочие синьоры, весьма падкий до такого рода происшествий, сообщил о поступке магистра Антонио архиепископу Равеннскому с тем, чтобы тот его к себе вызвал и сделал вид, что он собирается начать дело против еретика, закоренелого в своей ереси. Архиепископ тотчас же его вызвал, и тот явился. После того как ему было прочтено обвинение, с тем чтобы он покаялся, ничего не отрицал и во всем признался, магистр Антонио сказал архиепископу:

– Даже если бы вам пришлось меня сжечь, я бы вам ничего другого не сказал, ибо я всегда уповал на Распятого, но он мне никогда ничего не делал, кроме зла. К тому же, видя, сколько на него потрачено воска и что он уже наполовину сгорел (уж лучше бы целиком), я отнял у него все эти светильники и поставил их перед гробницей Данте, который, как мне казалось, заслуживает их больше, чем он. А если вы мне не верите, взгляните на писания того и другого, и вы признаете, что писания Данте чудесны превыше человеческой природы и человеческого разумения, писания же евангельские – грубы и невежественны; если в них и попадаются вещи возвышенные и чудесные – не велика заслуга, ибо тот, кто видит целое и обладает целым, способен раскрыть в писаниях небольшую часть этого. Но удивительно, когда столь маленький и скромный человек, как Данте, не обладающий не то что целым, но и частью целого, все же увидел это целое и его описал. И потому мне кажется, что он более достоин такого освещения, чем тот, и на него отныне я и буду уповать. А вы занимайтесь своим делом, блюдите свой покой, так как все вы из любви к нему избегаете всякого

беспокойства и живете как лентяи. А если вы пожелаете получить от меня более подробные разъяснения, я это сделаю в другой раз, когда не буду в столь разорительном проигрыше, как сейчас.

Архиепископ чувствовал себя неловко, но он сказал:

– Так, значит, вы играли, и проигрались? Приходите в другой раз.

Магистр Антонио сказал на это:

– Если бы проигрались вы и все вам подобные, я был бы очень рад. Я еще посмотрю, вернусь ли я. Но вернусь я или не вернусь, вы всегда найдете меня в том же расположении духа или еще хуже.

Архиепископ сказал:

– А теперь идите с богом или, если хотите, с чертом. Ведь если я за вами пошлю, вы все равно не придете. По крайней мере пойдите к синьору и угостите его теми плодами, которыми вы угостили меня.

На этом они расстались.

Синьор, узнав о происшедшем и оценив доводы магистра Антонио, награбил его, с тем чтобы тот мог продолжать игру; и много дней потешался он вместе с ним, вспоминая о свечах, поставленных Данте. Потом синьор отправился в Феррару, находясь, пожалуй, в лучшем настроении, чем магистр Антонио. А когда умер папа Урбан V[29 - То есть в 1370 г. С Урбаном V связано возвращение панской столицы из Авиньона в Рим.] и его портрет, написанный на доске, был помещен в одной из знаменитых церквей одного великого города[30 - То есть Рима.], Антонио увидел, что перед картиной поставлена зажженная свеча весом в два фунта, а перед распятием, находившимся поблизости, – жалкая грошовая свечка. Он взял большую свечу и, прикрепив ее перед распятием, сказал:

– Не к добру это будет, если мы вздумаем перемещать и менять небесное правительство так же, как мы на каждом шагу меняем правительства земные. – И с этим удалился из церкви.

Поистине самое прекрасное и примечательное слово, какое только можно было услышать в подобном случае.

#### Новелла СХХV

Карл Великий думает, что обратил некоего иудея в христианскую веру, но иудей этот, находясь с ним за столом, заявляет ему, что он сам должным образом не соблюдает христианской веры, после чего означенный король оказался побежденным

Король Карл Великий был превыше всех других королей в мире, самым великим и отважным, так что, если рассуждать о доблестных христианских синьорах, более всех прославились своей доблестью трое: он, король Артур и Готфрид Бульонский[31 - Король Артур – легендарный кельтский король, герой рыцарских романов «О короле Артуре и рыцарях Круглого стола». Готфрид Бульонский (XI в.) – герцог Нижней Лотарингии, участник первого крестового похода и герой ряда эпических произведений.], а из язычников трое других: Гектор, Александр Великий и Цезарь, и трое среди иудеев: Давид, Иисус Навин и Иуда Маккавей[32 - Давид, Иисус Навин, Иуда Маккавей – библейские персонажи. Давид – победитель великана Голиафа. Два последних – полководцы.].

Обратимся к нашему рассказу.

Когда король Карл Великий завоевал всю Испанию, в его руки попал некий иудей, или испанец, или вообще язычник, который был человеком умным и находчивым. И вот король, принимая во внимание достоинства этого иудея, решил обратить его в христианскую веру, и это ему удалось. Однажды утром, когда иудей сидел за столом с означенным королем, восседавшим вверху стола, как это принято у синьоров, какой-то жалкий нищий сидел тут же внизу, не то на земле, не то на низкой скамеечке за убогим столом, и ел.

Дело в том, что король этот всегда во время еды кормил таким образом одного или нескольких бедняков для спасения своей души.

Иудей, увидев, как кормят этого бедняка, спросил короля, кто он такой и что означает, что он так ест.

Король отвечал:

– Это нищий во Христе, и милостыню, которую я ему подаю, я подаю Христу, ибо, как ты знаешь, он учит нас, что всякий раз, как мы оказываем благодеяние единому от малых сих, мы его оказываем и ему.

Иудей говорит:

– Синьор мой, вы мне простите то, что я вам скажу?

– Говори что хочешь.

И тот говорит:

– Много глупых вещей нашел я в этой вашей вере, но эта мне кажется глупев всякой другой. Ибо, если вы верите в то, что этот нищий – ваш господь Иисус Христос, то на каком основании вы с позором кормите его там, на земле, тогда как сами с таким почетом едите здесь, наверху? По правде говоря, мне кажется, что вы должны были бы поступить как раз наоборот, а именно, чтобы вы ели там, а он здесь, на вашем месте.

Король, чувствуя себя уязвленным настолько, что ему уже трудно было защищаться, привел множество всяких доводов, но иудей оставался при своем, и, в то время как синьор думал, что ему удалось приблизить иудея к истинной вере, он его отдалил от нее на тысячи миль и вернул к его прежней вере.

А разве не правду сказал этот иудей? Какие же мы христиане и что у нас за вера? Мы щедро отдаем богу все, что нам ничего не стоит, как то: «Отче наш», «Богородицу» и другие молитвы; мы бьем себя в грудь, надеваем власяницу, гоняем на себе мух[33 - Подразумевается притворное самобичевание.], ходим за крестным ходом и в церковь, набожно выстаиваем обедни и делаем многие подобные же вещи, которые ничего нам не стоят. Но если нужно накормить нищего, даем ему немного бурды и загоняем его в угол, как собаку; а когда нужно пожертвовать неимущим, мы обещаем им бочку плохого вина, мелем червивое зерно и сбываем другие припасы, которые нам не по вкусу, – и все это мы отдаем Христу. Мы, думаем, что он страус, который даже железо переваривает. У кого дочка косая, хромая или кособокая, говорит: «Я хочу отдать ее богу», а здоровую и красивую оставляет себе. А у кого сын убогий, молит господа, чтобы он его к себе призвал; у кого он хороший, тот молит господа, чтобы он его к себе не призывал, но даровал ему долгую жизнь. И так я мог бы перечислить тысячу вещей, из которых худшие мы отдаем тому самому господу, который даровал и предоставил нам все.

Таким образом, доводы иудея были, безусловно, неопровержимы, ибо в этом мире

лицемерие подчинило себе человеческую веру[34 - Фабула этой новеллы отнюдь не нова. Она встречается, например, в новелле XXV знаменитого сборника «Сто новых новелл», составленного в конце XIII в. во Флоренции. С новеллами этого сборника Саккетти был несомненно знаком по спискам или устной традиции.]

#### Новелла CXXXVI

Мастер Альберто доказывает, что флорентийские женщины по своей тонкости превосходят лучших в мире живописцев, а также что они любую дьявольскую фигуру превращают в ангельскую и чудеснейшим образом выпрямляют перекошенные и искривленные лица

В городе Флоренции, который всегда отличался обилием людей незаурядных, были в свое время разные живописцы и другие мастера. Находясь однажды за городом, в местности, именуемой Сан Миньято а Монте, для живописных и иных работ, которые должны были быть выполнены в тамошней церкви[35 - То есть в церкви того же названия.], и после того как они поужинали с аббатом, наевшись вволю и вволю напившись, эти мастера стали задавать друг другу всякие вопросы. И в числе других один из них, по имени Орканья[36 - Речь идет об Андреа ди Чоне, по прозвищу Орканья (1308–1358), известном живописце, скульпторе, архитекторе и поэте. Капелла в Орто Сан Микеле – лучшее его творение.], бывший главным мастером в знатной часовне Богородицы, что при Орто Сан Микеле, спросил:

– А кто был величайшим мастером живописи? Кто еще, кроме Джотто[37 - Джотто ди Бондоно (1266 или 1267–1337) – великий итальянский живописец.]?

Один говорил, что это был Чимабуэ, другой – Стефано, третий – Бернардо, четвертый – Буффальмако; кто называл одного, а кто – другого.

Таддео Гадди[38 - Таддео Гадди – ученик Джотто. Автор фресок в церкви Сан Миньято а Монте. ], который был в этой компании, сказал:

– Что правда, то правда. Много было отменных живописцев, и писали они так, что это не под силу человеческой природе. Но это искусство пало и падает с каждым днем.

Тогда один, по имени Альберто[39 - Тогда один, по имени Альберто... – Альберто Орланди, ученик Андреа Пизано. Работал во Флоренции.], который был великим мастером мраморной резьбы, сказал:

– Мне кажется, что вы сильно заблуждаетесь, и я вам ясно докажу, что природа человеческая никогда еще не была так тонка, как сейчас, особенно в живописи и в резьбе по живой плоти.

Все мастера, услышав его слова, стали смеяться, полагая, что он не в своем уме. Альберто же продолжал:

– Вот вы смеетесь, но если хотите, я вам это поясню.

Один из них, которого звали Никколоа[40 - Похоже, что речь идет о Никколо ди Бельтрамо, скульпторе-каменотесе, заготавливавшем мрамор для флорентийского кафедрального собора.], сказал:

– А ну-ка, поясни, хотя бы из любви ко мне.

Альберто отвечает:

– Изволь, раз тебе хочется, но всем вам придется выслушать меня (так как все кругом

раскудахтались, точно куры).

И Альберто сказал так:

– Я полагаю, что во все времена высшим мастером живописи и ваяния фигур был господь бог. Однако мне кажется, что при всем множестве созданные им фигуры обнаруживают большие изъяны, которые в наше время и научились исправлять. Кто же эти современные живописцы и исправители? Это – флорентийские женщины. И был ли когда-либо живописец кроме них, который делал бы по черному или из черного белое? Иной раз родится девочка, а то и не одна, черная, как жук. И вот ее здесь потрут, там помажут гипсом, выставят на солнце и сделают ее белее лебедя. И какой же красильщик по полотну или по шерсти или какой живописец сумеет из черного сделать белое? Разумеется, никакой, ибо это против природы. А если попадетя особа бледная и желтая, ее при помощи всяких искусственных красок превратят в розу. А ту, которая от природы или от времени кажется высохшей, они сделают свежей и цветущей. И, не исключая ни Джотто, ни кого другого, нет такого живописца, который раскрасил бы лучше, чем они. Но больше того, если у кого-нибудь из них лицо окажется нескладным и глаза навывкате, – они у нее тотчас же станут соколиные; нос будет кривой – тотчас же выправят; челюсть ослиная – тотчас же выправят; плечи будут бугристые – тотчас же их обстригают; одно плечо будет выше другого – будут конопатить их хлопком до тех пор, пока они не покажутся соразмерными и правильными; а также и грудь и бедра. И все без всякого резца, с которым и сам Поликлет[41 - Речь идет о великом греческом скульпторе V в. до и. э.] не знал бы, как поступить. Словом, я говорю вам и утверждаю, что флорентийские женщины – большие мастера живописи и резьбы, чем кто-либо из мастеров, ибо совершенно очевидно, что они восстанавливают то, чего не доделала природа. А если вы мне не верите, общитесь весь наш город, и вы не найдете почти ни одной женщины с черным лицом. И это не потому, что природа их всех сделала белыми, а потому, что большая часть из них побелела благодаря искусству. И это касается и лица их и тела, так что все они, каковы бы они ни были от природы – прямые, кривые или перекошенные, – приобрели красивую соразмерность благодаря их собственной великой изобретательности и искусству. Дело мастера боится.

И, обращаясь ко всей компании, спросил:

– Что вы на это скажете?

Тогда все зашумели и единогласно воскликнули:

– Ай да мастер, здорово рассудил!

И после того как вопрос был разрешен, они вышли на лужок, вручили Альберто председательский жезл, заказали вина прямо из бочки и отменно им подкрепились, сказав на прощание аббату, что все вернутся в следующее воскресенье и скажут свое мнение о том, что они обсуждали. Итак, в следующее воскресенье они вернулись все вместе, собираясь провести время с аббатом так же, как они провели его в тот день, с тою только разницей, что принесли с собой...[42 - На этом новелла Саккетти обрывается.]

Новелла ССII

Некий бедняк из Фаенцы, у которого отнимали постепенно его участок земли, звонит во все колокола и говорит, что правда умерла

Нижеследующая выдумка подобна предыдущей, но оправдала себя гораздо больше. В самом деле, когда синьором Фаенцы[43 - Фаенца – город в Италии, славный гончарным производством.] был Франческо деи Манфреды, отец мессера Ричардо и Альбергентино[44

- Франческо – основатель синьории Манфреди в 1313 г. В 1327 г. был свергнут своим сыном Альбергентино, обезглавленным в 1329 г. Ричардо был владельческим синьором Фаенцы и Имолы с 1334 по 1348 г.], правитель мудрый и достойный, лишенный всякого тщеславия и скорее соблюдавший нравы и скромную внешность именитого гражданина, чем синьора, как-то случилось, что у кого-то из власть имущих этого города владения граничили с участком, принадлежавшим некоему человечку, не шибко богатому. Он хотел его купить и много раз за это брался, но ему это ни разу не удавалось, так как человечек этот в меру своих сил отлично возделывал свой участок, поддерживая им свое существование, и скорее продал бы самого себя, чем его. Вот почему этот могущественный гражданин, не будучи в состоянии осуществить свое желание, решил применить силу. И вот, так как межой между их владениями служила только крохотная канавка, богач каждый год, примерно в то время, когда вспахивались его владения, отнимал у соседа по одному или нескольку локтей земли, проводя плугом ежегодно то одну, то другую борозду по его участку.

Добрый человек хотя это и замечал, но не решался даже заикнуться об этом, разве что сокращался тайком в кругу своих друзей.

И так это продолжалось несколько лет, и богач постепенно, но скоро захватил бы весь участок, не будь на нем вишневого дерева, которое было слишком на виду, чтобы его миновать, да и каждый знал, что вишня находится на участке бедняка.

И вот, видя, как его грабят, и задыхаясь от ярости и досады, а также не будучи в силах не только что пожаловаться, но даже слово вымолвить, добрый человек, доведенный до отчаяния, в один прекрасный день, имея в кошельке два флорина денег, срывается с места и обходит, прицениваясь, все большие церкви Фаенцы, умоляя в каждой по очереди, чтобы они зазвонили во все колокола в такой-то час, но только не в положенное время вечерни или Ноны[45 - Нона – церковная служба, совершавшаяся в три часа пополудни. По-итальянски «Нона» означает «9-й час», учитывая же разницу в исчислении времени, соответствует нашим трем часам.].

Так оно и вышло. Церковники деньги с него получили, и в условленный час всюду ударили в колокола, так что по всей округе люди, переглядываясь, стали спрашивать;

– Что это значит?

А добрый человек, как полоумный, носился по всей округе. При виде его каждый говорил:

– Эй вы, куда вы бежите?

– Эй ты, такой-сякой, почему звонят колокола?

А он отвечал:

– Потому что правда умерла.

А в другом месте говорил:

– За упокой правды, которая умерла.

И так, под звон колоколов, слово это облетело весь край, так что наконец и синьор спросил, почему звонят. Ему в конце концов ответили, что известно только то, что кто-то что-то сказал.

Синьор послал за виновником, и тот пошел в великом страхе. Когда синьор его увидел, он сказал:

– Подойди сюда! Что означают слова, которые ты там говоришь? И что означает

колокольный звон?

Тот отвечал:

– Синьор мой, я вам скажу, но, прошу вас, не обессудьте. Такой-то ваш гражданин захотел купить у меня мое поле, а я не желал его продавать. Поэтому, так как он не мог его получить, он каждый год, когда пашется его земля, отхватывал кусок моей – когда один локоть, а когда два, – пока не дошел до вишни, дальше которой ему идти неудобно, иначе это будет слишком заметно, – да благословенно будет это дерево! Не будь его, он скоро забрал бы всю мою землю. И вот, так как человек, столь богатый и могущественный, отнял у меня мое добро и так как я, с позволения сказать, человек убогий, то я, немало натерпевшись и преодолевая свое горе, пошел с отчаяния подкупать эти церкви, чтоб зазвонили они за упокой правды, которая умерла.

Услышав про эту шутку и про грабеж, совершенный одним из его граждан, синьор вызвал последнего, и после того, как истина была обнаружена, он заставил его вернуть этому бедному человеку его землю и, дослав на место землемеров, распорядился отдать бедняку такой же кусок земли богатого соседа, какой тот занял на его земле, а также приказал уплатить ему те два флорина, которые он истратил на колокольный звон.

Великую справедливость и великую милость явил этот синьор, хотя богач заслужил худшее. Если все взвесить, доблесть его была велика, и бедный человек получил по праву немалое возмещение. И если он говорил, что колокола звонили потому, что правда умерла, он мог бы сказать, что они звонили, чтобы она воскресла. Да и ныне хорошо было бы, если б они зазвонили, чтобы она воскресла.

Сер Джованни Флорентиец

Из «Пекороне»

Четвертый день

Новелла I

Возвратившись на четвертый день туда, где обычно протекали их беседы, влюбленные учтиво приветствовали друг друга и, взявшись за руки, уселись. Начала Сатурнина, промолвив так:

– Я хочу рассказать тебе историю, которая станет королевой и примадонной всех историй, рассказанных нами до сих пор. А потому, полагаю, она тебе чрезвычайно понравится.

Жил во Флоренции, в доме Скали, один купец по имени Биндо, много раз побывавший и в Тане, и в Александрии, и во всех других краях, в какие только отправляются купцы с товарами. Этот Биндо был весьма богат и имел троих взрослых сыновей. Когда пришло время ему умирать, он призвал к себе двух сыновей – старшего и среднего – и в их присутствии составил завещание, сделав обоих наследниками всего, чем владел на земле. Младшему же ничего не оставил. Тогда младший сын по имени Джаннетто, прослышав о, том, явился к нему и сказал:

– Отец, я премного удивлен тем, что вы сделали, – не вспомнили обо мне в завещании.

Отец отвечал:

– Джаннетто, нет в целом мире души, которую я любил бы более, чем тебя. Но я хочу, чтобы после моей смерти ты не оставался здесь, а уехал в Венецию к твоему крестному отцу, мессеру Ансальдо, у которого совсем нет детей, и он в письмах многожды просил прислать ему тебя. Мессер Ансальдо самый богатый купец из всех ныне здравствующих христиан. Вот и хочется мне, чтобы после моей смерти ты отправился к нему с этим письмом-; и коли сумеешь, то станешь богатым.

Сын отвечал:

– Я готов исполнить все, что вы прикажете.

Отец благословил его и через несколько дней умер. Сыновья в великой скорби воздали его праху подобающие почести. А по прошествии еще нескольких дней оба брата позвали к себе Джаннетто и сказали ему:

– По правде говоря, отец оставил наследство нам, а о тебе вовсе не упомянул в завещании; однако мы братья, так пусть уж нам всем достанется поровну.

Джаннетто отвечал так:

– Братья мои, благодарю вас за вашу доброту, но душа моя просится искать счастья на чужбине, и я не откажусь от своего намерения; вы же пользуйтесь уготованным вам благословенным наследством.

Тогда братья, видя его такую решимость, дали ему коня, денег на дорогу, и Джаннетто, распростившись с ними, отправился в Венецию. Он явился прямо в лавку мессера Ансальдо и вручил ему письмо, написанное отцом перед смертью, из которого мессер Ансальдо узнал, что приезжий юноша – сын дражайшего Биндо, и, кончив читать, тут же обнял его со словами:

– Добро пожаловать, сынок, я давно желал тебя увидеть!

И стал расспрашивать его о Биндо, на что Джаннетто отвечал, что отец умер, и мессер Ансальдо, весь в слезах, прижал его к своей груди, расцеловал и сказал:

– Сколь горестно мне слышать о смерти Биндо, ведь вместе с ним мы заработали немалое богатство. Но радость видеть тебя столь велика, что уменьшает скорбь.

Он велел проводить его в дом и сказал своим приказчикам, своим друзьям, щитоносцам и всем в доме, чтобы слушались и привечали Джаннетто более, чем его самого. И первым делом отдал ему ключи от своей казны со словами:

– Сынок, все, что есть, можешь тратить: одевайся и обувайся, как тебе заблагорассудится, заводи знакомства и не скупись на угощение друзьям. Однако хочу, чтобы ты запомнил: я буду любить тебя тем сильнее, чем более ты станешь стараться для этого.

А потому Джаннетто начал водить дружбу с благородными венецианцами, был галантен в обращении; стал задавать пиры, одаривать слуг, покупать лучших скакунов и участвовать в состязаниях и турнирах наравне с бывальыми и искушенными людьми; был великодушен, обходителен со всеми и прекрасно умел оказать почет и уважение кому и где надобно, никогда не забывая при этом воздавать почести мессеру Ансальдо, словно тот был его родным отцом. И сумел столь мудро повести себя с самыми различными людьми, что полюбился даже членам городской управы, находившим его весьма благоразумным, приятным и бесконечно любезным. Оттого и женщины и мужчины, казалось, души в нем не чаяли, да и мессер Ансальдо наглядеться на него не мог, столь приятны ему были учтивость его и манеры. Ни один праздник в Венеции не обходился без того, чтобы упомянутый Джаннетто не был приглашен, так всем он был

мил. И вот случилось, что два близких его приятеля задумали отправиться в Александрию со своими товарами на двух кораблях, как они проделывали это каждый год, и обратились к Джаннетто со словами:

– Тебе следовало бы вместе с нами вкусить морской жизни, посмотреть на мир и обязательно повидать Дамаск и дальние страны.

Джаннетто отвечал:

– Я, без сомнения, весьма охотно отправился бы с вами, если бы отец мой, мессер Ансальдо, дал на то свое соизволение.

Те отвечали:

– Мы сделаем так, что он тебе его даст и будет доволен.

И тотчас же поторопились к мессеру Ансальдо и сказали ему:

– Мы хотим просить вас, чтобы вы позволили Джаннетто отправиться этой весной вместе с нами в Александрию, а также дали ему какой-нибудь корабль, – пускай повидает свет.

Мессер Ансальдо отвечал:

– Я буду рад, если это ему по душе.

Те отвечали:

– Мессер, он и сам был бы рад.

Тогда мессер Ансальдо немедля велел снарядить прекрасный корабль, погрузить на него множество товаров и оснастить флагами и оружием как подобает. Когда же корабль снарядили, мессер Ансальдо наказал капитану и прочим, кто служил на корабле, чтобы те исполняли все, о чем Джаннетто распорядится и что он им прикажет.

– Я его не за деньгами посылаю, – говорил он, – а чтобы увидал свет и себя потешил.

И когда подошло время Джаннетто отправляться в путь, весь город сбежался посмотреть, потому что с давних пор не выходил из Венеции столь красивый и хорошо оснащенный корабль, как этот. И всякий сожалел об отъезде Джаннетто. Он распрощался с мессером Ансальдо, всеми своими друзьями; и путешественники, выйдя в море и подняв паруса, устремились в сторону Александрии во славу господ бога и уповая на судьбу. Так плыли они на трех кораблях много дней, когда однажды на рассвете Джаннетто увидел морской залив с прекрасным портом. Он спросил у капитана корабля, как назывался порт. Капитан отвечал:

– Мессер, этот город принадлежит одной знатной донне, вдове, которая погубила немало добрых синьоров.

Спросил Джаннетто:

– Каким образом?

Тот отвечал:

– Мессер, она красивая и приятная женщина, – и у нее такой закон: каждый, кто приезжает, должен провести с ней ночь и если сумеет ею овладеть, то может взять ее в жены, – она хозяйка порта и окрестных земель. Ну, а если опростоволосится, то лишается всего, что у него есть с собой.

Джаннетто немного поразмыслил и сказал:

– Делай что хочешь, но доставь меня в этот порт.

Капитан отвечал:

– Мессер, подумайте, что вы говорите, ведь там уже столько синьоров перебивало, и все по миру пошли.

На что Джаннетто молвил:

– Не твоя печаль; делай, как я говорю.

Так и сделали: тут же развернули корабль и устремились в порт; приятели же, плывшие на других кораблях, ничего не заметили.

Утром по всему городу пошли разговоры о красивом корабле, вошедшем в порт; все сбегались поглядеть; тут же доложили донне, и та послала за Джаннетто, который, незамедлительно явившись, приветствовал ее с большим почтением. Она же взяла его за руку и стала расспрашивать, кто он, откуда и знаком ли с обычаем этого края. Джаннетто отвечал утвердительно и, мол, он ни за чем иным сюда и не стремился. Тогда она сказала:

– В таком случае тысячу раз добро пожаловать!

И оказала ему самые большие почести, пригласив великое множество баронов, графов, рыцарей, дабы составили ему достойную компанию. Всем баронам пришлось весьма до вкусу манеры Джаннетто, его приятное обхождение и речи; он полюбился каждому; до темноты не смолкало при дворе торжество с танцами и пением в честь Джаннетто, и всякий с радостью был готов назвать его своим господином. Когда же наступил вечер, донна привела Джаннетто в свои покои и сказала:

– По-моему, настало время ложиться спать.

Джаннетто отвечал:

– Мадонна, я к вашим услугам.

Тут появились две юные прислужницы, одна с вином, другая со сладостями. Донна молвила:

– Вам, наверно, хочется пить, так отведайте вина.

Джаннетто попробовал сластей и стал пить вино, в которое было подмешано сонное снадобье, а он-то этого не знал и выпил добрую половину чаши, потому что вино понравилось ему, после чего мигом скинул одежды и улегся; но, едва оказавшись в постели, заснул. Донна же легла рядом, но он так ничего и не почувствовал и очнулся лишь на следующий день, когда уже пробило три. Лишь только рассвело, донна поднялась и приказала разгружать корабль, каковой оказался полон хороших и дорогих товаров. И вот, как пробило три, служанки донны пришли к постели, где спал Джаннетто, растолкали его и сказали, чтобы отправлялся с богом: корабля со всем, что там было, он лишился. И стало ему стыдно своего дурного поступка. Донна велела дать ему коня, денег на дорогу, и он, мрачный и скорбный, отправился в Венецию; однако, приехав туда, от стыда не пожелал идти домой, а явился ночью к своему приятелю, который, премного удивившись, сказал:

– Ох! Джаннетто, тебя ли я вижу?

И тот отвечал:

– Корабль мой в темноте наскочил да риф, разбился вдребезги, всех разбросало кого куда; сам я ухватился за обломок дерева, который вынес меня на берег; так по суше и добрался до Венеции.

Много дней провел он в доме приятеля, пока тот однажды не отправился навестить мессера Ансальдо, коего застал в большой печали. Молвил мессер Ансальдо:

– Я так опасаясь, что мой сынок погиб или с ним приключилось в море что-либо неладное, просто места себе не нахожу от тревоги.

Тогда юноша сказал:

– Он потерпел кораблекрушение, но сам спасся.

Воскликнул мессер Ансальдо:

– Слава богу! Как я рад! Лишь бы Джаннетто уцелел, а о потерянном не тревожусь. Где же он?

Юноша отвечал:

– Он в моем доме.

Мессер Ансальдо тотчас же вскочил и бросился туда. А увидев Джаннетто, стал обнимать его, приговаривая:

– Сынок мой, ты не должен стыдиться, ведь корабли нередко терпят крушение в море; потому, сынок, не отчаивайся: главное, ты цел, невредим, и я счастлив.

Так, утешая, он повел его домой. Новость эта разлетелась по всей Венеции, и всякий сожалел о злополучном бедствии, постигшем Джаннетто. В скором времени вернулись из Александрии с большими сокровищами его друзья и, едва причалив, первым делом спросили о Джаннетто. Им все подробно рассказали, и они прибежали обнять его со словами:

– Что с тобой стряслось? Куда же ты запропастился? Мы, ничего не зная о тебе, целый день шли в обратном направлении, но ни увидеть тебя, ни понять, куда ты мог направиться, не смогли. И так нам стало горько, что в течение всего пути мы не ведали радости, полагая, что ты погиб.

Джаннетто отвечал так:

– Я находился в заливе, когда поднялся сильный встречный ветер и бросил нас на прибрежные рифы; корабль разбился вдребезги, сам я лишь чудом спасся.

Вот как он объяснил все это, дабы не раскрывать своего позора. И вместе они устроили большое празднество, вознося хвалу господу за спасение Джаннетто и говоря так:

– Будущей весной с божьей помощью мы выручим все, что ты потерял в этот раз, а покуда есть время, не станем унывать и предадимся веселью.

Но Джаннетто не покидала мечта возвратиться к той донне. Он в мыслях рисовал себе это и думал: «Мне следует во что бы то ни стало жениться на ней, иначе я погиб», – он был не в силах побороть тоску, отчего мессер Ансальдо нередко говорил ему:

– Не печалься, сынок, у нас с тобой еще столько добра, что прекрасно проживем.

На что Джаннетто отвечал:

– Мой синьор, я никогда не обрету покоя, если вновь не испытаю судьбу.

И мессер Ансальдо, видя его желание, снарядил, когда пришло время, другой корабль с товарами еще лучше, еще дороже прежних, истратив на это большую часть из того, чем владел на свете. Друзья, также нагрузив чем нужно свои корабли, вышли в море вместе с Джаннетто, подняли паруса и устремились в путь. Много дней плыли они, и Джаннетто неустанно ждал, когда появится порт той самой дамы, который назывался портом донны Бельмонте. И однажды ночью, проходя вблизи залива, Джаннетто увидел этот порт, тотчас узнал его и приказал, развернув паруса и руль, идти прямо туда, так что его товарищи опять ничего не заметили. Донна же, проснувшись утром и взглянув на причал, увидела развевающиеся флаги чужого корабля и сразу их узнала; позвав служанку, она спросила ее:

– Тебе знакомы эти флаги?

А служанка отвечала:

– Мадонна, да это, кажется, корабль того самого купца, что был здесь год назад и так щедро оделил нас своими товарами.

Тогда донна сказала:

– Ты несомненно права; и если нет другой важной причины, то он, должно быть, в меня влюбился; однако я еще не видела такого, кто наведался бы сюда более одного раза.

На это служанка ответила:

– А я еще не встречала более обходительного и более привлекательного мужчину.

Донна послала к Джаннетто пажей и щитоносцев, которые с радостью встретили юношу. Он же со всеми был приветлив и весел; и поднявшись в замок, предстал перед донной, которая ласково его обняла, а он почтительно, обнял ее. Весь день прошел в ликовании и веселье; донна пригласила баронов и дам в великом множестве, и те прибыли ко двору на торжество в честь Джаннетто. Бароны искренне досадовали, что Джаннетто не их господин; они с удовольствием согласились бы на это, зная его приятные манеры и обходительность. Дамы почти все были в него влюблены, видя, как умело он вел танец, как не сходило с его лица оживленное выражение, и все сочли, что он, не иначе, сын какого-то богатого синьора. Когда же подошло время спать, донна, взяв Джаннетто под руку, сказала:

– Не пора ли нам отойти ко сну?

Они пришли в комнату, уселись; тут появились две юные прислужницы с вином и сладостями, и они стали пить вино и вкушать эти сласти, после чего отправились спать, но едва Джаннетто оказался в постели, как в ту же минуту уснул. Донна же разделась и улеглась рядом с ним. А он за всю ночь так и не пробудился. Утром донна, проснувшись, немедля послала сказать, чтобы разгружали корабль. Как пробило три, Джаннетто очнулся от сна, стал искать донну и не нашел. Тут он увидел, что уже день, и вскочил с постели, не зная, куда деться от стыда. Ему дали денег на дорогу, коня и сказали:

– Ступай прочь!

И он с позором поехал восвояси, мрачный и скорбный, и ехал много дней без передышки, пока не добрался до Венеции, где ночью явился, как и прежде, к приятелю, который при виде его в величайшем изумлении воскликнул:

– Ох, да что же это?

Отвечал Джаннетто:

– Горе мне! Будь проклята судьба, что завела меня однажды в те края!

Приятель же сказал ему:

– Еще бы тебе не проклинать судьбу, когда ты разорил мессера Ансальдо, а ведь он был самым богатым купцом во всем христианском мире; но во сто крат хуже то бесчестье, каким его теперь покрывают.

Много дней хоронился Джаннетто в доме приятеля, не зная, что предпринять и что сказать, и уже совсем было собрался, ничего не говоря мессеру Ансальдо, отправиться обратно к себе во Флоренцию, однако, подумав, решился показаться напоследок крестному, что и сделал. Когда мессер Ансальдо его увидел, то, вскочив с места, кинулся обнимать со словами:

– Добро пожаловать, сынок мой! – И Джаннетто весь в слезах обнял его. А узнав про все, мессер Ансальдо молвил:

– Знаешь, Джаннетто, не следует горевать, таково уж это море: одних одаривает, других обирает; ты вновь со мной, и я счастлив. У нас еще осталось столько, что сможем жить потихоньку.

Новость об этом происшествии разлетелась по всей Венеции; только и разговоров было, что о мессере Ансальдо, и все не на шутку сожалели о его убытках. Самому же мессеру Ансальдо пришлось продать многое, дабы расплатиться с кредиторами, которые предоставили ему товары. Тут вернулись из Александрии с несметным богатством друзья Джаннетто и по прибытии в Венецию сразу же узнали о его возвращении и о том, что его корабль вновь потерпел крушение; немало тому подивившись, они молвили:

– Вот так казус; мы такого еще не видывали.

Затем направились к мессеру Ансальдо и, воздав ему почести, сказали:

– Мессер, не отчаивайтесь, в будущем году весь барыш будет ваш; ведь это мы стали причиной ваших убытков, ибо уговорили Джаннетто отправиться с нами в первый раз. А потому не бойтесь ничего; коль скоро у нас есть деньги, располагайте ими как своими собственными.

Мессер Ансальдо поблагодарил их и ответил, что у него хватит еще на жизнь. Но Джаннетто с утра до вечера не покидали раздумья, он не ведал покоя; мессер Ансальдо спросил его, в чем дело, и тот отвечал:

– Я никогда не успокоюсь, ежели не верну того, что потерял.

Тогда мессер Ансальдо молвил:

– Сынок мой, мне не хочется, чтобы ты снова отправлялся куда-то; лучше будем жить потихоньку, довольствуясь тем немногим, что у нас осталось, нежели ты вновь станешь рисковать.

Отвечал Джаннетто:

– Я твердо намерен сделать все, что в моих силах, иначе жизнь станет для меня величайшим позором.

Видя его решимость, мессер Ансальдо вознамерился продать все, чем владел на свете, и купить еще один корабль; так и сделал, продав последнее, что у него осталось, и снарядил прекрасный корабль с товарами. А поскольку недоставало десяти тысяч дукатов, то он отправился к одному иудею в Местре и взял у него займы эти деньги на тех условиях и с таким уговором, что если не возвратит их ко Дню святого Иоанна в июне будущего года, то иудей может отрезать от любой части его тела, откуда захочет, фунт мяса. Мессер Ансальдо с готовностью согласился, и тогда иудей пожелал составить о том достоверную бумагу яри свидетелях, торжественно и с подобающей осмотрительностью, лишь, после чего отсчитал десять тысяч золотых дукатов; на которые мессер Ансальдо приобрел все необходимое, чего не хватало для оснастки корабля; и если прежние два корабля были великолепны, то третий был куда богаче и лучше. Друзья же нагрузили свои корабли с расчетом на то, что барыш целиком отойдет Джаннетто. И когда настало время отправляться в путь, перед самым расставанием мессер Ансальдо сказал ему:

– Сынок мой, видишь сам, в каких долгах я остаюсь; об одной лишь милости прошу: ежели и случится тебе вернуться домой горемыкой, то покажись мне на глаза, я хоть взгляну на тебя перед смертью и буду тем доволен.

На что Джаннетто отвечал:

– Мессер Ансальдо, я все сделаю так, чтобы вас порадовать.

Мессер Ансальдо благословил его, и на том расстались. Друзья Джаннетто не спускали глаз с его судна; сам же он был настороже и только ждал случая, чтобы свернуть в порт Бельмонте, с каковой целью подговорил своего кормчего, и тот ночью привел корабль прямо в порт, принадлежавший этой благородной даме. На рассвете следующего дня товарищи, плывшие на двух других кораблях, стали в беспокойстве искать парусник Джаннетто и, нигде не обнаружив его, сказали:

– Такова уж судьба его злосчастная, – и, теряясь в догадках, порешили продолжать путь.

Тем временем, прослышав, что Джаннетто вернулся, и завидев судно, прибывшее в порт, все обитатели замка сбежались на пристань и стали говорить в большом удивлении:

– Не иначе он сын важного человека, раз каждый год привозит нам столько товаров на таких хороших кораблях; видно, сам бог желает, чтобы он стал нашим господином.

И явились к нему с визитом все именитые граждане города, бароны, рыцари; и было доложено донне о возвращении Джаннетто. Она тотчас кинулась, к окну, увидела прекрасный парусник и узнала флаги, а затем, осенив себя крестным знаменем, сказала:

– Несомненно, что-то произошло: это тот самый человек, который принес нам богатство, – и послала за ним.

Джаннетто пожаловал в замок, и они приветствовали друг друга весьма почтительно и многократно обнялись. Весь день прошел в веселье и радости; в честь Джаннетто устроили великолепный турнир, где состязались многие бароны и рыцари; Джаннетто тоже пожелал участвовать и целый день доказывал чудеса прекрасного владения оружием и верховой езды. Всем баронам столь понравились его манеры, что каждый из них желал бы видеть Джаннетто своим господином. И вот настудил вечер. Когда приблизился час ложиться спать, донна взяла Джаннетто под руку со словами:

– Не пора ли нам возлечь?

Тут возле двери комнаты, им повстречалась служанка донны, которой стало жаль Джаннетто; она приблизилась к нему и тихонько проговорила на ухо:

– Сегодня вечером притворись, что вьешь, а сам вина не пей.

Джаннетто все понял и с тем вошел в комнату, Донна, сказала:

– Я знаю, вас мучит жажда, поэтому, прежде чем лечь спать, выпейте вина, прошу вас.

Вошли юные прислужницы, словно два ангела, с вином и сладостями, как обычно.

Джаннетто молвил:

– Кто сможет удержаться и не выпить в столь прелестной компании?

Донна при этих словах засмеялась. Тогда Джаннетто взял чашу и сделал вид, что пьет, а сам пролил вино себе на грудь; донна же, поверив, что он вылил, подумала: «Ну что же, снаряжай еще один корабль; этот ты уже прозевал». Джаннетто тем временем улегся в постель, чувствуя себя бодрым и с ясной головой. Ему показалось, что прошла добрая тысяча лет, прежде чем донна улеглась рядом с ним. В восторге он повторял про себя:

– Теперь-то уж она моя!

И чтобы донна поскорее пришла к нему, притворился спящим и даже принялся храпеть. Завидев это, донна молвила!

– Прекрасно!

Быстро скинув одежду, она улеглась подле Джаннетто, который не стал мешкать и, едва та оказалась под одеялом, поворотившись, обнял ее, говоря:

– Вот чего я столь долго желал!

С этими словами он даровал ей священную супружескую благодать и за всю ночь уже не выпустил ее из объятий. Донна осталась премного тем довольна и, проснувшись с зарей, повелела созвать всех баронов, рыцарей, множество прочих граждан и объявила:

– Джаннетто – ваш господин, а потому начинайте праздник.

Тут поднялся шум, крики:

– Да здравствует синьор! Да здравствует синьор!

Ударили в колокола, заиграла веселая музыка; послали сказать всем остальным баронам и графам, жившим за стенами замка, чтобы шли поглядеть на своего господина. И повсюду началось бурное ликование. Когда Джаннетто вышел из комнаты, его тотчас произвели в рыцари, посадили на трон, дали в руки жезл и с триумфом и славой провозгласили господином. Ну, а когда наконец бароны и дамы собрались при дворе, Джаннетто обвенчался с этой достойной дамой; и такое было шумное и веселое празднество, что невозможно ни рассказать, ни вообразить. Все бароны и синьоры города сошлись на торжество танцевать, петь, играть, веселиться, сражаться в турнирах, – словом, происходило все, что бывает на больших праздниках. Мессер Джаннетто великодушно одаривал гостей шелками и прочими дорогими подарками, которые привез с собой.

А время шло, он возмужал, стал пользоваться уважением за свою разумность и справедливое обращение с людьми любого звания. Жил себе припеваючи, в празднествах, и при этом не помышлял о возвращении и даже не вспоминал, негодник, о мессере Ансальдо, оставшемся в закладе за десять тысяч дукатов у того иудея. И вот в один прекрасный день, расположившись со своей донной у окна, Джаннетто увидел на площади людей с пылающими факелами в руках; люди с дарами направлялись к церкви. Мессер

Джаннетто спросил:

– Что это значит?

Донна отвечала:

– Это ремесленники несут дары в церковь святого Иоанна, потому что сегодня его день.

Тут-то мессер Джаннетто и вспомнил о мессере Ансальдо, да так, что, изменившись в лице, отпрянул от окна и бросился расхаживать по зале взад и вперед, размышляя над сим обстоятельством. Донна спросила, что с ним случилось.

– Ничего особенного, – отвечал мессер Джаннетто.

Тогда донна принялась допытываться, говоря:

– Я вижу, что вы что-то скрываете от меня.

И столько всего ему наговорила, что мессеру Джаннетто пришлось поведать о том, как мессер Ансальдо остался в закладе за десять тысяч дукатов.

– А нынче срок истекает, – сказал он, – и я страшусь, что мой отец расстанется с жизнью по моей вине, ведь если он сегодня же не вернет эти деньги, у него отрежут фунт мяса.

Донна сказала:

– Мессер, немедля садитесь на коня. Возьмите с собой кого угодно, возьмите сто тысяч дукатов и отправляйтесь в Венецию, но только не морем, а сухим путем, – так будет скорее. Скажите что есть духу и, если ваш отец еще жив, привозите его сюда.

Потому мессер Джаннетто тотчас велел трубить в рог и, взяв с собою деньги, вскочил на коня и пустился вместе со свитой в двадцать человек прямо в Венецию. Тем временем по истечении срока иудей разыскал мессера Ансальдо и заявил, что желает отрезать у него фунт мяса; мессер Ансальдо стал умолять, чтобы тот согласился отсрочить его погибель на несколько дней затем, что если вдруг вернется его Джаннетто, то он, мессер Ансальдо, сможет хотя бы повидаться с ним. Иудей сказал:

– Так и быть. Я повременю с расплатой. Но пускай он хоть сто раз возвращается – я все равно отрежу фунт вашего мяса, как толкуют мои бумаги.

Мессер Ансальдо отвечал, что согласен. Весть о том облетела всю Венецию, все соблезновали мессеру Ансальдо, а многие из купцов вознамерились даже сложиться и заплатить эти деньги иудею, но тот не желал ничего слушать. Напротив, он желал свершить душегубство, дабы потом говорить, что, дескать, умер самый богатый купец среди христиан.

Когда мессер Джаннетто стремглав ускакал, его донна, не тратя попусту ни минуты, переоделась в платье судьи и вместе с двумя слугами поспешила вслед за супругом. Покуда она ехала, мессер Джаннетто, добравшись до Венеции, явился прямо в дом иудея и с ликованием заключил в свои объятия мессера Ансальдо, после чего объявил иудею, что намерен отдать ему деньги – сколько причитается – и сверх того еще сколько тот захочет. Иудей отвечал, что денег ему теперь не надобно, раз он не получил их в срок, и что он как раз теперь намерен отрезать фунт мяса у мессера Ансальдо. Вспыхнули споры и раздоры, и всякий в глубине души осуждал иудея. Но, как ни говори, а Венеция, будучи землей справедливости, не могла не признать и за иудеем полной правоты, а потому никто не осмеливался публично выразить свое несогласие с ним, и не оставалось ничего другого, как бить ему челом. Ради этого у него

перебывали многие венецианские купцы, но он раз от разу делался все более непреклонным. Тогда мессер Джаннетто предложил ему двадцать тысяч, но тот отказался, потом дошли до тридцати тысяч, после того до сорока, до пятидесяти и, наконец, добрались до ста тысяч дукатов; тут иудей сказал:

– Вот что: если даже ты захочешь дать мне больше дукатов, чем стоит весь этот город, я и тогда не откажусь от удовольствия свершить то, что написано в моих бумагах.

Покуда спорили, в Венецию прибыла донна, одетая в платье судьи, и расположилась в гостинице, хозяин которой спросил у ее слуги:

– Кто твой господин?

Слуга же, предупрежденный о том, что ему надлежит говорить, ежели кто спросит, отвечал так:

– Этот господин – судья; он обучался в Болонье и теперь держит путь домой.

Смекнув, хозяин стал оказывать постояльцу всяческие почести. За обедом судья поинтересовался, что делается в городе. Хозяин отвечал:

– Мессер, уж чересчур много справедливости.

– Как так? – удивился судья.

– А вот как, мессер, я вам расскажу. Приехал к нам из Флоренции юноша по имени Джаннетто; приехал он к своему крестному отцу мессеру Ансальдо и оказался настолько славным и благовоспитанным юношей, что полюбился в нашем городе и женщинам и мужчинам. Ни один из приезжих доселе не был столь приятен, как он. Дважды мессер Ансальдо снаряжал для него самые богатые корабли, и они терпели крушение. На последний, третий корабль не хватило денег; тогда мессер Ансальдо занял у одного иудея десять тысяч дукатов на таком условии, что ежели не отдаст их ко дню святого Иоанна, то иудей сможет отрезать от любой части его тела фунт мяса. Теперь же этот благовоспитанный юноша вернулся и уже не десять тысяч, а целых сто хочет ему отдать, но криводушный иудей не желает уступить; уже все здешние добрые люди били ему челом – ничто не помогает.

Судья отвечая:

– Сей вопрос можно разрешить.

На это хозяин сказал:

– Если, вы согласитесь взять на себя труд уладить его, но так, чтобы добрый человек не расстался с жизнью, то удостоитесь благодарности и любви юноши, равного в добродетели которому Не видывал свет, да и жители города возблагодарят вас.

Тогда судья велел объявить повсюду, что, если кому-нибудь нужно разрешить спорный вопрос, пусть приходят к нему. Новость о приезде судьи из Болоньи, который берется разрешить любой вопрос, дошла до мессера Джаннетто, и он сказал иудею:

– Пойдем к этому судье.

И Иудей отвечал:

– Пойдем, но пусть приезжает кто угодно, а я вправе сделать то, что написано в моих бумагах.

С тем они и предстали перед судьей и приветствовали его с глубоким почтением. Судья узнал Джаннетто, а вот Джаннетто судью не узнал, потому что донна с помощью разных трав изменила свое лицо. Мессер Джаннетто и иудей по порядку изложили свои доводы перед этим судьей, который затем взял бумаги, прочитал их и сказал иудею:

– Я хочу, чтобы ты забрал себе сто тысяч дукатов и отпустил с миром этого доброго человека; он будет всю жизнь тебя за это благодарить.

Иудей отвечал:

– И не подумаю.

Тогда судья сказал ему:

– Смотри сам, это для тебя наилучший выход.

Но упрямый иудей не желал отступать. Тогда решили перейти в отведенное для таких дел помещение. Судья повелел привести мессера Ансальдо и сказал иудею:

– Что ж, отрежь фунт мяса откуда хочешь, и дело с концом.

Иудей тотчас раздел несчастного донага и вынул бритву, каковую еще раньше для этой надобности приготовил. Тут мессер Джаннетто, оборотившись к судье, воскликнул;

– Мессер, я не о том вас просил!

Судья молвил ему!

– Успокойся, он еще ничего не отрезал.

Но иудей уже приближался с бритвой к мессеру Ансальдо. И тогда судья сказал;

– Ну смотри же: если ты отрежешь больше или меньше фунта, я прикажу отрубить тебе голову. И еще говорю; если появится хоть капля крови, я велю тебя казнить, потому что в бумагах твоих ничего не упоминается о кровопролитии. Там говорится, что ты должен отрезать фунт мяса, и говорится только это, ни больше ни меньше. Потому, коли ты такой мудрый, поступай как знаешь.

С этими словами он позвал палача, велел ему приготовить колоду с топором и сказал иудею:

– Как увижу каплю крови, так велю отсечь тебе голову.

Иудея обуял страх, а мессер Джаннетто сразу повеселел. Наконец после долгих препирательств иудей сказал;

– Мессер судья, вы ученый человек, а я нет. Так отсудите мне сто тысяч дукатов, я согласен.

Судья отвечал:

– Я желаю, чтобы ты отрезал фунт мяса, как о том говорится в твоих бумагах. А денег не дам ни гроша. Коли хотел бы я отдать тебе деньги, так уж держал бы их в руках.

Тогда иудей стал просить девяносто тысяч, потом восемьдесят; судья ни в какую. Тут мессер Джаннетто сказал:

– Дайте ему что просит, лишь бы отца отпустил.

Но судья молвил:

– Я знаю, что делаю.

Тогда иудей стал умолять;

– Дайте мне пятьдесят тысяч.

Судья ответил:

– Я бы тебе и гроша ломаного не дал.

Наконец иудей воскликнул:

– Будь прокляты земля и небо! Отдайте хотя бы мои десять тысяч дукатов.

Судья отвечал:

– Ты что, не понял? Ничего не получишь. Хочешь резать – так режь. Иначе я опротестую и признаю недействительными твои бумаги.

Всякий бывший при том изрядно потешился, и все насмехались над иудеем, приговаривая:

– Вот какое дело; хотел поймать, да сам попался.

Тогда иудей, видя, что выходит не по его, схватил свои бумаги и в злобе разорвал их на клочки. Так мессер Ансальдо получил свободу, и мессер Джаннетто, торжествуя, препроводил его домой, после чего, захватив с собою эти самые сто тысяч дукатов, отправился поскорее к судье, коего застал в комнате; тот укладывал вещи к отъезду. Джаннетто обратился к нему со словами;

– Мессер, еще никто доселе не оказывал мне столь большой услуги; возьмите эти деньги, вы заслужили их.

Судья отвечал:

– О мой мессер Джаннетто, я премного вам благодарен, но денег мне не надобно, оставьте их себе, дабы ваша супруга не подумала, что вы ими худо распорядились.

Мессер Джаннетто на это отвечал:

– Уверяю вас, моя супруга столь великодушна, столь любезна и добра, что, если я истрачу и вчетверо больше денег, она не станет возражать; к тому же она сама хотела, чтобы я взял с собою много больше.

Тут судья спросил:

– Хорошо ли вам с нею?

Мессер Джаннетто отвечал:

– В целом свете нет такой души, которую я любил бы более, чем ее. Столь благоразумна она и столь прекрасна, что природа не могла бы сотворить лучше, и если вы не откажете мне в удовольствии поехать со мной, то полюбуетесь, какие она окажет Вам почести, и сами увидите, так ли это, как я говорю, а может, и того лучше.

– Нет, – отвечал судья, – не могу я поехать с вами, у меня дела. Но раз вы говорите, что она столь благодетельна, то, когда увидите с нею, передайте от меня

привет.

– Непременно, – отвечал мессер Джаннетто, – однако я хочу, чтобы вы взяли эти деньги.

Пока он так говорил, судья заметил на его руке перстень и сказал:

– Я не хочу никаких денег; отдайте мне ваш перстень.

Мессер Джаннетто отвечал:

– Так и быть, отдам, но скрепя сердце, потому что супруга, подарившая мне этот перстень, велела носить его всегда, и если он исчезнет, то она подумает, будто я отдал его другой женщине, и смертельно обидится, решив, что я влюбился в кого-то; а ведь я люблю ее больше самого себя.

Судья сказал:

– Конечно, она вас тоже очень любит и, несомненно, так подумает; ну, а вы скажете, что подарили его мне. Впрочем, вы, наверное, собирались оставить его здесь на память какой-нибудь давней любовнице?

На это мессер Джаннетто молвил:

– Столь велика моя любовь и преданность ей, что нет на свете женщины, на которую я променял бы ее; она совершенна и прекрасна во всем.

С этими словами он снял с руки перстень и отдал его судье, после чего они с большим почтением обняли друг друга.

Судья сказал:

– Можно ли вас просить об одном одолжении?

– Разумеется, – отвечал Джаннетто.

– Тогда не оставайтесь дольше здесь, – сказал судья, – а поспешите-ка к вашей супруге.

Мессер Джаннетто молвил:

– Мне кажется, будто я уже тысячу лет не видел ее.

На том и распрощались. Судья сел в барку и отправился с богом, а мессер Джаннетто устроил большое торжество: обеды, ужины – и щедро одарил своих друзей конями и деньгами, после чего, распрощавшись со всеми венецианцами, взял с собой мессера Ансальдо и тронулся в путь. Вместе с ним поехали многие из старых друзей. И почти все мужчины и женщины, провожая его, обливались слезами, столь полюбился он каждому, еще когда жил в Венеции. Так он уехал и возвратился в Бельмонте. Донна же вернулась туда раньше, сказала, что ездила на купания, и, переодевшись в женское платье, повелела начать большие приготовления: украсить парчой улицы, облачить в доспехи целые отряды рыцарей. И когда мессер Джаннетто вместе с мессером Ансальдо прибыли домой, то все бароны и весь двор вышли им навстречу с возгласами:

– Да здравствует синьор! Да здравствует синьор!

А как въехали в ворота, донна кинулась обнимать мессера Ансальдо и сделала вид, будто обижена на мессера Джаннетто, коего любила более самой себя. Собрались бароны, дамы, пажи, и началось великое празднество с турнирами, парадами рыцарей,

танцами и песнопениями. Однако мессер Джаннетто, видя, что на лице жены нет привычной ласковой улыбки, удалился в покои и, позвав ее туда, спросил:

– Что с тобой? – и хотел ее обнять.

Но донна сказала:

– Ни к чему эти нежности: я прекрасно знаю, что ты в Венеции встречался со своими прежними любовницами!

Мессер Джаннетто стал отрицать, донна сказала:

– А где же мой перстень?

Промолвил тут мессер Джаннетто:

– То, что я и предполагал, случилось. Я так и знал, что ты обо мне плохо подумаешь. Но клянусь моей верностью богу и тебе, что перстень я подарил судье, который выиграл для меня дело.

Донна же сказала:

– А я клянусь моей верностью богу и тебе, что ты подарил кольцо женщине, я это знаю; и не совестно тебе божиться!

Воскликнул мессер Джаннетто:

– Да покарает меня десница божья, если я лгу! Я ведь так и говорил судье, когда он просил у меня перстень.

Донна же отвечала:

– Ты мог бы отправить сюда мессера Ансальдо, а сам оставался бы там и нежился со своими любовницами; они, наверное, все рыдали, когда ты уезжал.

Тут уж и мессер Джаннетто разрыдался и в отчаянии произнес:

– Ты утверждаешь то, чего не было.

Донна, увидев его слезы, почувствовала словно нож острый в сердце и, бросившись к мужу с объятиями и показав перстень, весело рассмеялась и обо всем ему рассказала, – и что он говорил судье, и как она была этим судьей, и как он отдал судье перстень. Мессер Джаннетто был до крайности поражен, но, увидя, что все так и было, как она говорит, возликовал и, выбежав из комнаты, поведал эту историю своим друзьям и баронам, отчего любовь между обоими лишь возросла и умножилась. А после мессер Джаннетто позвал ту самую служанку, что научила его тогда не пить вина, в отдал ее в жены мессеру Ансальдо. Так в веселье да радости они прожили всю свою долгую жизнь.

Мазуччо Гуардати

Из «Новеллино»

### Новелла III

Славнейшему поэту Джованни Понтано[46 - Джованни Понтано (1426–1503). Родом из Умбрии, с 1447 г. в Неаполе. При короле Альфонсе I занимал крупные государственные должности. Автор многочисленных сочинений, виднейший неаполитанский гуманист, основатель Понтановской академии.]

Фра Никколо да Нарни, влюбленный в Агату, добивается исполнения своего желания; является муж, и жена говорит ему, что монах с помощью некоторых реликвий освободил ее от недуга; найдя штаны у изголовья кровати, муж встревожен, но жена говорит, что это штаны святого Гриффона; муж верит этому, и монах с торжественной процессией относит штаны домой

Как хорошо известно, благородная и славная Катания считается одним из самых значительных городов острова Сицилии. Не так давно там жил некий доктор медицины, магистр Роджеро Кампишано. Хотя он и был отягчен годами, он взял в жены молодую девушку. Звали ее Агатой, происходила она из очень почтенного семейства названного города и, по общему мнению, была самой красивой и прелестной женщиной, какую только можно было найти тогда на всем острове, а потому муж любил ее не меньше собственной жизни. Но редко или никогда даже такая любовь обходится без ревности. И в скором времени, без малейшего повода, доктор стал так ревновать жену, что запретил ей видиться не только с посторонними, но и с друзьями и родственниками. И хотя магистр Роджеро, как казначей миноритов, их поверенный, словом – как лицо, посвященное во все их дела, был у них своим человеком, все же для большей верности он приказал своей жене избегать их общества ничуть не менее, чем общества мирян. Случилось, однако, что вскоре после этого прибыл в Катанию минорит, которого звали братом Никколо да Нарни. Хотя он имел вид настоящего святоши, носил башмаки с деревянными подметками, похожие на тюремные колодки, и кожаный нагрудник на рясе и хотя он был полон ханжества и лицемерия, тем не менее он был красивым и хорошо сложенным юношей. Этот монах изучил богословие в Перуджии и стал не только славным знатоком францисканского учения, но и знаменитым проповедником; кроме того, согласно его собственному утверждению, он был прежде учеником святого Бернардина[47 - Св. Бернардин (1330–1444) – реформатор ордена францисканцев, умер в Аквиле, куда он отправился в предсмертное паломничество.] и получил от него некие реликвии, через чудесную силу которые бог явил и являет ему постоянно многие чудеса. По этим причинам, а также благодаря благоговейному отношению всех к его ордену проповеди его вызывали огромное стечение народа.

Итак, случилось, что однажды утром во время обычной проповеди он увидел в толпе женщин мадонну Агату, показавшуюся ему рубином в оправе из множества белоснежных жемчужин; искоса поглядывая на нее по временам, но ни на мгновение не прерывая своей речи, он не раз говорил себе, что можно будет назвать счастливецом того, кто заслужит любовь столь прелестной женщины. Агата, как это обыкновенно бывает, когда слушают проповедь, все время смотрела в упор на проповедника, который показался ей необычайно красивым; и ее чувственность заставляла ее втайне желать, чтобы муж ее был таким же красивым, как проповедник; она подумала также, а потом и решила пойти к нему на исповедь. Приняв это решение, она направилась к монаху, как только увидела, что тот сходит с кафедры, и попросила его назначить ей время для исповеди. Монах, в глубине души испытывавший величайшее удовольствие, чтобы не обнаружить своих позорных помыслов, ответил, что исповедь не входит в его обязанности. На это дама возразила:

– Но, может быть, ради моего мужа, магистра Роджеро, вы согласитесь сделать исключение в мою пользу?

Монах ответил:

– Так как вы супруга нашего уполномоченного, то из уважения к нему я охотно вас выслушаю.

Затем они отошли в сторону, и, после того как монах занял место, полагающееся исповеднику, дама, опустившись перед ним на колени, начала исповедоваться в обычном порядке; перечислив часть своих грехов и начав рассказывать затем о безмерной ревности мужа, она попросила монаха как милости, чтобы он своей благодатной силой навсегда изгнал из головы мужа Эти бредни; она думала, впрочем, что недуг этот, пожалуй, можно исцелить теми самыми травами или пластырями, которыми муж ее лечит своих больных. Монах при этом предложении снова возликовал. Ему показалось, что благоприятная судьба сама открывает ему доступ к желанному пути, и, успокоив даму искусными словами, он дал ей следующий совет:

– Дочь моя, не приходится удивляться, что твой муж так сильно тебя ревнует; если бы было иначе, ни я, ни кто другой не счел бы его благоразумным; и не следует винить его за это, так как виновата здесь одна лишь природа, наделившая тебя такой ангельской красотой, что никак невозможно обладать ею, не ревнуя.

Дама, улыбнувшись на эти слова, нашла, что ей уже пора вернуться к ожидавшим ее спутницам, и, выслушав еще несколько ласковых слов, попросила монаха дать ей отпущение грехов. Тот, глубоко вздохнув и обратившись к ней с благочестивым видом, ответил так:

– Дочь моя, никто, будучи сам связан, не может разрешить от уз другого; так как ты связала меня в столь краткий срок, то без твоей помощи я не властен избавить от них ни тебя, ни себя.

Молодая дама, будучи сицилианкой, без труда разобралась в столь прозрачном намеке, который понравился ей, потому что видеть плененным этого красивого монаха доставляло ей величайшее удовольствие. Однако она порядочно удивилась тому, что монахи занимаются такими делами. Будучи в очень нежном возрасте и строго охраняемая мужем, она не только никогда не общалась с монахами, но и была твердо уверена, что принятие монашества для мужчин все равно что оскотление цыпленка. Убедившись теперь в том, что монах был петухом, а не каплуном, молодая женщина почувствовала такое сильное желание, какого еще не знала прежде, и, решив отдать монаху свою любовь, она ответила:

– Отец мой, предоставьте скорбеть мне, ибо, придя сюда свободной, я уйду порабощенной вами и любовью.

Монах в несказанном восторге ответил ей:

– Итак, раз желания наши столь согласны, не сможешь ли ты придумать способ, как бы, одновременно выйдя из этой суровой тюрьмы, мы могли насладиться нашей цветущей юностью?

На это она ответила, что охотно поступила бы так, будь то в ее власти; однако затем прибавила:

– Мне сейчас пришло в голову, что мы, несмотря на крайнюю ревность моего мужа, все же сможем осуществить наше намерение. Раз в месяц у меня бывают такие сильные сердечные припадки, что я почти лишаюсь чувств, и никакие советы врачей до сих пор не оказывали мне ни малейшей помощи; старые женщины говорят, что это происходит от матки; они говорят, что я молода и способна быть матерью, а между тем старость моего мужа лишает меня этой возможности. Поэтому мне пришла мысль: в один из тех дней, когда он отправится к какому-нибудь своему больному за город, я сделаю вид, будто меня схватил мой обычный недуг, и тотчас же велю послать за вами, прося принести мне что-нибудь из реликвий святого Гриффона; будьте же наготове, чтобы прийти с ними ко мне тайно, и с помощью одной из моих девушек, крайне мне

преданной, мы сойдемся вдвоем к полному нашему удовольствию.

Монах сказал весело:

– Дочь моя, да благословит тебя бог за то, что ты так хорошо это придумала, и я полагаю, что твой замысел следует исполнить; а я приведу с собой товарища, который, снисходя к положению вещей, позаботится о том, чтобы твоя верная служанка тоже не оставалась без дела.

И, приняв это решение, они расстались, страстно и влюбленно вздыхая. Возвратившись домой, дама открыла служанке то, о чем, к их общей радости, она уговорилась со священником. Служанка, крайне обрадованная этим известием, ответила, что всегда готова исполнить любое приказание госпожи. Судьба благоприятствовала любовникам. Как предвидела дама, магистр Роджеро должен был отправиться к больному и выехал на следующее утро из города; и, чтобы не откладывать дела, жена его прикинулась одержимой своим обычным недугом и стала призывать на помощь святого Гриффона. Тогда девушка подала ей совет:

– Почему бы вам не послать за его святыми реликвиями, которые всеми столь чтимы?

Как между ними было условлено, дама обернулась к служанке и, делая вид, что ей трудно говорить, ответила:

– Конечно, я прошу тебя за ними послать.

На это девушка сочувственно сказала:

– Я сама пойду за ними.

И, поспешно выйдя из дому, она разыскала монаха и передала ему то, что было приказано; он же тотчас отправился в путь, взяв с собой, как обещал, одного из своих товарищей, молодого и весьма к такому делу пригодного. Фра Никколо вошел в комнату дамы, почтительно приблизился к постели, на которой та лежала в одиночестве, любезно его поджидая. С величайшей скромностью приветствовав монаха, молодая женщина сказала ему:

– Отче, помолитесь за меня богу и святому Гриффону.

На это монах отвечал:

– Да удостоит меня того создатель! Однако и вам, с вашей стороны, надлежит приступить к сему с благоговением, и если вы пожелали причаститься его благодати через посредство чудесной силы принесенных мною реликвий, то сначала нам следует с сокрушенной душой приступить к святой исповеди, ибо если дух свят, то скорее может исцелиться и плоть.

В ответ ему дама промолвила:

– Не иначе думала и я; иного желания я не имею и крайне прошу вас об этом.

После того как дама сказала это и под приличным предлогом удалила всех находившихся в ее комнате, за исключением служанки и второго монаха, они плотно заперлись, чтобы никто не помешал им, и оба монаха безудержно устремились в объятия своих любовниц. Фра Никколо взобрался на кровать и, считая себя, по-видимому, в полной безопасности, снял подштанники, чтобы дать свободу ногам, и бросил их в изголовье кровати; затем, обнявшись с прекрасной дамой, он приступил с ней к сладостной и вожденной охоте. Продержав долго свою легавую на привязи, он из одного логова бесстрашно выгнал подряд двух зайцев; когда же он оттащил собаку, чтобы пустить ее за третьим, они вдруг услышали, как магистр Роджеро, возвратившийся уже от

больного, подъехал на лошади к крыльцу дома. Монах с величайшей поспешностью вскочил с кровати и был так сражав страхом и огорчением, что совершенно забыл спрятать штаны, брошенные в изголовье кровати; служанка, тоже на без неудовольствия оторвавшаяся от начатой работы, открыла дверь и позвала ожидавших в зале, сказав им, что госпожа ее по милости божьей почти совсем исцелилась; и, когда все прославили и возблагодарили бога и святого Гриффона, она, к большому их удовольствию, позволила им войти. Магистр Роджеро, войдя тем временем в комнату и увидев необычайное зрелище, был не менее огорчен тем, что монахи повадились ходить к нему в дом, чем новым припадком своей милой жены. Она же, увидев, что он изменился в лице, сказала:

– Супруг мой, поистине я была бы уже мертвой, если бы наш отец проповедник не помог мне с помощью реликвий святого Гриффона: когда он приложил мне их к сердцу, я сразу избавилась от всех моих страданий; совсем так же потоки воды гасят слабый огонек.

Доверчивый муж, услышав, что найдено спасительное средство от столь неизлечимого недуга, немало тому обрадовался и, воздав хвалу богу и святому Гриффону, обратился к монаху, без конца благодаря его за оказанную помощь. Наконец после многих благочестивых речей монах распростился с хозяевами дома и с честью удалился вместе со своим товарищем. По дороге, чувствуя, что добрый пес его поминутно вырывается на свободу, он вспомнил, что забыл цепь на кровати, и, сильно огорченный этим, обратился к спутнику и рассказал о случившемся. Товарищ, вполне успокоив монаха указанием на то, что служанка первая найдет ее и спрячет, уже почти смеясь, прибавил следующее:

– Господин мой, ваше поведение ясно показывает, что вы не привыкли стеснять себя и, где бы ни находились, готовы дать полную волю вашему псу, быть может следуя в этом примеру доминиканцев, которые никогда не держат своих собак на цепи; однако, хоть охота их и весьма добычлива, все же собаки, посаженные на привязь, горячее и на охоте бывают более хваткими.

На это монах ответил:

– Ты говоришь правду, но дай бог, чтобы допущенная мною неосторожность не принесла мне позора и поругания. Ну, а ты как поступил с добычей, которую я оставил в твоих когтях? Про моего ястреба я знаю, что он в один полет поймал двух куропаток и собирался пуститься за третьей, но тут подоспел магистр, и ястреб сломал себе шею.

Товарищ ответил:

– Хоть я и не кузнец, однако прилагал все силы, чтобы с одного накала делать два гвоздя; один был уже готов, а другому, пожалуй, оставалось лишь насадить головку, когда служанка – будь проклят этот час! – сказала: «Хозяин у ворот!» Вот причина, почему, не окончив дела, я направился туда, где были вы.

– Ах, кабы с помощью божьей, – сказал монах, – вернуться мне к прерванной охоте, а тебе, когда вновь почувствуешь к тому влечение, заняться изготовлением гвоздей сотнями.

На это товарищ ответил:

– Я не отказываюсь; однако один пух пойманных тобой куропаток стоит больше, чем все гвозди, изготовленные в Милане[48 - В ту пору Милан славился как центр не только оружейного производства, но и своими кузнями и литейными мастерскими.].

Монах рассмеялся на это, и, продолжая свое острословие, они с удовольствием вспоминали промеж себя о выдержанном ими сражении.

Магистр Роджеро, как только монахи ушли, приблизился к жене и, нежно глядя ее по

шее и груди, стал расспрашивать, очень ли она мучилась от боли; болтая о том о сем, он протянул руку, чтобы поправить подушку под головой больной, но тут он зацепил нечаянно тесьму от штанов, оставленных монахом. Он вытащил их и, тотчас же признав за монашеские, весь изменился в лице и сказал:

– Черт возьми, что это значит, Агата? Как сюда попали монашеские штаны?

Молодая женщина всегда была очень сметливой, а в эту минуту любовь пробудила все ее хитроумие; и потому она сразу же ответила:

– Разве ты не помнишь, что я тебе сказала, супруг мой? Это не что иное, как чудесные штаны, принадлежавшие славному господину нашему святому Гриффону; их принес сюда монах-проповедник, как одну из чудесных реликвий святого, и всемогущий бог через благодатную их силу уже явил мне свою милость; увидев, что я совсем избавилась от страданий, я ради большей предосторожности и из благоговения попросила, как милости, у собиравшегося унести их монаха, чтобы он оставил мне реликвию до вечера, а потом сам пришел бы за нею или прислал кого-нибудь другого.

Муж, выслушав быстрый и толковый ответ жены, поверил или сделал вид, что поверил ей; но по природе своей он был ревнив, и его ум под впечатлением случившегося раздирался противоречивыми мыслями, словно двумя противоположными ветрами. Ничего, однако, не возразив, он оставил жену в покое. Она же, будучи весьма находчивой и видя, что муж ее насторожился, придумала новую хитрость, чтобы рассеять все его подозрения, и, обратившись к служанке, сказала ей:

– Ступай в монастырь и, разыскав проповедника, скажи ему, чтобы он послал за оставленной мне реликвией, так как, слава богу, я в ней больше не нуждаюсь.

Смышленная служанка, вполне уразумев, чего на самом деле хотела дама, поспешно отправилась в монастырь и тотчас вызвала монаха; тот подошел к входной двери и, думая, что девушка принесла ему оставленную им памятку, с веселым лицом сказал ей:

– Что нового?

Служанка, несколько раздосадованная, ответила:

– Плохие новости из-за вашей небрежности и были бы еще хуже, если бы не находчивость моей госпожи.

– В чем дело? – спросил монах.

Служанка в точности рассказала ему о происшедшем, прибавив, что, по ее мнению, нужно немедленно послать за известной ему реликвией и обставить возвращение ее с наивозможной торжественностью.

Монах ответил:

– В добрый час!

И он отпустил служанку, обнадежив ее, что все будет улажено; затем он тотчас же отправился к настоятелю и обратился к нему с такими словами:

– Отец, я тяжко согрешил и за свое прегрешение готов принять кару; но молю вас не медлить с вашей помощью; и так как нужда в том велика, помогите уладить дело.

И после того как он в кратких словах рассказал о случившемся, настоятель, крайне этим разгневанный, строго выбрав монаха за неблагоразумие, сказал ему следующее:

– Так вот каковы твои подвиги, доблестный муж! Ты расположился там, вообразив себя

в полной безопасности? Но если ты не мог управиться, не снимая штанов, разве не было возможности спрятать их на груди, в рукаве или каким-нибудь другим образом скрыть их на себе? Но вы так привыкли к этим бесчинствам, что и не помышляете о том, какую тяжестью они ложатся на нашу совесть и сколько позора приходится нам принять, чтобы уладить дело. Право, не знаю, что мешает мне, отринув сострадание, посадить тебя, как ты этого заслуживаешь, в заточение! Однако, ввиду того что теперь большая нужда в исправлении, чем в наказании, – ибо дело идет о чести нашего ордена, – мы отложим пока второе.

Затем он приказал звонить в колокол, чтобы созвать капитул[49 - Капитул – совет из духовных лиц, состоящий при настоятеле и вершащий важнейшие монастырские дела.], и, когда все монахи собрались, он сказал им, что бог через благодатную силу штанов святого Гриффона только что явил в доме доктора Роджеро несомненное чудо. И, рассказав вкратце о случившемся, он убедил их немедленно же отправиться в дом врача, чтобы, во славу божью и для умножения числа засвидетельствованных чудес святого, торжественной процессией принести оттуда обратно оставленную святыню. Подчиняясь приказанию и став по два в ряд, монахи, предшествуемые крестом, направились к указанному дому. Настоятель, облаченный в пышные ризы, нес дарохранильницу, и так дошли они в порядке и в глубоком молчании до дома магистра Роджеро. Услышав их приближение, доктор вышел навстречу настоятелю и спросил его о причине, приведшей к нему монахов, на что тот с радостным лицом ответил ему, как заранее обдумал:

– Дорогой мой магистр, согласно нашему уставу мы должны приносить тайно реликвии наших святых в дома тех, кто их просит; делается это с той целью, чтобы в случае, если больной по своей вине не испытает действие благодати, мы могли бы так же скрытно отнести их обратно: таким образом, мы ничуть не повредим славе о чудесах; но если бог пожелает через посредство святынь явить несомненное чудо, мы в таком случае должны, благовествуя о нем, с полной торжественностью и соблюдением обрядов отнести нашу святыню в церковь и затем составить запись о случившемся. И вот, ввиду того что супруга ваша, как это вам известно, избавилась от своей опасной болезни именно с помощью нашей святыни, мы пришли сюда с такой торжественностью, чтобы вернуть святыню на место.

Доктор, видя перед собой весь благоговейно собравшийся монашеский капитул, подумал, что никогда бы не сошлось столько людей для плохого дела; и, дав полную веру выдумке настоятеля и отбросив все сомнения, он ответил:

– Добро пожаловать!

И, взяв за руки настоятеля и монаха, он провел в комнату, где находилась его жена. Дама, и на этот раз не дремавшая, завернула предварительно штаны, о которых идет речь, в белый благоуханный плат. Раскрыв его, настоятель с глубоким благоговением облобызал святыню и дал приложиться к ней доктору, его жене и всем находившимся в комнате, которые с такой же набожностью последовали их примеру. Затем он положил ее в дарохранильницу, для этого им принесенную. По данному настоятелем знаку все монахи стройно запели: «Veni Creator Spiritus»[50 - Приди, животворящий дух» (лат.).] и, шествуя так через весь город в сопровождении бесчисленной толпы народа, они дошли до своей церкви, где, положив святыню на главный алтарь, оставили ее на несколько дней для поклонения, так как весь народ знал уже о совершившемся чуде.

Магистр Роджеро, стремясь усилить всеобщее почтение к этому ордену, всюду, где только он ни навещал своих больных – будь то за городом или в городе – громко рассказывал об удивительном чуде, которое бог явил в его доме через благодатную силу штанов святого Гриффона. А пока он занимался этим делом, фра Никколо с товарищем не упускали случая продолжить начатую ими удачную охоту, доставляя тем немалое удовольствие как служанке, так и госпоже. Последняя же не только стремилась удовлетворить свою чувственность, но и полагала, что избранное ею средство – единственно верное против ее жестоких страданий, так как прилагалось оно к месту,

соседающему с тем, где гнездился недуг; и, будучи женой врача, она при этом вспоминала слышанный ею текст Авиценны, в котором говорится, что приложенные средства приносят пользу, а те, что постоянно применяются, излечивают; а потому, наслаждаясь с монахом к обоюдному их удовольствию, она наконец убедилась, что совсем излечилась от своего неизлечимого недуга благодаря отличному лекарству, примененному благочестивым монахом.

#### Новелла XLV

Светлейшему синьору дону Энрико Арагонскому[51 - Энрико Арагонский, сын короля Фердинанда I. Умер в 1478 г., отравившись ядовитыми грибами.]

Один кастильский студент, направляющийся в Болонью, влюбляется в Авиньоне и, желая насладиться с дамой, дает ей согласно уговору тысячу флоринов, после чего, раскаявшись, уезжает, встречается с мужем и, не зная его, рассказывает ему о происшедшем. Тот догадывается, что это была его жена, искусно заставляет студента вернуться в Авиньон, возвращает ему деньги, убивает жену, а студента с большим почетом наделает дарами

Привлекаемый древней славой Болонского университета[52 - Болонский университет был не только старейшим в Европе (основан в XII в.), но и крупнейшим научным центром.], один благородный кастильский юрист решил поехать в Болонью, чтобы, поучившись там, получить докторскую степень. Этот студент, которого звали мессер Альфонсо да Толедо, вместе с молодостью соединял в себе множество доблестей и, кроме того, сделался весьма богат после смерти своего отца, знатного рыцаря. Не желая откладывать свое похвальное намерение в долгий ящик, он запасся дорогими книгами, нарядными одеждами, добрыми конями и расторопными слугами и со всем своим обозом направил путь к Италии, имея в кошельке тысячу золотых флоринов. Через несколько дней он не только выбрался за пределы Кастильского королевства, он проехал также и Каталонское, очутился во Франции и прибыл в Авиньон, где решил пробыть несколько дней, – потому ли, что желал дать отдых своим утомленным коням, или по какой другой причине.

Остановившись в гостинице, он на следующий день отправился со своими слугами гулять по городу, и так решила его судьба, что, проходя одну улицу за другой, он внезапно увидел в окне прелестную даму, которая и на деле была молода и очень красива, но ему показалась такой красавицей, с какой не могла сравниться ни одна женщина, какую он когда-либо видывал. Она ему так поправилась, что он тут же на месте был охвачен к ней любовью, от которой его не в силах были избавить никакие доводы. Вследствие этого, позабыв о похвальной цели своего путешествия, он решил, что покинет Авиньон не раньше, чем добьется ее полного или значительного благоволения. И в то время как он постоянно совершал прогулки под ее окном, эта женщина, которая была величайшей притворщицей, сразу же заметила, что бедный юноша так сильно в нее влюбился, что налегке его будет оторвать от нее. И, видя, что он очень молод и что у него нет даже признака бороды, она признала по его платью и свите, что он богат и знатен, и решила попробовать столь свеженький кусочек и извлечь из его кошелька все, что будет возможно. И, чтобы дать ему способ завести с нею переговоры, она поступила так, как поступают пережидающие штиль корабли, посылая на берег лодку за дровами. Так и она извлекла из своего дома старую служанку, весьма ученую и опытную в таких делах, рассказала ей обо всем, стоя с ней у окна, дабы юноша мог узнать ее в лицо. Встретившись затем со старухой, юноша, который только этого и желал, вступил с вею в переговоры, и они тут же на месте без особого труда столковались относительно всех тайных подробностей. Затем служанка вернулась к даме, и наконец после ряда ее хождений взад и вперед они уговорились, что дама будет ждать юношу ближайшей ночью и подарит ему свою любовь, а он принесет ей тысячу золотых флоринов (ибо больше у

него не было).

Когда наступил назначенный час, безрассудный юноша отправился с тысячей флоринов в дом этой дамы, которую звали Лаурой [53 - Известный итальянской филолог Луиджи Сеттембрини, издатель первого научного издания «Новеллино», сделал к этому месту примечание: «А какое другое имя могла носить авиньонка?» Сеттембрини имел в виду знаменитейшую Лауру Петрарки.]. Встретив его весело и необычайно ласково, она предварительно получила от него сполна обещанные деньги, а затем после разных нежностей легла с ним в постель. Мессер Альфонсо был в таком возрасте, когда окончание подобной работы кажется равносильным началу, и потому можно поверить, что он провел всю ночь напролет за удовлетворением своей неистовой страсти. Когда же наступило утро, он поднялся с постели и подробно уговорился о продолжении начатого предприятия, после чего, не выспавшись и слегка раскаявшись в своей затее, вернулся к себе вместе со своими утомленными слугами, которые поджидали его у ворот. Дама же была весьма рада тому, что в такое короткое время заработала столь крупную сумму, и решила, что юноша влюбился в нее так сильно, что забыл и о Болонье и о законах и что до своего отъезда он еще попытается свидеться и насладиться с нею.

На следующий день мессер Альфонсо, полагая, что и в эту ночь дама согласно их уговору примет его радостно и еще более любезно, с наступлением темноты отправился тем же способом к двери Лауры и несколько раз подал ей условный знак. Ответом на это была полная тишина, и тут-то наш студент слишком поздно сообразил, что потерял одновременно и свою даму, и честь, и деньги. Смертельно огорченный, он вернулся к себе и всю ночь ни на одно мгновение не мог забыться, охваченный тоской и горестными помыслами. Когда же снова настал день, он, желая окончательно убедиться в том, что обманут, стал прогуливаться вокруг ее дома, но нашел только запертые окна и двери и много других очевидных признаков, окончательно убедивших его в том, что негодная женщина с большим искусством провела и одурачила его. Он вернулся к своим спутникам в таком горе и отчаянии, что несколько раз был готов пронзить себе грудь кинжалом; однако он удержался от этого и, боясь худшего, решил немедленно оттуда уехать. Но так как у него теперь не оставалось в кошельке ни гроша, он, чтобы расплатиться с хозяином, решил продать своего лучшего и красивейшего мула, что и привел в исполнение. Удовлетворив хозяина, он с теми немногими деньгами, которые остались у него от продажи мула, продолжал свой путь в Италию через Провансальскую область, непрерывно проливая слезы ниспуская горестные вздохи. И больше всего он скорбел при мысли о том, что раньше он рассчитывал состоять в университете на положении знатного человека, теперь же ему предстояло ютиться по болонским постоялым дворам, продавая и закладывая вещи и перебиваясь кое-как, подобно бедным студентам.

В такой тоске и душевных муках он, продолжая путь, прибыл в Трек и остановился там в одной гостинице, где по странной и непредвиденной случайности остановился в тот же вечер и муж молодой Лауры, благородный и изящный рыцарь, весьма красноречивый и почтенный, который возвращался домой, выполнив одно поручение от французского короля к папе. Он спросил хозяина, не остановился ли у него какой-нибудь дворянин, которого он мог бы попросить составить ему компанию за столом, как это принято у путешествующих французских рыцарей. Хозяин ответил, что в гостинице живет испанский студент, который, по словам его слуг, направляется в Болонью, но охвачен такой тоской, что уже в течение двух дней ничего не ест. Услышав это, рыцарь, побуждаемый естественной добротой, решил во всяком случае пригласить его к себе на ужин. Он сам пошел за ним и, найдя его в комнате погруженным в тоску и печаль, без всяких церемоний ласково взял его за руку и сказал ему:

– Ты должен непременно со мною поужинать.

Увидя рыцаря, наружность которого сильно расположила его к себе, юноша без всякого ответа пошел за ним к столу; когда же они вместе поужинали и отпустили всех слуг, рыцарь стал расспрашивать мессера Альфонсо, кто он такой, куда и зачем едет, и попросил его, если это возможно, поведать ему причину своей жестокой печали. Мессер

Альфонсо, который не мог вымолвить ни одного слова, не сопровождая его глубокими вздохами, ответил как можно короче на первые вопросы, а относительно последнего попросил рыцаря не допытываться у него. Когда рыцарь узнал, кто такой его собеседник и по какой причине он выехал из дому, он, зная по слухам знатнейшее имя его отца, разгорелся желанием узнать, какое происшествие, случившееся с ним по дороге, причинило ему столь великую печаль. Мессер Альфонсо сперва уклонился от ответа, но так как рыцарь продолжал настаивать, он наконец без дальнейших размышлений подробно рассказал ему с начала до конца всю историю, сообщив, кто такая была дама и какое наслаждение она ему доставила; и к этому он добавил, что охвачен такой великой печалью вследствие испытанного унижения, стыда и потери денег, что уже несколько раз был близок к самоубийству.

Услышав эту новость, которой он так настойчиво добивался и которую он не думал и не ожидал услышать, рыцарь, понятно, был так сильно опечален и удручен и его душевная мука, когда он увидел, что потерял честь, настолько превзошла печаль студента, что только испытавший подобное может себе это представить. Однако, предавшись на мгновение своей скорби, рыцарь затем с немалым благоразумием подавил в себе невыносимую боль и сообразил, как ему следовало поступить в таком положении. И, обратившись к студенту, он сказал ему:

– Сын мой, как дурно ты повел себя и как по-мальчишески дал себя обмануть этой подлой развратнице, это ты сам можешь понять. И, конечно, если бы я думал, что мои упреки помогут тебе или принесут тебе какую-либо пользу, и если бы мы вечно находились вместе, я никогда не переставал бы упрекать тебя за твое великое безрассудство. Но так как я вижу, что ты нуждаешься теперь больше в помощи делом, чем в упреках, то мне хотелось бы, чтобы на этот раз достаточным наказанием тебе явились скорбь и раскаяние в совершенном поступке. Поэтому утешься, отгони от себя свои безумные помыслы и удержи неистовое желание нанести какой-либо ущерб самому себе, я же позабочусь о тебе, обходясь с тобой не иначе, чем с собственным сыном, в чем ты вскоре убедишься. И так как я, как видишь, здесь проездом и, будучи чужестранцем, не имею никакой возможности что-либо для тебя сделать, то, прошу тебя, не поленись возвратиться назад, заехав со мной на несколько дней в мой дом, а затем ты сможешь продолжать свое путешествие, как ты с самого начала задумал. Ибо слава твоих предков и жалость к твоему страдальческому виду не позволяют мне допустить, чтобы ты прибыл в университет в твоем нынешнем отчаянном состоянии и из-за бедности не смог бы там объединить благородство с доблестью.

Пораженный таким великодушием, юноша выразил рыцарю всю ту благодарность, какую ему позволили выразить испытанное горе и чисто детская радость; а затем, после ряда других разговоров, оба они пошли отдыхать.

Рано утром они сели на коней и поскакали обратно по направлению к Франции; и благодаря опытности рыцаря они совершили путь с такой быстротой, что в тот же день поздно вечером прибыли в Авиньон. Когда же они въехали в город, рыцарь взял юношу за руку и повел его к своему дому. Мессер Альфонсо не только узнал улицу и дом, но увидел и даму, которая при свете заранее зажженных светильников с большой радостью вышла навстречу мужу. Как только юноша сообразил, в чем дело, он решил, что здесь ему придет конец, и, обомлев от страха, не решался слезть с лошади. Но все же рыцарь настоял на том, чтобы он слез, и, взяв его под руку, провел в ту комнату, где он немного времени тому назад пользовался гостеприимством, испытал кратковременное наслаждение и долгие мучения. Равным образом узнала студента и дама, которая, догадавшись о предстоящих ей бедствиях, была охвачена таким страхом и поражена таким горем, которые каждый сможет себе представить. Когда настал час ужина, оба они сели за стол вместе с перепуганной дамой, причем все трое испытывали величайшее страдание, хотя и по разным причинам. Когда ужин окончился и они остались одни, рыцарь, обратившись к жене, сказал:

– Лаура, принеси ту тысячу золотых флоринов, которую дал тебе этот юноша и за которую ты продала себя, свою и мою честь и честь нашего рода.

Когда дама услышала эти слова, ей показалось, что дом обрушился ей на голову, и, словно онемев, она не дала ему никакого ответа. Тогда рыцарь, распалившись гневом, обнажил кинжал и воскликнул:

– Злая женщина, если ты не хочешь немедленно умереть, делай то, что тебе приказано.

Увидев мужа столь разъяренным и поняв, что запирательство будет неуместно, дама, вся в слезах, огорченная и опечаленная пошла за деньгами и, принеся их, бросила на стол. Тогда рыцарь рассыпал их по столу и, взяв одну монету, вложил ее в руку юноше, который сидел, охваченный страхом, ожидая каждую минуту, что рыцарь заколет его и жену своим обнаженным кинжалом. Но тот сказал ему:

– Мессер Альфонсо, за всякий труд полагается платить соразмерное вознаграждение, и раз моя жена, которая здесь присутствует и от которой ты получил одновременно удовольствие и великое издевательство; отправилась на эту работу ради бесчестного заработка, то тем самым ее по заслугам следует причислить к непотребным женщинам. Но как бы красива ни была такая женщина, она не заслуживает и не должна получить за одну ночь больше одного флорина, и потому я желаю; чтобы ты сам, купивший товар, вручил ей заработанную плату.

Сказав так, он велел жене взять монету, и та тотчас же повиновалась. Исполнив это и понимая, что юноша, пораженный стыдом и страхом, не смеет взглянуть ему в лицо и что он более нуждается в утешении, чем в чем-либо другом, рыцарь сказал ему:

– Сын мой, возьми свои плохо сбереженные и еще хуже потраченные деньги и помни, что впредь тебе следует быть благоразумнее и не покупать такой дурной товар за столь высокую цену. И не трать на похоть свое время и имущество в то время, как тебя одушевляет стремление принести честь и славу твоему роду. И так как я не хочу более докучать тебе словами сегодня вечером, ступай отдыхать и будь покоен: скорее я нанесу ущерб самому себе, чем тебе или твоему имуществу.

После этого, вручив ему деньги, он позвал слуг и велел отвести его в приготовленную для него богато убранную комнату. А затем, прежде чем лечь спать, приказал дать жене искусно приготовленного яда, и это был ее последний ужин.

Когда настало утро, рыцарь приготовил юноше, вместе с многими богатыми и пышными подарками, прекрасного иноходца; после легкого завтрака они сели на коней, и рыцарь вместе со своими слугами проводил его на расстояние около десяти миль за город, после чего, собираясь расстаться с ним, он сказал ему:

– Дорогой сын, возвратив тебе вместе с жизнью твое собственное имущество, я ни в коем случае не чувствую себя вполне удовлетворенным. А потому прими от меня эти маленькие подарки (ибо поднести тебе лучшие мне не позволяют обстоятельства) вместе с этой лошастью, взамен проданного тобой мула; и, пользуясь ими, вспоминай о твоём друге, смотри на него отныне как на родного отца и считайся с ним во всякое время и до всех своих поступках. Я же, приняв тебя в качестве единственного сына, буду поступать так же до конца своих дней.

После этого они крепко обнялись и юноша, перейдя от беспрестанных слез к высшей радости, вызванной таким великодушием и щедростью, едва мог открыть рот, чтобы поблагодарить рыцаря. А тот, тоже плача, приказал ему молчать, и они, не будучи в состоянии сопутствовать друг другу, нежно поцеловались и расстались. Рыцарь вернулся в город, а мессир Альфонсо в должное время прибыл в Болонью. Что случилось с ними после того, как они завязали такую дружбу, об этом я воздерживаюсь писать, ибо не получил об этом никаких сведений.

Луиджи Пульчи

Новелла о сиенце

Мадонне Ипполите, дочери Миланского герцога и супруге герцога Калабрии[54 - Новелла посвящается Ипполите Сфорца, дочери кондотьера, породнившегося через жену с миланским герцогом Филиппо Мария Висконти. После смерти последнего Сфорца силой заставил признать себя его наследником.]

Один сиенец, желая войти в милость к папе римскому, приглашает на ужин его приближенного, которого угощает дикими утками, выдавая их за павлинов; потом дарит папе дятла, считая, его по глупости своей попугаем, за что весь город и вся папская курия называют его простаком

Досточтимая мадонна Ипполита, недавно прочитал я множество прекрасных историй из «Новеллино», книги ученика нашего мессера Джованни Боккаччо, Мазуччо, который являет собою гордость города Салерно, и поскольку я слышал, что вы их тоже читали и милостиво одобрили, по этой причине я, уподобляясь тем мореходам, которые обыкновенно отправляют свои корабли туда, где их товары найдут спрос, осмеливаюсь писать вашей светлости. Я принадлежу к тем людям, кои не очень-то доверяются Фортуне и утлым челнам, и поначалу хочу предложить вам товар некрупный. Посему я намерен рассказать небольшую новеллу, услышанную мною несколько лет назад, подлинную Историю одного жителя Сиены, который до простоте душевной, а отнюдь не по злобе совершил ряд глупых поступков. И пусть не заподозрят меня в ненависти или неуважении к жителям этого прекрасного города, который мне давно полюбился; пусть не подумают, будто я вынужден писать так в отместку за то, что один сиенец сочинил несколько новелл, где изобразил, как его сограждане натянули нос нам, флорентийцам; лично я, сколько бы меня ни обманывали, всегда по-братски прощаю всех, особливо когда вспоминаю, как прощал Спаситель наш тех, кто его распинал. Я отнюдь не завидую чужим лаврам, но если бы мне удалось хоть в малой степени угодить этой новеллой и другими опусами, – поскольку мы, флорентийцы, тоже иногда упражняемся в изящной словесности, – такой строгой ценительнице, как ваша светлость, это было бы поистине великой и желанной наградой за все наши труды.

Должен признаться, что я уже давно являюсь преданным и покорным слугою вашей светлости. Да иначе и быть не могло. Стоит лишь вспомнить о вашей вечной и нерушимой верности моей родине и о любви к дому Козимо де'Медичи[55 - По договору 1438 г. Франческо Сфорца обязывался никогда не выступать против Флоренции. Слова о любви к Медичи – дань этикету.], который всегда был отцом родным для своих счастливейших чад. А разве может человек щедрой души и благородного сердца, пребывавший некогда в полной безвестности, забыть ласку и почести, которые воздал ему отец ваш, Франческо Сфорца? Как можно не помнить необыкновенных достоинств вашей замечательной матушки, женщины, равной которой мы не увидим до нового пришествия? Вы, блистающая в лучах их солнца и повторяющая во всем своих великих родителей, примите благосклонно нашу новеллу, дабы мог я не делать такой длинной преамбулы к столь короткому рассказу, и, перечитывая ее иногда, вспоминайте шутки Луиджи Пульчи и его самого, вашего преданнейшего слугу и покорнейшего слугу вашего блистательного супруга, герцога Калабрии, во всем достойного своего царственного родича[56 - Под «родичем» подразумевается французский король Людовик XI.]; я же препоручаю себя вашей милости, которая да пребудет счастлива как в этой жизни, так и на небесах.

Надобно вам знать, что в те времена, когда папа Пий[57 - Папа Пий II (1458–1464). Под этим именем на панский престол был избран видный гуманист Энеа Сильвио Пикколомини, уроженец Корсиньяно (Сиена)]. Далее в тексте говорится, что был он

славен не менее, «чем Троянец». Речь идет о троянском герое Энее, от которого, согласно легенде, ведет свою родословную Юлий Цезарь.] находился в Корсиньяно, в Сиене произошло забавное и памятное событие. Досточтимый и великий папа, не менее знаменитый, чем Троянец, вернулся в родное гнездо, которое славно его именем, чтобы вновь посетить его и пожить в нем. Такая весть не могла долго оставаться тайной, вскоре она распространилась по всему благочестивому городу. Но более всех в Сиене обрадовался и подивился этому один человек, который жив и поныне, купец, весьма почитаемый в своей среде. Он когда-то, еще в детстве, много лет дружил и был близок с Энеем Пикколомини. Поэтому, услышав о приезде папы в Корсиньяно, он захотел навестить того и возобновить прежнюю дружбу. Но сперва он долго ломал себе голову, пытаясь решить, какой подарок послать папе. Многожды раз думал он послать красивую черепаху, которая у него была, но служанка ему отсоветовала; тогда он пожелал за любую цену купить ежа либо что-нибудь в этом роде. На его счастье, как раз в это время в Сиену прибыл мессер Горо, чему наш сиенец несказанно обрадовался, расценивая это как счастливый знак и считая, что сам бог посылает ему приближенного папы, дабы посоветовать ему в выборе подарка и сообщить кое-что о старом друге, с которым он давно не виделся.

Сиенец тотчас же отправился к мессеру Горо и сразу же после первых приветствий выпалил: «Правду ли говорят, будто мессер Энее стал святейшим папой? А ведь мы с ним выпили когда-то не одну бочку вина! Я хочу навестить его и напомнить, как когда-то в Фонтегайя я надавал ему тумачков, уложив его на обе лопатки, – он был тогда самым большим слюнтяем на свете». Наговорив еще множество разных глупостей, сиенец пригласил мессера Горо к себе отужинать. Тот согласился.

Вернувшись домой, сиенец созвал на совет друзей; они богато убрали его дом, потом стали обсуждать блюда ужина и надумали подать павлинов в перьях, которых, как они слышали, подают в Риме и во Флоренции во время каждого пиршества; потолком они не знали, как их готовят, – скорее всего варят в воде. Обсудив все это, они на том и порешили. Но, не найдя нигде павлинов, они отправились на место, где продавалась разная птица, и купили двух диких уток, которые показались им похожими на павлинов из-за яркого оперения; это, как они полагали, поможет им ввести в заблуждение мессера Горо. Они отрезали уткам лапы и клювы, принесли домой и, не ощипав перья, положили в котел вариться; потом принялись готовить другие блюда, опять на свой манер.

Вечером пожаловал мессер Горо в сопровождении нескольких друзей. Все они были радушно встречены хозяином, который повел их, как это принято, показывать свой богато убранный дом. И тут произошел небольшой казус – правда, к счастью, потом все уладилось. Сиенец повесил герб папы над входом в кухню, герб мессера Горо внутри купальни, и, желая показать их мессеру Горо, он высоко поднял фонарь, который держал в руке, и нечаянно выплеснул масло на красную мантию гостя; тот рассердился, считая, что он это сделал умышленно. Хозяин быстро повел его в чистую залу, помог снять мантию и, сбегав в спальню, принес свою длинную зимнюю шубу, подбитую темным бобровым мехом, и надел ее на гостя, а тот, хотя стояла летняя жара, ходил в ней как миленький, видя старания хозяина.

Тем временем гостя пригласили помыть руки и усадили во главе стола, рядом разместили его друзей, и все сперва отведали прекрасные марципановые торты. Потом мессеру Горо подали блюдо с павлинами, и слуга стал нарезать их, но так как не умел этого делать, то долго возился, ощипывая пух и перья, которые стали разлетаться по всей зале, засыпали стол, лезли в глаза, рот, уши, нос мессеру Горо и всем остальным, которые, соблюдая этикет, делали вид, что ничего не происходит, и, продолжая брать со стола то одно, то другое, наглотались таким образом перьев. В этот вечер они были похожи на ястребов и стервятников.

Когда же убрали со стола это проклятое блюдо, то появилось жаркое, в котором оказалось слишком много тмина, но все бы кончилось благополучно, если бы не последняя дурацкая шутка, которую, по глупости, решил устроить мессеру Горо и его

друзьям хозяин дома. Сиенец и его приятели, чтобы оказать великое почтение гостям, велели приготовить желе, сделанное особым способом: они приказали выложить внутри блюда, как это принято делать во Флоренции и других городах, гербы папы и мессера Горо с их девизами; для этого они смешали охру, цинковые белила, киноварь, медный купорос и прочие, столь же пригодные для еды вещи и поставили это прекрасное блюдо перед мессером Горо, а мессер Горо и его спутники с удовольствием съели желе, пытаясь заглушить горький вкус тмина и других странных блюд, считая, что тут, вероятно, так принято, как в некоторых городах принято употреблять в пищу шафран, миндаль, сандал, соусы из трав и другие подобные приправы. И ночью каждый из них чуть не протянул ноги, особенно страдал мессер Горо, которого всего вывернуло наизнанку, так что он извергнул из себя столько пуха и перьев, что их хватило бы на целую подушку.

После этого чертова блюда, после этой отравы подали десерт, и ужин продолжался. Хозяин дома присел рядом с мессером Горо, обнял его за плечи и весь вечер не отпускал от себя. По этой причине, да еще из-за длинной шубы, мессер Горо весь обливался потом, а кроме всего прочего, сиенец ему все уши прожужжал, надоедая рассказами о папе.

Когда настала полночь, мессер Горо и его друзья откланялись и еле живые отправились домой, где провели ужасную ночь, многожды раз раскаиваясь в том, что побывали в гостях. А что касается самого устроителя ужина, то он остался премного доволен всем, не считая маленькой неприятности с фонарем, из-за которой мессер Горо ушел в его шубе; особенно же, как считал сиенец, ему удалось блюдо из вареных уток с перьями.

Вдохновленный этим, а также словами мессера Горо, сиенец на другое утро покинул город и отправился улаживать свои дела, поскольку надеялся отбыть на несколько дней в Корсиньяно, чтобы погостить там у папы в свое удовольствие.

По моему мнению, когда хитроумная Фортуна хочет одурачить кого-либо, то она изыскивает для этого любые способы; так случилось и с нашим сиенцем: когда он возвращался в тот же день в Сиену, то повстречал на дороге крестьянина, который нес продавать в город дятла; и так как перья были у него почти зеленые, головка красная, а клюв, которым он ловко хватал муравьев, длинный, — наши поэты сделали эту птицу своей любимой, придумав сказку о том, будто жил некогда в Италии король Пико[58 - Согласно греческой мифологии, Пик был сыном Сатурна. Волшебница Кирка, отвергнутая Пиком, обратила его в дятла. Пик почитался первым властителем Италии.], который обратился потом в дятла, — то сиенец принял его за попугая и подумал, что это будет прекрасный подарок для папы. Сиенец спросил у крестьянина: «Куда ты несешь попугая?» Крестьянин, который оказался хитрее его, видя такую глупость и зная, что попугаи высоко ценятся, ответил, что несет его в подарок другу.

Крестьянин долго заставил упрашивать себя, но потом уступил дятла за три лиры и, довольный своей сделкой, вернулся домой. А наш чудак прибыл в Сиену весьма радостный, думая, что здорово надул крестьянина. Он заказал клетку с гербом Пикколомини и поместил в нее так называемого попугая, потом выставил клетку на видном месте, в лавке художника, чтобы все могли полюбоваться ею. И действительно, вся Сиена имела возможность видеть клетку с попугаем. Люди этого большого и достойного города не переставали сему дивиться; и не нашлось ни одного человека, который смог бы точно сказать, дятел ли это или попугай.

Настал наконец день, когда клетка с «попугаем» была отправлена в Корсиньяно и вручена папе. Это произошло как нельзя кстати, потому что именно в это время вернулся туда мессер Горо и рассказал его святейшему папе и всей курии о злосчастном ужине, а увидав клетку с дятлом, которого сиенец прислал как попугая, понял все и успокоился на свой счет.

Папа и вся курия долго смеялись над простотой сиенца, хотя весь город считал, что в

клетке сидел попугай. И все сиенцы только и делали, что спорили и заключали пари по этому поводу. Такая свистопляска продолжалась более месяца: в Корсиньяно смеялись, а в Сиене спорили, ежедневно навещая того, кто подарил эту птицу. А он спустя некоторое время отправился с визитом к святому папе, где ему был оказан радушный прием и где он провел в свое удовольствие несколько дней. Лишь только он увидел папу, то, словно безумный, бросился к нему с объятиями, стал вспоминать все щелчки и тумаки, которые тот от него получил, наговорил кучу глупостей, над которыми все снова смеялись, а потом, получив высочайшее благословение, отбыл в Сиену, весьма довольный папой, всей курией и особенно своей птицей. Он был так уверен, что это попугай, будто сам своими руками поймал его на берегах Нила, где, как говорят, их водится великое множество.

Лоренцо Де'Медичи

Новелла о Джакопо

Сиена, как то, должно быть, многим ведомо[59 - Далее следует краткий, но достаточно энергичный сатирический выпад против этого города, давнего соперника, а иногда и прямого противника Флоренции. У писателей-флорентийцев таких выпадов можно отыскать множество.], испокон веку изобиловала растяпами и никогда не испытывала недостатка в болванах и обалдуях. В чем причина сего, не знаю. То ли на тамошнем воздухе произрастают они вольготнее, то ли древо изначально поднялось из дурного семени, а какова яблоня, таковы и яблочки. Как говорится, кто от кого, тот и в того, добрый сын на отца смахивает, и сыновья там, не желая, видимо, позорить своих родителей, прямо из кожи вон лезут, только чтобы не сочли их за байстрюков.

Так вот, немного лет тому назад прошивал в Сиене горожанин по имени Джакопо Беланти[60 - В Сиене того времени фамилия Беланти пользовалась большим весом, но никаких конкретных намеков в персонаже новеллы Медичи искать не следует. Важнее другое: проделка с простофилей Джакопо весьма сходна с той, что измыслил Каллимако с друзьями над простаком Ничей в знаменитой комедии Макьявелли «Мандрагора».], мужчина лет сорока, довольно богатый, но круглый дурачина. Среди прочего счастья или, если угодно, несчастья, выпавшего на его долю, досталась ему очень пригожая жена. Красота в Сиене столь же присуща женщинам, сколь сиенским мужчинам свойственна глуповатость и спесь. Жене названного Джакопо исполнилось около двадцати пяти лет, и, как у каждой хорошенькой женщины, у нее имелся молодой кавалер приятной наружности. Звали эту благородную даму Кассандра, а ее молодому человеку имя было Франческо и родом он происходил из Флоренции. В Сиене Франческо несколько лет посещал университет[61 - В ту пору университет Сиены считался одним из лучших в Италии.] и сразу же влюбился в Кассандру, естественным последствием чего было то, что она полюбила его не менее сильно, чем он ее, ибо должно вам заметить, что Франческо сей был очень недурен собой, а Кассандра находилась как раз в той поре, когда женщина умеет уже отличать хорошее от дурного и знает все, что надобно знать женщине. Поистине, это та пора, в которую женщину любить лучше всего, ибо, когда женщина моложе, ее нередко удерживают стыд и страх, а когда она переваливает за указанный возраст, то либо становится много благоразумнее, чем то требуется для подобного рода дел, либо же утрачивает часть природной пылкости и оказывается несколько холоднее, чем хотелось бы ее любовнику.

Поскольку Франческо давно уже шел по следу за дичью, но все никак не мог загнать ее в сети, он не знал покою ни днем ни ночью и был способен помышлять лишь о том, как бы ему удовлетворить долго терзавшие его желания. Особенно мучило его то, что он видел, что для этого ему недостает лишь средства и повода, ибо добыча не склонна была от него убегать. Кассандра к нему весьма благоволила, хотя ее любовь несколько сдерживали страх потерять доброе имя, а также ревность Джакопо, каковой вел себя с

ней точно так же, как обычно ведет себя большая часть мужей, у которых красивые жены. Однако чем больше расцветали прелести Кассандры, тем меньшее удовольствие доставляла ей эта ревность: ведь она превосходно понимала, что ее отдали замуж за человека довольно старого, не слишком красивого и отнюдь не могучего в любовных сражениях. Кроме того, она знала, что он лопух. Все это могло бы разжечь огонь даже там, где не оказалось бы углей. Не говоря уж о том, что, когда имеешь возможность выбирать между плохим и хорошим, вполне естественно, предпочтешь хорошее. Поступи она по-другому, ее сочли бы безумной либо дурочкой. Сказать по правде, я считаю, что участь женщин гораздо хуже, нежели участь мужчин, ибо у последних есть перед женщинами одно великое преимущество: мужчина, как бы убог и жалок он ни был, имеет возможность либо взять жену по своему вкусу, либо не жениться; женщине же, – а ведь она себе не принадлежит, – приходится, не раздумывая, довольствоваться тем муженьком, коего ей подыщут, чтобы не остаться в старых девах, а потом еще и радоваться тому, что тысячу раз на дню он будет есть ее поедом. Поэтому не удивительно, что каждодневно мы узнаем о чьих-то грешках, и, право же, к ним надобно относиться с меньшей строгостью, чем это ныне делается. Исходя из вышесказанного, их следовало бы прощать заглазно.

Вернемся, однако, к нашей истории. Кассандра и Франческо вполне могли бы быть довольны жизнью. К их величайшему несчастью, они страдали только из-за того, что с них не спускал глаз какой-то жалкий оболтус, ибо лишь благодаря усердию, а вовсе не по причине большого ума Джакопо удавалось мешать им наслаждаться друг другом.

Так вот, Франческо пораскинул умом и, положившись на простоватость Джакопо, составил план, о котором я сейчас вам поведаю. Прежде всего он измыслил доказательство того, что вроде бы совсем отказался от любви к Кассандре, причем так, что Джакопо ему почти что поверил. Он сделал вид, будто получил от своих родственников из Флоренции письмо, в котором обсуждалось его намерение жениться. Весть об этом, распространившаяся сперва среди друзей и приятелей Франческо, дошла вскоре до некоторых жителей Сиены, ибо там его многие знали и любили. Услышал о том и Джакопо, и сие его чрезмерно порадовало, ибо он решил, что теперь ему можно быть совершенно спокойным за свою жену. Он подумал, что Франческо покинет Сиену или, во всяком случае, выбросит из головы все, о чем он до сих пор помышлял, как то обычно бывает с женатыми молодыми людьми. Джакопо откинул все свои подозрения, а Франческо принялся разглагольствовать, что он-де ни за что не уедет, ибо, проучившись так долго и затратив столько трудов на усвоение науки, не желает бросать университет в тот самый момент, когда он уже без пяти минут доктор; он заявил, что решил перевезти жену в Сиену и жить с нею там, – так, мол, будет удобнее доделать то, что ему надлежит довести до конца. В подтверждение своих слов он снял дом (не очень близко от дома Джакопо, но на улице, по которой Джакопо часто проходил), дабы поселиться в нем вместо с женой, ибо тот дом, где он жил прежде, был бы для них мал.

Прошло некоторое время, и Франческо сказал, что едет во Флоренцию, чтобы справить там свадьбу и забрать жену. Так он и сделал. Приехав во Флоренцию, он зашел к одной блуднице, – это была не простая уличная девка, а сортом повыше. Блудницу эту звали Меина, и проживала она в квартале Борго Стелла. У нее было красивое лицо и довольно приятная осанка. Франческо столкнулся с ней, отвалив ей порядочную сумму за то, что она поедет с ним на некоторое время. Та с радостью согласилась, и Франческо привез ее с большой свитой в Сиену, выдав там ее за свою супругу. И он так в этом всех уверил, что многие благородные сиенские дамы с почетом принимали сию блудницу и часто приглашали ее в гости.

Названная блудница, будучи лукава и двулична, превосходно умела скрывать под пышными господскими одеждами свои бесчисленные пороки и держала себя весьма пристойно, изображая святую невинность. Франческо научил ее, как надо себя вести, и она стала появляться у окна, выходявшего, как было сказано, на улицу, по которой часто хаживал наш Джакопо, ибо так ему было удобнее поспевать до своим делам. Он нередко замечал ее на балконе и однажды, к своему несчастью, посмотрел в ее

сторону. Та приветливо улыбнулась и бросила ему ласковый взгляд, от которого у Джакопо ум за разум зашел. Забыв, что всякому овощу свое время, он сказал себе: «Вот так здорово! Франческо долго вздыхал по моей жене и не добился от нее ничего, даже улыбки, хоть он молод и хорош собой, а мне, старику, его жена сразу же делает глазки. Видно, Франческо суждена участь собаки Майнардо – та только лаяла на всех, а покусали-то ее самое».

Подстегиваемый своим дурацким самомнением не менее, чем любовью, Джакопо стал еще чаще прохаживаться по этой улице и с каждым днем обнаруживал почву все более и более разрыхленной. Теперь, оказавшись в компании молодежи, он нередко принимался хвастать:

– Выходит-то, дело разумеют одни старики. Вы вот вечно строите куры и всегда остаетесь с носом, а мне, как вы знаете, человеку немолодому, в один миг выпало такое счастье, за которое каждый из вас отдал бы все на свете. У меня ведь как? Раз, два – и готово.

Но, несмотря на всю эту болтовню, Джакопо никак не мог найти способ признаться в любви. Дошло до того, что Бартоломея (такое имя приняла блудница, чтобы не быть узнанной), видя, что он не предпринимает никаких шагов, вынуждена была послать ему со служанкой письмо, в котором говорилось, что она де по нем сохнет и чтобы он, бога ради, помог ей, ибо она боится, не околдовал ли ее кто-нибудь. Джакопо пришел от сего в телячий восторг и отправил ответ, который был ничуть не умнее его самого. Прошло немного времени, и Бартоломея, которая до этого делала вид, что ей приходится преодолевать величайшие трудности, назначила Джакопо свидание на вечер, сказав, что Франческо уехал в имение к одному из своих сиенских приятелей. Джакопо показалось, что время до вечера тянется целую вечность, и как только настал назначенный час и ему был подан условный знак, тут же оказался в доме. Бартоломея проделала все то, что обычно делают сгорающие от великой любви дамы; она провела Джакопо в комнату и затолкала его под кровать, сказав, что ему надо пробыть там до тех пор, пока она не отошлет спать служанку, ибо ей хочется, чтобы никто ни о чем не узнал. Джакопо подчинился и пролежал под кроватью часа два с половиной. Потом вернулась Бартоломея и прикинулась, будто очень огорчена из-за неудобств, которые ему пришлось претерпеть. Когда же они остались вдвоем, она, уверяя, будто делает сие под влиянием страсти, принялась царапать ему лицо и кусать его так, что на теле его оставались следы ее зубов. Джакопо, полагая, что подобным образом поступают истинно влюбленные, не только безропотно сносил все это, но даже чувствовал себя на седьмом небе. Когда же дело дошло до главного, о чем столько мечтают любовники и чего они так долго добиваются, он, хоть и был стар, поднатужившись и с великим трудом повел себя так, как следовало. Сделав вид, будто она поражена тем, что он в его возрасте обнаруживает такую прыть, Бартоломея заставила беднягу расшибиться в лепешку и совершить то, что, казалось, было ему совсем не под силу. В довершение же всего, вернувшись домой, чуть живой, разбитый, обессиленный, но довольный, словно ему довелось побывать в раю, Джакопо бросился в любовную схватку с женой. Дабы оправдаться, ему пришлось за одну эту ночь совершить такую работу, которую в другое время ему было бы не то что трудно, а невозможно проделать в течение целого года.

Бартоломея, подученная Франческо, не желая упускать добычу из рук, продолжала строить Джакопо глазки, и, хоть он бывал у нее часто, возвращался домой он лишь сильно исцарапанным и покусанным. Эта любовь продолжалась несколько месяцев и больше на словах, нежели на деле, ибо, побуждаемый к тому тщеславием, Джакопо не мог не похвастаться своим счастьем как перед старыми, так и перед молодыми друзьями, не подозревая, что он собственными руками расставляет сети, в которых ему самому суждено запутаться. Тем временем наступил великий пост и Бартоломея попросила Джакопо дать ей роздых, по крайней мере на святую неделю, когда надобно думать о спасении души, хотя, как сказала она, ей будет очень тяжело не видеться с ним столь долгий срок. Такие ее слова побудили Джакопо сходить к исповеди и покаяться, в содеянных грехах. Его духовником был некий монах из ордена святого Франциска, коего звали брат Антонио. Зная, что тот исповедует Джакопо, Франческо

заранее договорился с ним о том, что ему надлежит делать. Названный Антонио хоть и был духовным лицом, однако почитал, что долг милосердия повелевает ему помогать страждущим, и, желая подтвердить справедливость молвы о том, что нет такого предательства и таких козней, в которых не участвовал бы францисканец, с радостью обещал Франческо исполнить все, о чем тот его просил.

Когда Джакопо припал к ногам брата Антонио, дабы исповедаться, тот стал задавать ему обычные вопросы. Речь дошла до греха сладострастия, и Джакопо в простоте душевной принялся рассказывать обо всем, что у него было с женой Франческо. Тут монах его прервал и сказал:

– Ох, Джакопо! Как это ты мог поддаться дьявольскому соблазну, ввергнувшему тебя во грех, коему нет прощения? Отпустить его тебе не властны ни я, ни папа, ни сам святой Петр, покинь он ради тебя врата рая.

На что Джакопо возразил:

– О, а я слышал, что не существует столь великого греха, которого нельзя было бы не отпустить.

– Верно, – возразил брат Антонио. – Но для этого надо совершить то, на что ты, по моему разумению, не способен.

– Нет ничего такого, чего бы я не сделал ради спасения души, – заявил Джакопо. – Ради такого дела я продам и себя, и свою жену.

– Ну, коли так, – молвил брат Антонио, – я тебе скажу... Да нет, я уверен, что ты не исполнишь того, что мне обещаешь.

– Вы меня просто удивляете! – возмутился – Джакопо. – Свою душу я почитаю превыше всего мирского.

– Коль так, будь по-твоему. Ты, верно, слышал, что за неумышленную обиду, нанесенную доброму имени или имуществу другого человека, нельзя получить прощения, не вернув сему человеку его доброго имени и его имущества? Вот тут-то собака и зарыта. Ты отнял честь у юной дамы и у ее супруга, и грех твой останется непощеным, пока ты ему эту самую честь не вернешь. А сделать сие можно только одним способом: пусть ее муж, если таковой у нее имеется, а коли его у нее нет, то пусть ее ближайший родственник столько же раз побывает у твоей жены, если таковая у тебя имеется, а если ее у тебя нет, то у твоей ближайшей родственницы, сколько раз ты бывал у его жены. И в Писании мы читаем, что когда Давид совершил грех прелюбодеяния, то отослал жену свою тому человеку, у которого он отнял супруга, и был прощен[62 - В Библии говорится иначе: царь Давид был наказан за то, что отнял жену у своего полководца Урии.]. Теперь ты видишь, что тебе надобно сделать?

Слушая, что ему втолковывает священник, Джакопо решил, что впутался в скверную историю, и подумал: «Собакой-то Майнардо окажусь, видимо, я сам». Тем не менее он сказал, обращаясь к монаху:

– Духовный отец, каким бы трудным ни представлялось мне это дело, но душу должно любить превыше всего, и не пристало мне стыдиться того, что совершил этот самый Давид, – ведь он был царь, а я всего-навсего сиенец. Как бы там ни было, а я прежде всего желаю спасти свою душу.

Монах, выслушав сии покаянные речи, обнял Джакопо, поцеловал его в лоб и, выждав немного, произнес:

– Сын мой, вижу, что на тебя снизошла благодать господня. Ты встал на путь истинный. Будь же за это тысячу раз благословен. Вижу, что дело пойдет у нас на

лад, и возблагодарим Спасителя нашего. Должен, однако, заметить, что грех твой велик и без особого покаяния отпустить его тебе невозможно. Поэтому я решил, что во отпущение этого и прочих твоих грехов тебе следует отправиться в Рим. Так ты приобщись к вечной жизни и в радости закончишь свои дни. Ступай, сын мой благословенный, и приведи во исполнение то, что ты мне обещал.

Сказав это, монах благословил Джакопо.

Джакопо, встав с колен, вернулся домой, погруженный в глубокие раздумия. После жестокой внутренней борьбы, в которой в конце концов победила совесть, он решил сходить к Франческо, дабы возвратить ему честь. Правда, тут возникла еще одна трудность: Джакопо не знал, как ему рассказать обо всем Франческо, не подвергнув себя великой опасности. Однако он решил, что нашел способ уберечься от нее. Побуждаемый угрызениями совести и полагая, что на святой неделе он может совершить сие более безбоязненно, чем когда-либо, он однажды вошел к Франческо со следующими словами:

– Франческо, я всегда любил тебя как собственного сына и по возрасту гоюсь, тебе в отцы. Грех толкнул меня на то, в чем я глубоко раскаиваюсь. Прошу тебя, коли бог мне простит, прости меня и ты. Однако до того, как я тебе во всем признаюсь, поклянись, что не учинишь мне обиды, но ради страстей господя нашего забудешь о том оскорблении, которое я тебе нанес.

На это Франческо ответил:

– Я всегда почитал вас как отца. Даже если бы вы зарезали моего батюшку, я все равно обещаю вам, что, во-первых, ради бога и святой недели, а во-вторых, ради моего уважения к вам прощу вам любую обиду.

Тут Джакопо бросился ему в ноги:

– Я буду умолять тебя на коленях.

Франческо с трудом поднял его и стал слушать то, что было известно ему гораздо лучше, чем Джакопо.

Когда Джакопо, плача, ему во всем признался, Франческо, сделав вид, будто он крайне рассержен, сказал:

– Вы проявили большую предусмотрительность, связав меня клятвой. Не будь этого, вы не ушли бы отсюда, прежде чем я не сделал бы чего-нибудь такого, что пришлось бы весьма не по вкусу и вам, и моей распутнице жене и в чем бы я потом горько раскаивался. Но я люблю свою душу больше, нежели вы любите меня. Словом, я вас ныне прощаю. А теперь уберите!

Джакопо, не считая, что он сделал все, что требовалось, сказал:

– Выслушай меня еще немного. Надо, чтобы ты помог мне получить за мой грех прощение у бога. – И он рассказал Франческо, что тому придется переспать с его женой.

– Ну, этого я вам не обещал! – возмутился Франческо. – Я не желаю стать, подобно вам, предателем и негодяем. Достаточно, что я простил вам такую великую обиду. И не уговаривайте меня – я не желаю вас слушать. Еще раз повторяю: уберите-ка отсюда подобру-поздорову.

Джакопо, опасаясь, как бы не вышло чего худого, поспешил покинуть дом Франческо и опять отправился к монаху. Когда он рассказал ему, как было дело и что Франческо не желает ни о чем слышать и ни в какую не соглашается переспать с его женой, монах сказал:

– О, ты совсем ничего не добился. Ведь тебе надо вернуть ему честь. А иначе, что бы ты ни делал, все впустую.

Джакопо, не зная, как ему снова идти к Франческо, предложил монаху:

– А может, вам лучше послать за ним? Я, посижу у вас, и в моем присутствии вы растолкуете ему, что это – не грех. Кто знает, может быть, он вас послушается больше, нежели меня.

– Это неплохой выход, – согласился монах. – Но я с ним незнаком. Я дам тебе моего слушку, и ты ему его издали покажешь. Так никто не узнает, зачем я его вызываю.

На этом и порешили. Джакопо взял служку, показал ему Франческо, и тот передал Франческо письмо монаха.

Франческо, ни слова не говоря, явился в церковь, нашел монаха в комнате, расположенной перед его кельей, и, сделав вид, будто ругается, весело посмеялся с монахом над их проделкой. Потом, кликнув Джакопо, монах сказал, обращаясь к Франческо:

– Тебе все-таки надо утешить беднягу Джакопо, не из любви к нему, ибо он ее не заслуживает, а из любви к мессеру Иисусу, каковой и к тебе будет милостив и не вменит тебе в грех то, что ты совершишь во имя его. А мы с Джакопо будем почитать себя твоими должниками.

Тут Джакопо упал на колени и стал умолять Франческо как о милости, чтобы тот переспал с его женой.

Франческо, прикинувшись до слез растроганным, сказал:

– Ладно, согласен. Я уступаю и готов ради бога учинить вам такую обиду и милость. Во имя его я сделаю то, что вы от меня требуете, хоть это и кажется противным моей совести.

Джакопо такой его ответ очень обрадовал, но теперь его стало заботить другое – как уговорить жену. Однако, рассудив, что с женой он как-нибудь управится, Джакопо пошел домой. Ему показалось, что он отыскал весьма хитрый способ, как сделаться рогоносцем, и, придя к себе домой, принялся горько плакать с тем, чтобы вынудить жену спросить его о причине слез. План его удался. Жена принялась, его настойчиво расспрашивать, из-за чего он так плачет, и Джакопо ответил:

– Я плачу, потому что у меня есть причина для слез. А причина эта вот такая: я осужден на вечные муки, и душе моей нет спасения.

Жена Джакопо, превосходно зная, в чем дело, принялась плакать еще сильнее, чем он, говоря:

– Ой-ой! Как же так? Что ты натворил? Неужели это никак нельзя исправить?

– Можно, – сказал муж. – Только очень трудно.

– Так почему же ты ничего не скажешь? – удивилась Кассандра. – Если что-то можно сделать, мы это сделаем;

– Ладно, – ответил Джакопо, – я тебе скажу: от тебя зависит, буду ли я спасен или отправлюсь в ад.

Он рассказал жене, как обстоит дело. Когда речь дошла до роли, которую ей придется

сыграть, Кассандра насупилась и заартачилась. Коротко говоря, Джакопо пришлось на коленях упрашивать ее оказать ему такую милость. Когда же она согласилась, он тут же отправился к Франческо, дабы как можно скорее очиститься от греха.

– Нынче вечером самое время, – сказал Джакопо, входя к Франческо, – приходи ко мне ужинать, а потом начинай ради бога помогать мне избавляться от сего великого греха.

Франческо очень обрадовался, но скорчил такое лицо, словно бы получил препоганейшее известие и считает, что, отправляясь к Джакопо ужинать, он оказывает тому величайшее благодеяние. Это, впрочем, не помешало Франческо с огромным нетерпением ждать вечера. Как только стемнело, он отправился к Джакопо. Плотнo поужинав, он оставил Джакопо в столовой и удалился со своею желанной Кассандрой в опочивальню, где они возлегли на кровать. Все вы, конечно, представляете, что дела у них пошли совсем не так, как шли они у Джакопо с Бартоломеем. Затем потребовалось искупать и другие грехи, и им пришлось много раз возвращаться к этим занятиям, а так как Джакопо по приказу монаха отправился в Рим: за отпущением грехов, то редкая ночь проходила без того, чтобы Франческо и Кассандра не встретились.

Вот какое завершение получила их великая любовь, и дай бог нам также завершить нашу.

К атому можно добавить, что ревнивый Джакопо, дабы искупить, как он считал, великий грех, на коленях ради бога молил Франческо совершить то, чего тот желал более всего на свете. А причиной всего этого был брат Антонио, который поступил так, как обычно поступают многие духовные лица – ибо, подобно тому как священники нередко приносят бесчисленные блага, точно так же они порою оказываются виновниками многих величайших зол из-за слишком большой веры, которую напрасно питают люди к священнослужителям.

Никколо Макьявелли

Сказка

Черт, который женился

Архидьявол Бельфагор[63 - Архидьявол Бельфагор – согласно библейской версии, бог моавитян, особенно почитавшийся женщинами (видимо, по аналогии с Приапом, римским богом сладострастия и плодородия).] послан Плутоном в мир сей с предписанием жениться. Явившись сюда, он женится, но, не в силах вынести злонравие жены, предпочитает возвратиться в ад, нежели вновь соединиться с нею

В древних летописях флорентийских имеется рассказ некоего благочестивого мужа, жизнь коего прославлялась современниками его, о том, что в молитвенном восхищении узрел он, как неисчислимые души несчастных смертных, умерших в немилости божией, шествуя в ад, все, или же большая часть их, плакались, что подверглись злополучной сей участи лишь по причине женитьбы своей. Сему Минос и Радамант[64 - Минос, Радамант – судьи в загробном мире (греч. миф).] вместе с другими адскими судьями дивились немало и, не придавая веры сим клеветам их на женский род, жалобы на который росли изо дня в день, вошли с соответствующим докладом к Плутону; он же положил, по зрелому рассмотрению сего дела вкупе со всеми князьями адскими, принять то решение, что признано будет наилучшим, дабы либо разоблачить сей обман, либо признать всю его истину. Итак, созвав их на совет, сказал им Плутон такое слово:

– Хотя, любезнейшие мои, по небесному предначертанию, непреложному вовеки волей

судеб, владею я царством сим и в силу сего не обязан полагаться ни на какое суждение, ни небесное, ни земное, тем не менее, поскольку благоразумнее власть имущим подчиняться законам и уважать чужое суждение, положил я держать совет с вами касательно некоего дела как могущего навлечь позор на государство наше, коим должен я править. Ибо, поскольку все души людские, прибывающие в царство наше, говорят, что причиной тому жена, и поскольку сие представляется нам возможным, опасаемся, что, давая веру таким рассказам, можем мы быть оклеветаны в чрезмерной жестокости, не давая же – в недостатке суровости и в малой любви к справедливости. И поскольку в одних грехах виновны люди по легкомыслию, в других – по неправоте своей, и желая избежать обвинений в том, что может зависеть от того и от другого, и не находя к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы советом своим помогли вы и послужили тому, чтобы царство сие как в прошлом существовало без позора, так и в будущем сохранялось бы таковым же.

Каждому из князей дело сие показалось важнейшим и труднейшим, но, решив единодушно, что истину открыть необходимо, разошлись они в суждениях относительно способа. Ибо одним казалось, что следует послать кого-то из них на землю, дабы в образе человеческого лично узнал он всю правду; многим же другим казалось, что можно обойтись без таких хлопот, принудив разные души разными муками открыть истину. Но так как большинство согласилось в том, что послать надлежит, то и склонились к такому мнению. И, не находя никого, пожелавшего бы добровольно взяться за сие дело, рассудили определить избранника жребием. Выпал он Бельфагору, ныне архидьяволу, в былое же время, до низвержения с небес, архангелу; хотя и неохотно брал на себя он сию повинность, однако, принужденный властью Плутона, согласился последовать, решению совета и подчинился условиям, кои торжественно были тут установлены и состояли в том, чтобы немедленно было вручено отряженному с сим поручением сто тысяч дукатов, с коими должен был он явиться на землю, в образе человеческого вступить в брак и прожить с женой десять лет, а засим, притворившись умершим, вернуться обратно и по личному опыту доложить верховному начальству, каковы тяготы и неудобства супружеской жизни. Объявлено было ему еще, что в течение указанного времени он будет подвержен всем тем нуждам, всем тем бедам, коим подвержены люди, – вплоть до нищеты, темницы, болезни и всяких иных несчастий, коим подпадают люди, – ежели только обманом или хитростью не освободится от них.

Итак, получив наказ и деньги, Бельфагор прибыл в мир сей и, в сопровождении конной свиты, с великой пышностью въехал во Флоренцию, каковой город предпочтительно пред всеми другими избрал для своего пребывания как наиболее подходящий, по его мнению, для помещения в рост денег. Приняв имя Родериго из Кастильи, он снял внаймы дом в предместье Всех Святых. Дабы предупредить излишние расспросы о своем происхождении и положении, он объявил, что, еще в юные годы выехав из Испании и направившись в Сирию, нажил все свое состояние в Алеппо, откуда поехал в Италию, намереваясь найти себе жену в странах более светских и более соответствующих требованиям гражданского общежития и собственному его душевному расположению. Был Родериго человек весьма красивый и на вид лет тридцати; с первых же дней он блеснул всем своим богатством и выказал столь образцовую светскость и твердость, что многие знатные граждане, имевшие много дочерей и мало денег, искали случая породниться с ним; изо всех остановил свой выбор Родериго на отменно красивой девушке, по имени Онеста, дочери Америго Донати, имевшего еще трех других дочерей. И хотя принадлежал он к весьма знатному роду и пользовался общим уважением во Флоренции, тем не менее из-за многочисленной семьи своей был он крайне беден.

Свадебный пир задал Родериго на славу, не забыв ничего из того, что требуется на таковых празднествах, будучи, по условиям, установленным для него при отбытии из ада, подвержен всем страстям человеческим. Он сразу вошел во вкус почестей и пышностей света и стал дорожить людскими хвалами, что ввело его в немалые расходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дней со своей монной Онестой, как влюбился в нее превыше всякой меры и жить не мог, чуть только видел ее печальной и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью и красотой своей принесла монна Онеста в дом к Родериго нрав столь строптивый, что самому Люциферу было бы далеко до нее; и

Родериго, испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена обладает тут превосходством, но стала она куда еще строптивее, лишь только обнаружила всю любовь к себе мужа; решив, что может захватить полную власть над ним, она стала повелевать им без зазрения совести и не задумывалась грызть его грубыми и оскорбительными словами, когда в чем-либо был отказ ей от него, что причиняло Родериго несказанную тоску. И все же тесть, шурья, вся родня, брачный долг, а сверх всего великая любовь к жене заставляли его спорить все терпеливо. Я уж не говорю об огромных расходах, которые делал он, дабы угодить ей, одевая ее в новые платья, и угодить ее прихоти попевать за модой, которую город наш имеет обыкновение менять то и дело, не говорю, что был он вынужден, желая жить с ней в мире, помочь тестю выдать замуж других его дочерей, что стоило ему огромных денег. Засим, ради ее удовлетворения, ему пришлось снарядить одного шурина в торговую поездку на Восток с тонкими тканями, а другого на Запад с плотными сукнами да еще помочь третьему открыть золоточеканную мастерскую, на каковые предприятия истратил он большую часть своего состояния. Помимо того, во время карнавала и в день святого Иоанна, когда весь город, по древнему обычаю, предается празднествам и многие знатные и богатые горожане задают пиры на славу, монна Онеста, дабы не отстать от других дам, желала, чтобы ее Родериго превосходил всех роскошью своего гостеприимства. Все это, по указанным выше причинам, нес он покорно, и даже тягчайшее бремя не показалось бы ему тяжелым, лишь бы только принесло оно мир его дому и мог он спокойно дожидаться срока своего разорения. Но случилось обратное, ибо вместе с непосильными расходами нестерпимый характер жены причинял ему бесконечные беспокойства и не находилось ни раба, ни слуги в его доме такого, чтобы не то что долгое время, а и несколько дней мог бы вытерпеть. Отсюда проистекали для Родериго тягчайшие затруднения, ибо он не мог найти себе верного и преданного раба, и равно как и прочие слуги, даже те дьяволы, что сопутствовали ему в качестве его челяди, предпочли лучше вернуться в огонь преисподней, нежели жить в этом мире под ее владычеством.

В таких тревогах и беспокойствах своей жизни, растратив уже беспорядочными расходами и ту движимость, что у него сохранилась, Родериго стал жить надеждой на выручку, что ожидал с Запада и с Востока. Пользуясь все еще хорошим кредитом, дабы не уронить своего достоинства, он занял деньги под проценты, но, имея уже за спиной большие долги, требовавшие уплаты, он скоро попал на отметку тем, кто занимался подобными же денежными операциями. Когда дела его уже совсем висели на волоске, с Запада и с Востока пришли внезапно известия, что один из братьев монны Онесты проиграл все имущество Родериго, а другой, возвращаясь на корабле, нагруженном его товарами, и ничего не застраховавав, утонул вместе с ним. Не успели эти новости стать известными, как кредиторы Родериго, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и, так как обнаружиться это еще не могло, поскольку срок уплаты им еще не наступил, положили, что следует учинить за ним бдительное наблюдение, дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. Родериго же, со своей стороны, не видя, чем помочь беде, и памятуя о своих обязательствах перед законами преисподней, решил бежать во что бы то ни стало. Однажды утром, сев верхом на лошадь, выехал он через ворота Прато, неподалеку от коих жил; не успела разнестись весть о его отъезде, как шум поднялся среди его кредиторов, которые не только потребовали скороходов у власти, но и сами всей толпой бросились его преследовать. Родериго не отъехал и на милю от города, как услышал за собой шум погони, и потому, рассудив, что ему несдобровать, решил, чтобы скрыть свое бегство, съехать с дороги и пуститься наудачу по полям. Но из-за множества канав, пересекавших всю местность, он не мог продолжать свой путь верхом и, оставив коня на дороге, побежал пешком с поля на поле, по виноградникам и камышам, коими изобилует эта местность, пока не достиг выше Перетолы хижины Джованни Маттео дель Брикка, арендатора земли Джованни дель Бене; по счастью, он застал дома Джованни Маттео, который задавал корм волам, и, назвав себя, обещал ему, что ежели он спасет его из рук врагов, преследующих его, чтобы уморить в темнице, то он обогатит его, в чем при прощании даст ему верное ручательство; в противном же случае согласен, чтобы он сам выдал его в руки врагов. Хотя и крестьянин, был Джованни Маттео человек храбрый и, рассудив, что не прогадает, согласившись его спасти, дол ему в том обещание; спрятавши его в навозной куче перед своей хижинкой, он прикрыл его камышом и соломой, заготовленными им на

топливо. Не успел Родериго укрыться, как явились его преследователи и угрозами могли лишь добиться от Джованни Маттео, что видеть его он видел, только и всего.

Лишь только шум утих, Джованни Маттео, вытащив Родериго из убежища, где тот находился, потребовал от него исполнения данного слова. На что Родериго ответил:

– Брат мой, ты оказал мне великую услугу, и я желаю тебя всячески отблагодарить; а чтобы, ты убедился в том, что я могу это сделать, скажу тебе, кто я такой.

И тут он рассказал ему все о себе самом, и об обязательствах, принятых им на себя при выходе из ада, и о своей женитьбе; а засим сообщил ему способ, каким намеревался его обогатить, и состоявший в следующем: как только Джованни Маттео услышит о какой-либо бесноватой, пусть знает, что вселился в нее не кто иной, как он сам своею собственной персоной, и не выйдет из нее, пока тот не явится изгнать его, что даст ему случай потребовать любой платы от ее родителей. Порешив на том, они распростились, и Родериго пустился своей дорогой.

Прошло ни много дней, как по всей Флоренции разнесся слух, что дочь мессера Амброджо Амедеи, выданная замуж за Буонайуто Тебальдуччи, одержима бесом. Родители применили все средства, какие в подобных случаях применяются: возлагали ей на голову главу святого Зиновия и плащ святого Иоанна Гуальбертийского, но все это вызвала лишь издевательства со стороны Родериго. И, дабы каждому стало ясно, что болезнь девушки имела причиной злого духа и не была плодом фантастического воображения, он говорил по-латыни, рассуждал о философских предметах и разоблачал прегрешения многих; среди прочих разоблачил он грех одного монаха, который в течение более четырех лет держал в своей келье женщину, переодетую монашом; все это вызывало всеобщее изумление... Был поэтому в большом горе мессер Амброджо и, тщетно испытав все средства, потерял уже всякую надежду на ее исцеление, когда Джованни Маттео явился к нему и пообещал исцелить его дочь, ежели он даст ему пятьсот флоринов, на покупку имения в Перетоле. Мессер Амброджо принял условия; тогда Джованни Маттео, приказав прежде всего отслужить обедню, после разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, наклонился к уху девицы и сказал:

– Родериго, вот я явился к тебе, чтобы ты сдержал свое обещание.

На что Родериго отвечивал:

– Превосходно, но сего недостаточно, чтобы обогатить тебя; посему, удалившись отсюда; я войду в дочь Карла, короля Неаполитанского[65 - Речь идет о Карле Анжуйском.], и не выйду из нее без твоего вмешательства. Потребуй себе тогда какого хочешь вознаграждения и больше уж не беспокой меня.

С этими словами он вышел из нее, на радость и удивление всей Флоренции.

Не прошло после того много времени, как на всей Италии разнесся слух а таком же происшествии с дочерью короля Карла; не получив никакой действительной помощи от монахов и прослышав о Джованни Маттео, король послал за ним во Флоренцию, и тот, прибывши в Неаполь, после нескольких мнимых обрядов исцелил ее. Но Родериго, прежде чем удалиться, сказал:

– Видишь, Джованни Маттео, я сдержал свое обещание обогатить тебя, и посему, расплатившись с тобой, я больше ничего тебе не должен. Итак, постарайся отныне не попадаться мне на пути, потому что ежели я тебе до сих пор благодетельствовал, то впредь тебе от меня не поздоровится.

Возвратившись во Флоренцию богатым-пребогатым, потому что получил от короля более пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Маттео думал тихо и мирно наслаждаться своим богатством, не помышляя о том, чтобы Родериго чем-либо собирался повредить ему. Но мысли его были внезапно смущены пронесшимся слухом, что одна из дочерей Людовика

VII[66 - Либо простая ошибка, либо анахронизм. Современником Карла Анжуйского был Людовик IX.], короля Французского, одержима бесом. Эта новость взволновала всю душу Джованни Маттео, сразу подумавшего о могуществе сего короля и о словах, сказанных ему Родериго. И действительно, не находя средства излечения дочери и прослышав о силе, какою обладал Джованни Маттео, король сперва просто послал своего скорохода за ним, но когда тот сослался на некоторое нездоровье, король был вынужден обратиться к синьории, и та заставила Джованни Маттео повиноваться. Безутешный, отправился он в Париж и первым делом доложил королю, что все это так: ему случилось в прошлом излечить нескольких бесноватых, но это не значит, что он умеет или может исцелить всякую, – ибо встречаются бесы столь упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинаний, ни религиозных обрядов; но со всем тем он готов исполнить свой долг, если же его постигнет неудача, просит уж не взыскать и простить его, на что король, вознегодовав, отвечивал, что ежели он не исцелит его дочери, то будет повешен. Великая скорбь охватила Джованни Маттео; однако, собравшись с духом, велел он привести бесноватую и, наклонившись к ее уху, смиренно обратился к Родериго, напомнив об оказанном ему благодеянии и указав, какую проявит он неблагодарность, ежели не поможет ему в такой крайности, на что Родериго отвечивал:

– О вероломный негодяй! Как осмеливаешься ты предстать предо мною? Вздумал ты похваляться, что ли, что разбогател с моей помощью? Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я дарить и отнимать дареное по своей прихоти. Не уйти тебе отсюда, миновав виселицу.

Тут Джованни Маттео, не видя для себя выхода, решил попытать счастья другим путем и, велев увести одержимую, обратился к королю с такими словами:

– Государь, как доложил я тебе, бывают духи столь злобные, что с ними добром ничего не поделаешь, и сей один из таких, посему хочу я сделать последний опыт, и, ежели удастся он, ваше величество и я будем довольны, а не удастся, так предаю себя в твои руки и прошу лишь о сострадании к моей невинности. Прикажи посему на площади Богоматери Парижской построить большой помост, такой, чтобы разместить на нем всех твоих баронов и все городское духовенство, прикажи украсить помост шелками и парчой и соорудить посредине его алтарь; в ближайшее воскресенье утром ты явишься туда с духовенством, вкупе со всеми твоими князьями и баронами, со всей королевской пышностью, в блестящих и роскошных одеяниях и, по совершении торжественной обедни, прикажешь привести бесноватую. Кроме сего, пусть с одной стороны площади соберутся не менее двадцати музыкантов с трубами, рогами, волынками, тарелками, кимвалами и всякими другими шумовыми инструментами и, как только я подниму шапку, громко заиграют на них и двинутся по направлению помоста. Все сие вместе с некоторыми другими тайными средствами, думаю, заставит удалиться сего духа.

Король тотчас же распорядился обо всем, и, когда наступило воскресное утро и помост наполнился важными особами, а площадь народом и была отслужена обедня, одержимая была приведена двумя епископами в сопровождении многих придворных. Увидев такое количество собравшегося народа и такие приготовления, Родериго чуть не обмлел и сказал про себя: «Что еще выдумал этот негодяй? Думает он, что ли, запугать меня всей этой пышностью? Не знает он разве, что я довольно навидался и небесной славы, и адских ужасов? Достанется же ему от меня!» И когда Джованни Маттео приблизился и попросил его выйти вон, он сказал ему:

– Ого! Хороша твоя выдумка! Чего ты думаешь добиться всеми твоими приготовлениями? Думаешь ты, что ли, избежать этим моей власти и королевского гнева? Мужик проклятый, не миновать тебе виселицы.

И когда он продолжал поносить его упреками и бранью, Джованни Маттео решил не терять больше времени и подал знак шапкой; тотчас же все, отряженные на производство шума, заиграли на своих инструментах и, громыхая так, что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. На такой шум Родериго наострил уши и, не понимая, что происходит, и весьма изумляясь, совсем растерявшись, спросил у

Джованни Маттео, что сие означает, на что Джованни Маттео в полном смущении отвечал:

– Беда! Милый ты мой Родериго, ведь то жена твоя Онеста идет за тобой.

Нельзя и представить себе, какой переполох в голове Родериго вызвало одно упоминание имени его жены; так он переполошился, что, и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и допустимо, чтобы то была она, не думая о возражениях, в ужасе обратился в бегство, покинув девицу, и предпочел скорее вернуться в ад и отдать там отчет в своих действиях, нежели снова наложить на себя супружеское ярмо со всеми сопряженными с ним хлопотами, досадами и опасностями. Итак, Бельфагор, возвратившись в ад, поведал о всем том зле, что приносит с собой жена в дом мужа, а Джованни Маттео, который знал про то лучше самого дьявола, веселый вернулся домой.

Франческо Мария Мольца

Дочь короля Британии, скрываясь от безрассудно влюбившегося в нее отца, после долгих злоключений попадает в монастырь, где ее встречает и берет в жены французский дофин[67 - Дофин – наследный принц.]; свекровь замышляет расправиться с ней. Тогда она совершает побег в Рим, где неожиданно встречается с мужем, и тот с великим торжеством препровождает ее во Францию

Одоард, король Британии, о чем упоминается в старинных бургундских летописях, женился на красивейшей из женщин, какую только возможно было по тем временам отыскать на белом свете. Мудра она и благоразумна была до чрезвычайности, и всякое слово или дело у нее сопровождалось, как ни у какой другой, самыми изящными и возвышенными манерами; всякое же деяние ее по достоинству пребывало в нескончаемой славе. Потому разумеется, и жил король в радости от этого более, нежели от прочих владений, сокровищ и богатств; когда же сам возле нее находился, то все свои короны, пурпурные мантии и прочие королевские регалии вовсе забывал и в грош не ставил; и жил бы он так припеваючи, если бы в одном не отказала ему Фортуна: в наследнике, который мог бы взять в свои руки отцовское королевство и воссесть на троне, доставшемся ему от долгой и немалой чреды предшественников; но прошло немного времени после женитьбы, как подарила ему жена дочку; чертами личика своего и всем прочим девочка обещала не уступить беспредельной красоте матери. Так король вместе с прекрасной женою в полном счастье и постоянном согласии несколько лет обретался (известно, вся жизнь человеческая такого свойства, что, будучи от природы изменчива и зыбка, долго длиться в одном обличье не может), когда вдруг королева тяжко занемогла, чем немало был встревожен Одоард; и оттого, что ни лекарь, ни разные снадобья не помогали исцелить и даже распознать недуг, ей с каждым днем делалось все хуже и хуже; наконец, чувствуя, что смерть близка и дух вот-вот покинет тело, она повелела призвать к себе Одоарда и молвила ему так:

– Монсеньор, коли господь пожелал, чтобы я пребывала с вашим величеством столь недолгий век, и коли неугодно ему более видеть меня на этом свете, то надобно, чтобы и ваша душа с этим смирилась. Однако я в великой безутешности ушла бы в мир иной, ежели не удостоилась бы от вас милости, о которой намерена просить.

Король с нежностью принялся ее утешать, не оросив лицо слезами, но сдерживая их, и сказал, что она может просить чего пожелает, ибо он немедля исполнит все, что в его силах, сколь бы ни было это затруднительно, на что королева отвечала:

– Я иначе не соглашусь высказать мою просьбу, если вы не поклянетесь исполнить ее неукоснительно.

Тогда поклялся Одоард своей короной. И королева молвила:

– Милость, какой прошу ваше величество удостоить меня, такова, что после моей кончины вы не должны жениться вовсе, если только не встретите женщину, которая красотой своей сравняется со мною или же превзойдет меня.

Король и в этом ее заверил, давая клятвенные обещания и умоляя не тревожиться. И вскорости, объята вечным сном, к великой скорби короля и всех его приближенных, она перешла в мир иной и в глубине пленительных глаз, где обитала лишь прелесть вкупе с любовью, нашла себе пристанище вековечная черная ночь. Были устроены пышные похороны, и много лет плакал горькими слезами Одоард. Наконец время, могуществу которого подвластно все на свете, немного умерило тяжкие страдания короля, да и дочка его, подобная стройному деревцу, что по весне устремляется к небу и, вырастая день ото дня, все нежнее расцветает, немало в этом была ему подмогой. Придворные же, видя это и полагая, что не пристало столь могучему и богатому королевству оставаться без законного преемника, много раз о том с королем беседовали и весьма настойчиво упрашивали его взять другую жену, напоминая, что иначе он останется без наследника, а они – без господина. Король же на такую просьбу неизменно отвечал отказом. Наконец в один прекрасный день, дабы не мучили его их речи, молвил так:

– О достойные мужи и друзья мои, всеми способами пытаетесь вы пробудить во мне охоту жениться вновь и не ведаете того, что еще до кончины супруги нашей мы поклялись ей короною своею, что не преклоним колени пред брачным алтарем, если только не встретится нам на пути женщина, которая красотой сравняется с нею или превзойдет ее. Потому говорю вам, что когда найдете вы мне такую, которая усопшей королеве не уступит в красоте, то женюсь на ней; но когда вам не удастся такую сыскать, то не докучайте мне впредь, ибо мы верность пашу изменю не запяtnаем и предпочтем остаться без жены и наследника, чем нарушим свое королевское слово.

Поняли все, что весьма трудное и почти невозможное условие поставил перед ними Одоард и что было это всего-навсего отказом от того, на что он заранее порешил не соглашаться; однако пообещали найти такую, что ему понравится, и сказали: пусть сам рассудит, достойна ли она будет, став ему женою, заменить славной памяти королеву. И многие отправились в путь, но, сколь ни бродили по свету, сколько самых дальних краев ни исколесили, так и не смогли угодить своему королю и, воротившись домой, более не уговаривали его. Но дочка Одоарда, двенадцати лет от роду, писаная красавица, столь большие надежды подавала, что в целом королевстве только о ней и говорили: и как о нежной розе, которая едва распустила бутон, тем показав лишь малую толику своих прелестей, и дивным благоуханием наполнила весь сад, так о ней, грациозной и живой, и о приятных и возвышенных ее манерах шла по свету благороднейшая молва, и все знавшие ее утверждали, что она несомненно своею красотой превосходит мать. Этим был счастлив отец, нигде более не искал он отдохновения для своей долгой печали, нигде так легко мысли его не находили успокоения, как подле нее; и с такой достоверностью узнавал он в дочери мать, что зачастую говорил себе: «Так она глядела, так речь молвила, так смеялась!» А пока в глубине души на прелести ее заглядывался, то сам того не заметил, как против естества и законов крови позволил нечестивой любви к ней угнездиться в своем сердце. И, всецело отдавшись во власть этой чудовищной мысли, задумал он склонить юную деву к безропотному согласию разделить с ним его ложе; любовным и приятным обхождением весьма ретиво старался он возбудить подобную своей страсть в юной груди дочери. Она же, ни о чем не догадываясь, оставалась на редкость невинна и не могла даже помыслить о том, что нашелся на свете столь мерзкий отец, который, дойдя до такого злодейства, открыто выказывает свои животные намерения. И вот однажды, подстегиваемый своим достойным порицания вожделением, он обратился к ней со словами:

– Прекраснейшая дева, все законы и порядки, под властью которых мы в различных краях по-разному обитаем, есть не что иное, как простые людские суждения, поскольку одни всемерно восхваляют и возносят то, что другие всячески порицают. Так, пиратов и грабителей у нас не минует суровая кара, тогда как в других странах с давних пор

жалуют и всячески награждают тех, кто этим промыслом занимается. Некоторые из них, корсарствуя и обирая всех подряд, богатели и пользовались почетом, словно великие князья; многие же, благодаря подобным прегрешениям, сравнялись во славе с королями, и в том древнейшие греки более других преуспели, о чем открыто в их летописях сообщается. То же самое можно сказать и о других вещах, но это долгая песня; чего же еще? Взять хотя бы стыдливость, которая сегодня в таком почете и, я бы сказал, по-глупому восхваляется; не была ли она в древности изощреннейшими римскими цензорами предана хуле, осуждена, опозорена и изгнана вон? Там не считалось бесстыдством обмениваться друг с другом женами, а потом, когда захочется, забирать их обратно! Стало быть, исходя из вышесказанного, а также из многого другого, о чем я пока не говорю, мы можем утверждать, что ни одно каноническое правило, ни одно установление, наконец, ни один закон, не являются чем-то столь прочным и незыблемым, чего нельзя было бы соответствующими доводами расшатать, ослабить и ниспровергнуть. Все, что мы себе воображаем, есть всего-навсего сон и мираж, и поистине глуп тот, кто в этом пространном и великом суетном мире, подчиняясь людскому мнению, позволяет замкнуть себя в тесные рамки, не осмеливаясь даже преступить их. Ни в коем случае нельзя давать волю черни, а потому следует с помощью законов скрутить простых людей по рукам и ногам, да так, чтобы отбить охоту добраться туда, куда безрассудство могло бы их повлечь. Кто же усомнится в том, что человеку деликатному и воспитанному, к тому же благородством ума выше прочих стоящему, более пристало презреть некоторые утвержденные законом положения, нежели простолюдину и невеже? А ежели это дозволено всякому благородному человеку, то стоит ли говорить о том, что вершить подобное королю тем более дозволено? Ведь величие его безгранично и свободно от всяческих препон, которые имеют силу настоялко, насколько того желает он сам! Ибо устанавливают законы князья и императоры; они же законам неподвластны. А раз так, – и мы не в состоянии это отрицать, – то и я должен, о прекрасная, более жизни нашей любимая дева, по достоинству присвоить себе это право и никаких упреков в том не нести. Прошу же вашего согласия на то, чтобы назваться счастливым избранником любви вашей, и соблаговолите стать моей супругой, поскольку лишь вы одна незабвенной королеве в красоте подобны. И если ничто другое вас к тому не побуждает, то вспомните о нашем многолетнем одиночестве, а также подумайте о будущем нашего королевства, ибо в противном случае оно неизбежно окажется в чужих руках, что несомненно явится огромной оплошностью и самым большим преступлением всех законов и обычаев мирских, которые, как мы уже говорили, созданы властью и немудреными людскими суждениями. Так и этот закон – есть всего лишь общая точка зрения, подобная всякой другой, и подчиняться ему вы обязаны, насколько вам это нравится, и не более. Вы немедля станете владычицей и хозяйкой всех наших богатств; в Священном писании и прочих древних книгах в достатке найдется примеров, с помощью каковых вы сможете заботиться обо мне самом и о моем здоровье, которое я вам вверяю и прошу так его блюсти, дабы исчезли все мои горести; вы же в царственном эмпирее во славе пребудете.

Зарделось белоснежное личико невинной девы при этих гадких, отвратительных словах Одоарда, и светлые слезинки, будто чистейший хрусталь, оросили его; так влага небесная упадает на прекрасные цветы, что раскрываются навстречу дню и, живым пурпуром увенчанные, ввергают в сомнение прохожего: не они ли одалживают утренней заре этот пурпур и та, прихорашиваясь, покрывает им свои ланиты; а Может, сами его тайком похищают у нее? И, зардевшись, вознамерилась юная дева дать отпор низкой похотливости отца. Призвав на помощь святого духа, который, поверьте мне, в уста наши слова влагает, она так отвечала:

– Любезный отец, хотя столь омерзительное предложение, коим вы слух мой донельзя осквернили, должно лишить вас такого звания, все же я всегда, невзирая ни на что, буду отцом вас величать, ибо, чем благороднее и сердечнее будет звучать это слово, тем скорее вы сможете одуматься от вашего непотребного животного вождения и остережетесь лишиться святейшего, естеством данного имени; потому говорю вам это, о дражайший и возлюбленный отец мой, что в сердцах людей некоторые законы столь крепко самой природой запечатлены, что, когда бы ни вздумалось людям человеческий

образ утратить и от законов тех отступить, они волей-неволей должны уважать их и соблюдать непреложно; нельзя им прекословить никаким образом: ни за давностью времени, ни с помощью магистратов[68 - То есть с помощью правительственных или судебных чиновников.], ибо более великим, чем вы или кто другой из живущих либо живших на земле, Владыкой они даны, поверьте. Нет здесь ни для кого исключения, и любое заступничество бессильно тут. Столь же прочны, нерушимы и вековечны и евангельские истины, досточтимая непреложность коих никогда не убудет и не обернется прахом. Помимо них, есть еще такие, что зовутся у вас плодами воображения; будучи якобы измышлением людей, они могут иметь или не иметь силу по желанию того, кто их отрицает или утверждает. Ваша просьба, как очевидно, не вяжется с этими тремя установлениями, и когда бы снизошла я до нее, то самая порочная женщина не оказалась бы столь достойна геенны огненной, как я. Но, предположим, я позволю вовлечь себя в подобное бесчестие и это третье установление допустит для меня королевскую исключительность, тогда кто сможет меня укрыть от возмездия первых двух, оправдать и уберечь от кары, которая за такое неслыханное преступление немедля на меня обрушится? Кто сможет изгнать из памяти моей то, как я, в осквернение естества, непристойно отца своего любила? Как потом из дочери превратилась в скверную, непотребную женщину, посчитав и мать родную за распутную наложницу и не постыдившись богомерзкими, непозволительными объятиями осквернить ложе, которое она дотоле с вами свято разделяла? Как, может статься, бесстыдно разродившись, принесла я вам в едином чреве и сына и внука? О грязные речи столь низко падшего властелина! О гнусная, недостойная отца просьба! Если бы нашлись слова, дабы проклясть тебя и покрыть позором, уже устал бы от них язык мой; господь да отведет эту погибель подалеже от чистой крови нашей и рассеет ее среди лютых басурман или прочих кровожадных народов и среди недругов твоих, ежели таковых ты имеешь, и да вдохнет в тебя здравый рассудок! Славным, благородным королем ты был доселе, так пусть же воротится благородство это в душу твою и не покинет ее более. Я не намерена по-иному отвечать на все примеры и довода, что употребил ты в подтверждение просьбы своей, по причине их ничтожности, а также из уважения к тому, что к моей чести отношение имеет. Скажу только, что, когда бы ни пожелал ты к сей грязной, злодейской мысли обратиться, руки свои неминуемо кровью моей замажешь, ибо я умру, но не позволю себе столь предосудительным образом над людьми и богами надругаться..

Тут смолкла благонравная девица, и несколько слезинок, скатившихся из глаз ее, блистая, увлажнили бархатные щеки, украсив их более, чем могли бы это сделать самые чистые и гладкие жемчужины; и столько твердости было в ее словах, что отец, уже собравшийся силою взять желаемое, все пылкое вождение свое сразу утихомирил и, премного поразившись величием души дочери, на несколько дней оставил ее в покое. Но вскоре неумное желание, замутившее его рассудок, одержало верх, и он вновь попытался на нее покушаться; видя такое и опасаясь, как бы от лести он не перешел к насилию, порешила девица спастись от отца бегством и тем уберечь свою честь. И вот однажды, когда он в который раз любви ее низко домогался, она молвила ему:

– Отец мой, коли заняло вам в душу, чтобы я и дочью и женою вам стала, то, так и быть, я согласна, но на одном условии: пусть произойдет это через папское дозволение, дабы не было нам обоим укоризны в таком скверном, злодейском поступке.

Принял за истинную правду слада дочери своей Одоард и нежданной радости столь исполнился, что пообещал ей добиться в считанные дни папского благословения и, не противореча божественным канонам, сочетаться законным браком. Не теряя времени, он снарядил своих послов в Рим, к папе, с наказом добыть дозволение или же возвратиться вскоре с поддельными письмами и грамотами и показывать эти грамоты всем, говоря, будто от папы их получили. Тем временем прелестная дева написала послание Иоанну, герцогу Ланкастерскому, брату матери своей, усопшей королевы, слезно умоляя повидаться с ней, поскольку о спасении их обоих надобно поговорить, и прося приехать к ней тайно, чтобы никто не увидел; указав место, где будет ждать его, она зачастила туда, якобы забавы ради, поразвлечься, провести день-другой. Герцог же, как только представился случай, тщательно изменил свою внешность и,

окружив себя доверенными людьми, прискакал к ней; она открыла ему тайну о посягательстве короля и поведала про то, какое тяжкое оскорбление ей уготовано. После того сказала дяде, что лучшего средства не находит, как бежать вместе с ним и укрыться под чужим именем у него в доме до тех пор, пока господь не вразумит короля или что другое с ним не сотворит. Герцог похвалил предложение племянницы, и порешили они будущей ночью осуществить замысел, согласно которому девица должна потихоньку взять, сколько сможет, из сокровищ Одоарда и, под искровом темноты удалившись с герцогом, показать врагу чести своей, что она не менее о сохранении невинности заботится, чем он – о поругании ее. Много было огорчений и много шума; по всему королевству с усердием искали благочестивейшую девицу, но не нашли ни следа ее, ни признака. Великое уныние охватило презренного отца, который в веселье ожидал свадьбы, – уже и послы возвратились и, не сумев добиться от папы желаемого, привезли поддельные письма и грамоты, как приказал сам король; невыносимыми терзаниями исполнилась душа Одоарда. И когда он так в гневе и печали мучился, Кто-то донес ему, что за день до исчезновения дочери на окрестных дорогах видели лошадей герцога Ланкастерского; сразу же догадался король, что она нашла себе прибежище у дяди и скрывается там. Не колеблясь, направил он герцогу грозное послание, в котором выражал удивление, почему тот не отослал ему дочь обратно, а, наоборот, приютил ее; и сообщал, что сколь ему ни отрадно приписывать эту жалость и снисходительность кровному родству, однако, если дядя вознамерится оставить племянницу при себе, он сочтет это за неслыханное, смертельное оскорбление и в отмщение сумеет доказать, что герцог – коварный преследователь его дочери, отчего не миновать тому великой беды. Герцог, прочтя эти слова Одоарда, премного удивился и сначала не принял их всерьез; но хотя власть его и могущество на том же острове немало значили, все же было чего опасаться; так поразмыслив, он показал письмо племяннице, которая, увидя, что написал ее отец, и наполовину догадавшись о том, что творилось в душе и мыслях герцога, отбросила всяческие женские страхи и молвила так:

– Неуемный пламень, что непрестанно бушует в бесстыдном сердце моего отца, не унять иначе, чем скрывшись вдали отсюда; и если это не поможет и не принесет желанной пользы, то я лучше умру, уйду вон из этой постылой жизни, нежели подумаю воротиться в похотливые объятия, от которых однажды меня уберегли и сохранили ваше доброе участие и моя осмотрительность. С меня хватит. Теперь же будет весьма справедливо, коли мы воздадим хвалу богу за такое благодеяние, поскольку никто больше нам не помог, и ежели господь не станет впредь к нам благоволить, то придется пенять на себя. Дабы такого не случилось, он сам спасительное средство нам предлагает: дайте мне сопровождающих, каких хотите, и вместе с ними, переодетая и никому неизвестная, я доберусь до Вьенны во Французском королевстве и укроюсь там в монастыре, у милосердных женщин, чья святость каждому известна в тех краях. Никто не будет знать, кто я, откуда, и, клянусь вам верой и правдой, никакой слух обо мне сюда не долетит; так мы в одно время и господу угодим, и покой наш сохранить сумеем; а после вы пошлете письмо королю, сделаете вид, что весьма удивлены тем, как он о вас подумал, пообещаете ему немедля отослать меня домой, как только найдете, и все в таком духе, что вам заблагорассудится.

Герцога убедили слова племянницы и растрогали слезы, которые появились в добавление к словам, и, решившись последовать во всем ее совету, он написал послание Одоарду, в котором сделал вид, что ничего не знает, и, как умел, успокоил короля; благородную же девицу с немалой печалью пришлось ему от себя отпустить, дав ей провожатых, чтобы тайно доставили ее во Вьенну. Добравшись до места, она укрылась в женском монастыре, и через короткое время пример, какой она подавала своим благочестием и добрыми деяниями, стал виден всем. И не только себе равных, но и прочих добродетельных женщин (коих было там немало) она чудесным образом превзошла; они вскоре в такой восторг от нее пришли, что иной радости и не знали, как лишь о ней говорить и восхвалять ее без меры. К тому же, сколь ни старалась она сойти за простолюдинку, все же на челе ее, царственное величие запечатлелось; и всякому, кто с восхищением на нее взирал, она внушала чувство целомудренной любви к себе и смиренного почтения. Монашки, не переставали удивляться тому и, не зная, откуда

взялась такая услада для души, полагали, что не иначе, как с неба сошла сия дева, и не могли на нее наглядеться и любили ее одна пуще другой. Но не подумайте, что черные монашеские одеяния скрыли хотя бы малую толику ее небесной красоты, напротив: на добрую сотню дублонов подняли эту красоту в цене. И как-то раз увидел ее брат аббатисы, юноша благородной крови, к тому же большой друг дофина; он приблизился к решетчатой ограде в ту минуту, когда, после богослужения, дева в свою келью вместе с прочими возвращалась, и влюбился в юную послушницу без памяти; однако, видя, что ни письма, ни посланцы, ни всяческие обещания не приносят пользы, был вынужден наконец прибегнуть к последней надежде, то есть с помощью аббатисы, приходившейся ему сестрой, попытаться твердость своей возлюбленной поколебать. Аббатиса, прослышав, что жизни брата грозит опасность, решилась, хотя и в муках оттого, что совершает непозволительное, словами тронуть душу непреклонной девицы и, улучив момент, молвила ей:

– Господь меня упаси, благонравная дева, но мне кажется, тяжкий это грех, что вы живете здесь, запертая в каменных стенах, и от такого прелестного создания, как вы, никакого продолжения не будет; ведь вы не просто кому-то приглянулись, но есть юноша, который желал бы назвать вас своей женой и госпожою; он знатного происхождения, благороден, как мало кто другой, и чрезвычайно хорош собою.

На что девица, вся зардевшись, быстро отвечала:

– Мадонна, если вы говорите так, желая искусить меня, то не терзайте слишком тяжкими испытаниями души послушниц, что под началом у вас; но если говорите правду, то чем я вас прогневала, коли в тягость стала?

Аббатиса молвила:

– А ежели я вам скажу, непреклонная девица, что тот, о ком идет речь, будучи отважен и благонравен и желая с добродетелями своими вашу любовь соединить, погибнет, не добившись ее, вы снова откажетесь?

Девица отвечала:

– Не смертью других, но через мою же смерть намерена я отстаять свою решимость и праведные помыслы.

Тут аббатиса поняла, что творится в душе послушницы, премного восхвалила ее в сердце своем и сообщила о такой непреклонности брату, который, потеряв надежду, в тоске великой за несколько дней окончательно высох и расстался с жизнью. Долго оплакивал дофин смерть друга, но, узнав о причине, захотел посмотреть, верно ли та девица столь хороша как говорили, и, приблизившись в ограде, когда после мессы и молитв пред главным алтарем все монашки, по обыкновению, возвращались в свои кельи, воочию увидел прелестную послушницу; она, свет достоинств своих излучая, будто живое ясное солнце посреди малых звезд, предстала его взору в кругу прочих женщин и так поразила дофина божественным обликом своим, что от любви к ней, как стало угодно господу властителю, – который установил во веки веков, чтобы добродетель и дивная красота, будто на огромной сцене, пред целым миром являлись и опоздавшие, не успев их узреть, убивались бы от отчаяния, – он чуть не отправился вслед за несчастным юношей на тот свет и решил испытать судьбу. Прибегнув ко всем способам, коими обычно пользуются влюбленные, он вскорости стал замечать, что его старания тщетны; однако, с каждым днем все более уступая своему чувству, наконец собрался с духом и объявил, что возьмет ее в жены, коли она согласна, и станет ей мужем. Девица, узнав про то, хотя и положила в душе своей навсегда остаться в услужении Христу, тем не менее поразмыслила о власти и могуществе дофина и, опасаясь, как бы в случае отказа тому не пришлось в голову сотворить над ней насилие, отвечала, что согласна, но пусть знает сну что берет бедную послушницу, изгнанную вон из родительского дома. Дофин, влекомый (как надлежит верить) божьей волей, невзирая на свое величие и на ее бедность, в присутствии епископа Вьенны, как она того

пожелала, человека святой жизни, за великую ученость почитаемого, и прочих весьма уважаемых особ, обвенчался с прекрасной девицей; видя ее красоту и царственные манеры, многие, не ведая, кем она была на самом деле, уверовали в ее благороднейшее происхождение, отчего только возросла любовь дофина к молодой супруге, в которой он души не чаял. Красота же девицы день ото дня расцветала, и, казалось, ни о ком другом в целой Франции не толковали, лишь о ней. После, когда все свершилось, дофин рассказал королю, своему отцу, и королеве обо всем по порядку и, уже обвенчавшись, спросил у них на то соизволения. Король весьма обрадовался, тем более что обратного пути не было, но королева, омраченная таким браком, много слов сказала и много дел сделала в осуждение неосмотрительности сына, который столь безрассудно дозволил молодости увлечь себя, и решила, что этого ей не стерпеть. Не имея других средств, задумала она через погибель юной женщины утолить свою в неправедном сердце выношенную Злобу. Тем временем король глубоким старцем окончил жизненный путь, и дофину надлежало согласно церемониальным обычаям отправиться в Париж, дабы вступить во владение королевством. Оставив дражайшую супругу под охраной нескольких дворян, коим весьма доверял, он отправился туда и был с большим торжеством возведен на французский престол; и долго не кончался большой праздник. Это всеобщее ликование лишь разожгло в душе матери молодого короля умысел известить его юную супругу, но исполнить задуманное ей не удалось, поскольку тому препятствовали телохранители молодой женщины, назначенные самим королем. Тогда, не сумев с помощью яда добиться желаемого и не зная, как по-другому насытить свою ненависть, какую несправедливо питала к невестке, она тайно повелела своим доверенным людям, примеченным для такого злодейства, послать письма ее сыну якобы от имени тех, кому поручил он стеречь жену, где было бы написано, что оберегаемая ими женщина прелюбодействовала с неким простолудином и тем проявила свое презренное происхождение, ничтожность родителей, и далее в подобном духе. Гнусные и коварные приспешники королевы с усердием написали все это королю, который всего чего угодно ожидал, но не такого. И нет нужды спрашивать, сокрушался ли он. С одной стороны, им владела бескрайняя любовь к безвинной молодой супруге, с другой же стороны, не покидало его справедливое негодование о таком безумном поступке. Наконец он написал в ответ, чтобы до его возвращения жену оберегали, как и прежде, поскольку он сам желал дознаться о столь тяжком преступлении и, если все окажется правдой, наказать ее со всей подобающей суровостью. Но мать короля, что денно и нощно не смыкала глаз, этот ответ перехватила и взамен написала другой, где будто бы король распорядился по получении письма несчастную его супругу без промедления убить, а коли не выполнят приказ, он, вернувшись, посчитает сие величайшим оскорблением короны. Прочли эти лютые письма достойные мужи и более, чем можно вообразить, пришли в смятение. Не разумея, откуда такому взяться, они стали ревностно перебирать в памяти все ее непорочные и святейшие деяния, коим были свидетелями, и в один голос утверждали, что столь прекрасной, столь похвальных правил и целомудрия женщины нигде более не сыскать; и не нашлось среди них смельчака, кто отважился бы исполнить жестокий приказ. Правда, они не показывали ей королевское письмо, но и любезное обхождение, каким обыкновенно окружали ее, прекратили; заметив это, прозорливая дева стала теряться в догадках, но, видя, что подобное отношение к ней продолжалось, она призвала их к себе и смиренно молвила:

– Я по некоторым признакам узнала, что вы немилостивы ко мне; может статься, сама не ведая, я в чем-то не угодила вам или даже разгневала короля, моего господина? Так жальтесь над моими юными годами и укажите путь, по какому мне идти; я же буду стараться не обижать вас более.

Тут достойные мужи со слезами на глазах показали ей письма короля и умоляли отыскать способ, дабы не запятнать свои руки невинной и праведной кровью и в то же время не навлечь на себя королевский гнев. Кроткая дева, с юных лет привыкшая сносить изменчивые превратности Фортуны, решилась, не дрогнув сердцем, встретить и этот готованный ей удар и без слез, без всяческих женских страхов молвила:

– Друзья мои, при мысли о том, что вы останетесь свидетелями безгрешности моей и непорочности, радость разливается по душе и никакое испытание не страшно, ибо

владею средством, хранящим меня от не меньших невзгод; и, если позволите, оно станет оберегать меня, даже когда, изменив свой облик, я уйду так далеко отсюда, что ни одного известия обо мне вы не услышите и сможете всем сказать, что свершили расправу; я же, клянусь жизнью, которую вы мне подарите, никогда этого не забуду, удалюсь отсюда, и вы сможете жить спокойно, сохранив себя от гнева божьего и равно от гнева господина вашего и моего. Когда же вам угодно будет по-иному со мною обойтись, то я не воспротивлюсь окончить дни мои, как того пожелал мой господин, повиноваться которому до самой смерти для меня есть счастье великое.

При этих словах не сдержали слез достойные мужи и, без труда уговорившись поступить, как она задумала, порешили, что один из них препроводит ее до Марсея, где она взойдет на корабль; следующей же ночью злосчастная дева пустилась в дальний путь, чем привела в бешенство жестокую свекровь, но, как вскоре сами узнаете, ненадолго. Сколь полна Фортуна, о прелестные дамы, превратностей, коих следует опасаться! Когда мы, задобрив ее лестью, полагаем, что можно мирно почивать, тут-то она и обрушивает на нас непредвиденные удары и отнюдь не успокоение сулит. И вам легко понять, каково было молодой женщине, потому что именно в то время, когда она менее всего думала о коварстве, в надежде стать могучей и богатейшей королевой и пребывать в величии подле мужа своего, Фортуна бросила ее почти на самое дно нищеты. Пришлось ей, словно скверной, дурной женщине, прикрыться жалкими лохмотьями и, никому неизвестной, влачиться по свету с младенцем в утробе и почти на сносях, хотя все это было далеко не самым горьким в ее злоключениях! Но господь, справедливый к деяниям смертных, уготовал ей куда более почетный удел и не потерпел, чтобы коварство свекрови осталось безнаказанным. Потому король, закончив торжественный ритуал коронации, немедля прибыл во Вьенну, горя желанием убедиться, что недобрые известия о любимой им более самого себя супруге окажутся ложными и злонамеренно сочиненными (как и было на самом деле). Когда же не нашел ее и узнал, что по его собственному приказу она умерщвлена, такая ярость его обуяла, какой дотоле никто не испытывал; а проведая, что тому причиной мать родная, — хотя и пытались некоторые бароны с мольбами отговорить ее от злодейства, — в страхе укрывшаяся теперь в своем замке, пошел на, нее войной, захватил город и без пощады предал его огню и мечу, не оставив камня на камне. Однако супругу он этим не вернул и долго жил в непреходящей скорби и неслыханных муках, горько оплакивая свои страшные несчастья и гибель невинной девы, которая к тому времени сумела добраться от Марсея до Рима, испытав на пути множество опасностей и невзгод, и найти пристанище в монастыре святых женщин, где немного погодя подошло время ей разрешиться от бремени; там с их помощью она и родила на свет великолепного сына, как две капли воды похожего на отца, и счастлива была безмерно, ибо появился в ее плачевной юдоли верный и нежный спутник. Обратив на него все Свои помыслы, она стала прилежно вскармливать мальчика; и, хотя в непрестанных сомнениях и нужде нищей скиталицей обреталась, все же с переменой судьбы не утратила королевского величия и не позабыла благороднейших манер, о которых чудесная молва из монастырских стен разнеслась по всему Риму настолько, что долетела до супруги императора Генриха, только что родившей на свет прелестного мальчика; та распорядилась, чтобы целомудренная скиталица против воли покинула монастырь и перебралась в императорский дом, дабы ходить и за этим младенцем. Так воспитывались вместе оба мальчика, манерами и достоинствами столь похожие друг на друга, что, казалось, вышли из единого чрева; оттого бесконечно возросла любовь Генриха и императрицы к благороднейшей кормилице, и стали они ее не кормилицей, но желанной сестрою величать и любили с нежностью. Тут подошел конец всем угрызениям французского короля; господь подсказал ему, что должен он предстать перед папой, дабы получить отпущение грехов за содеянное над матерью. Он же, словно новоявленный Орест[69 - Орест — герой греческих аргосских сказаний, сын царя Агамемнона и Клитемнестры. Возвратившийся из-под Трои Агамемнон был предательски убит своей женой Клитемнестрой и ее возлюбленным Эгистом. Мстя за отца, Орест убил мать и любовника. За пролитую кровь матери его долго преследовали богини мести Эриннии.], чувствуя на душе тяжесть и муки нескончаемые от столь страшного злодеяния, отправился в сопровождении почтенных мужей в Рим, где был достойно принят и получил от святого отца всепрощение и полное отпущение грехов, какие помнил и не помнил.

Расставаясь с ним, Генрих устроил в честь короля, как требовало величие обоих, торжественный обед, за которым по воле императора гостю прислуживали два маленьких пажа. Он же не мог оторвать от них взгляд, с каждой минутой все более восторгаясь их благовоспитанностью и подмечая про себя манеры мальчика, который, как ему сказывали, был сыном кормилицы, что заодно вырастила и императорского сына. Чем с большим вниманием он приглядывался к нему, тем более тот ему нравился. И хотя король понимал, что негоже разлучать детей, все же, движимый необъяснимым чувством, стал просить императора отдать ему мальчика, обещая сделать того великим человеком и держать при себе в почете и славе. Император отвечал, что ему приятно это слышать, но он не отважится на такое без согласия матери, с которой, однако, попробует побеседовать и уговорить ее, и вот после званого обеда он велел кликнуть кормилицу в свои покои и стал держать такую речь:

– Королю Франции столь по душе пришлись манеры и похвальная благовоспитанность вашего сына, что задумал он просить у вас его; не откажите ему, мадонна, ибо великий король несомненно – даст полное благополучие сыну вашему, в чем клятвенно вас заверяет.

Приходилось ли досточтимой молодой женщине когда-либо испытывать подобную пронзительную боль в сердце? Не сумев сдержать слез, она ответила:

– Мой господин, я не могу отказать королю Франции в том, о чем он просит, как нельзя законным владельцам отказать в их собственности: мальчика этого нет нужды уступать ему, потому как мальчик – сын короля, рожденный мною, а я – раба его недостойная.

На что удивленный император сказал:

– Мы так и думали, что не от мужа вы младенца понесли; значит королю Франции вы были подругой?

– Нет, – отвечала молодая женщина, – не подругой, но законной женою.

И, молвив это, залилась слезами и обо всем, что с ней произошло с того самого дня, когда очутилась она во Вьенне, вплоть до последнего часа ему рассказала. Рыдания подступили к горлу императора; он и раньше кое-что слышал об этом, а потому вполне поверил ей, пустился укорять женщину, зачем не открылась до сей поры, и просил позволения возратить ее вместе с сыном супругу. На том они с императрицей и порешили. Был устроен еще один обед в честь короля, и вновь за столом, как и в прошлый раз ему прислуживали два пажа. Обед тянулся долго, и показалось императору, что настало время утешить гостя великой новостью, какую тот менее всего ожидал. Окончив трапезу, все перешли в покои, где находилась молодая женщина, одетая в те самые лохмотья, в которых бежала из Франции и которое тщательно сберегла. Тут Генрих обратился к королю со словами:

– Монсиньор, пришло время исполнить мое обещание, и даже более того: вы просили сына, а мы и мать вам даруем.

Правда, один человек, рассказавший мне эту историю, утверждал, что не блиставший ученостью император будто бы сказал, даруем вам теленка заодно с коровой, – и что якобы при этих словах король Франции необыкновенно разгневался; впрочем, это не весьма достоверно.

Император продолжал:

– Ребенок этот – сын ваш урожденный, а женщина – супруга ваша, вы-то думали, что она погибла.

Король, глядя то на одного, то на другую, вдруг узнал жену. И едва не умер от

счастья; с нежностью заключив ее в объятия, он долго не мог от изумления выговорить ни слова. Юная женщина от избытка радости лишилась чувств, так что императору, со стороны взиравшему на это, пришлось с помощью холодной воды возвращать в тело покинувшую его было душу, после чего супруги вновь с радостью бросились в объятия друг друга, и каждому не терпелось поведать о своих злоключениях. Король повелел облечь жену в благороднейшие одежды и осыпать великолепными драгоценностями; когда это сделали, она такой красавицей пред всеми явилась, что по достоинству ее великой дамой стали величать. Весть, об этом событии скоро облетела весь город, и поэты (тогда не было еще ли Виды, ни Санги с Фламинием[70 - Мольца перечисляет трех поэтов-гуманистов, пользовавшихся в первой половине XVI века известностью и, видимо, хороших знакомцев самого Мольца.]) воспели его в нескончаемой славе. Спустя несколько дней, будучи безмерно счастлив столь удивительной находкою, король вместе с королевой и сыном отбыл во Францию, и Фортуна еще в пути уготовала им нежданную радость: не успели они достаточно удалиться от порта, как повстречали герцога Ланкастерского; на небольшом быстром корабле он те же волны стремительно рассекал, однако по приказу короля немедленно остановился и сообщил, что король Британии переселился в мир иной, вследствие чего королевство досталось теперь его дочери; он, герцог, пустился по белу свету, надеясь отыскать ее в одном монастыре среди богомольных женщин или разузнать, что с нею случилось, и намерен искать до тех пор, пока не услышит о ней какое-либо известие. При словах герцога глубочайший вздох вырвался из груди королевы; поднявшись, она воскликнула:

– Ах, сил моих нет! Я двенадцать лет нищей скиталась по земле, ожидая всего, но только не этого! Теперь же, не таясь, говорю, что я будто и не жила вовсе по вине презренного отца! О герцог, я и есть горемычная дочь Одоарда, короля британского, твоя племянница; а это – король Франции, ваш родственник и мой муж, от которого, соединившись законным браком, произвела я на свет этого мальчика.

Какова же была радость герцога оттого, что столь неожиданно нашел он племянницу, к тому же в облике счастливой матери прелестного сына и супруги высочайшей особы. И какова была радость короля, когда вдруг услышал он о благороднейшем происхождении супруги своей; и невозможно в полной мере передать словами, как радовалась королева, вновь видя перед собою своего верного друга по самому первому несчастью, герцога, которого она уже давно мысленно похоронила. Наконец, достойно и на славу отпраздновав встречу, они продолжили путь, донельзя обласканные Фортуной, без единого разлада добрались до дома, где вступили во владение всей Британией и жили в мире и согласии до глубокой старости. Королю супруга принесла другого сына, которого он, почив вечным сном, оставил наследником Британии; первый же сделался королем Франции, и при нем англичане всякий раз на рождество прислуживали за столом супруге французского короля. Обычай этот долго соблюдался; однако впоследствии другим, принявшим бразды власти королевской, показалось, что он слишком оскорбляет их величие, и отменили его, из-за чего величайшая ненависть родилась между двумя народами и длится до сих пор. Так Фортуна, взявшись за дело куда более ретиво, нежели Аргус с Линкеем[71 - Аргус – стоглазый страж богини Геры; Линкей – герой греческой мифологии, сын Афарея, отличался необыкновенно острым зрением. В переносном значении Линкей – зоркий страж.], сумела в самые, казалось, безысходные минуты безмерно осчастливить наших героев. А посему станем молить господа бога, дабы и нас не обошел он своею милостью.

Луиджи Аламанти

Ее милости, великолепной синьоре, мадам Батине Лакрара Спинола

Бьянка, дочь Тулузского графа, отвергает предложение сына графа Барселонского, заподозрив его в скупости, которую юноша выказал во время сватовства. Отец девушки, давший некогда торжественную клятву своей жене, не может принудить дочь к браку,

хотя это родство примирило бы двух синьоров, долгие годы жестоко враждовавших. Благодаря необычайному стечению обстоятельств Бьянка становится женой юноши, которого любовь вынуждает принять обличие торговца драгоценностями, не ведая, кто он. Долгие и тяжелые испытания девушка переносит с благородной стойкостью. Наконец муж, насладившись местью за ее отказ, открывает ей свое истинное имя, и они счастливо живут вместе долгие годы

Тщетны и пусты речи тех, великолепная синьора, кто утверждает, будто силы природы главенствуют над силами любви. Если бы я захотел привести все множество известных мне доводов и фактов, опровергающих эти речи, то наскучил бы вашей милости, а сам бы чрезвычайно утомился; вместо всего этого мне хотелось бы показать вам пример близкий и знакомый: себя самого.

У меня, – которого природа, эта щедрая расточительница талантов, лишила многих своих даров, – она отняла самый ценный дар, дар памяти, а память, когда нужно что-то забыть, спешит это сделать побыстрее, а когда надо запомнить, то не торопится. Однако как-то мне довелось услышать из ваших уст одну новеллу, или, вернее сказать, историю, не только прекрасную, но и глубоко поучительную, и она врезалась в мою душу с такой силой, что запечатлелась в памяти навсегда. И что было причиной сего, как не любовь, которая даровала мне вдруг, хотя я недостоин вашей милости, не только память, но еще множество других способностей и будет еще долго одарять меня впредь.

Но, отложив разговор об этом до другого раза, я имею намерение написать ту самую новеллу, повторив слово в слово все сказанное вашей милостью, поскольку я не скуп и не завистлив и хочу поделиться с другими своим богатством; покорнейше прошу прощения, ежели, рассказывая о людях и событиях, мое перо позволит себе некоторую вольность, которую не позволили себе ваши уста, – стараясь ни в коей мере не смутить вашей извечной скромности. Но моя новелла будет отличаться от рассказа вашей милости тем же самым, чем отличается портрет от живого человека: на портрете можно различить черты лица, тело, руки, ноги, а в живом человеке, кроме всего вышесказанного, есть еще душа, мимика, жесты и та естественность, которую более всего ценили древние. Поэтому, приступая к своему делу художника, без лишних слов начинаю рассказ.

В Лангедоке, который еще не был под эгидой Золотых лилий[72 - Под «Золотыми лилиями» следует понимать Францию (лилия – французский герб), присоединившую Лангедок в XIII в.], жил граф Тулузский по имени Ренато, которого все очень любили за его добрый нрав, а особенно за его прекрасных сыновей, воспитанных лучше, чем сам французский дофин; кроме двух сыновей, была у него еще младшая дочь, которую все, кто знал, считали самой красивой, умной и милой девушкой, когда-либо встречавшейся им.

Однако небу было неуютно дать полное счастье графу: его жена, сестра тогдашнего графа Прованса, с которой он жил душа в душу, умерла, еще не достигнув тридцати пяти лет от роду, повергнув его и всю страну в глубокую скорбь. Когда она была при смерти, то призвала к себе графа, своего супруга, и, испросив у него прощения за все обиды, которых она никогда не причиняла, поручила ему, заливаясь горячими слезами, своих детей, особенно дочь по имени Бьянка, добавив, что он должен сделать ей, своей супруге, последний в жизни подарок: поклясться бессмертием своей души, дать ей нерушимое слово, что никогда не выдаст дочь замуж за человека, будь он хоть сам король Франции, которого та сперва не увидит, не узнает и не полюбит, присовокупив при этом, что для молодой девушки не может быть ничего лучшего, как получить право самой выбрать себе по душе супруга, с которым она должна провести всю жизнь и с которым ее могут разлучить либо позор, либо смерть.

Граф, услышав скромную просьбу любимой супруги и понимая, что говорит с ней в последний раз и в последний раз должен оказать ей милость, клятвенно заверил ее,

горько плача, что как она желает, так оно и будет; не отходя ни на шаг от жены и утешая ее (а утешать часто бывает труднее, чем выслушивать утешения), он, не выпуская ее из рук своих, увидел, как душа ее отлетела. Она была торжественно, как и подобает графине, погребена в главном соборе Тулузы, где и теперь можно увидеть ее гробницу.

А тем временем в Каталонии, которая не была еще владением короля Арагона и Кастилии[73 - Уния Каталонии и Арагона произошла в XII в., а объединение Арагона с Кастилией в самом конце XV в.], жил граф Барселонский по имени дон Фернандо, который из-за соседства земель и из-за соперничества в славе долгое время пребывал в состоянии войны с графом Тулузским; и между ними, то в пользу одной, то в пользу другой стороны, – первого поддерживал король Испании, а второго – король Франции, – происходили бесконечные, кровопролитные битвы.

Мы часто видим, как войны между нынешними князьями, начинаясь из-за пустого тщеславия и глупой амбиции, приводят в конце концов к обоюдному истощению и разорению; так и эти двое, по прошествии времени понеся взаимный урон, поняли, что их вражда приводит только к тому, что за их счет обогащаются соседние государства, а недруги радуются их неудачам. И они порешили прийти к такому соглашению, которое без позора и ущерба для обеих сторон принесло бы им мир. И чтобы закрепить новую дружбу, они приняли следующее решение: дабы все старые распри, которые затихли с наступлением мира, были навеки забыты, им следует породниться, – кстати, у Тулузского графа была дочь, а у графа Барселонского из троих детей остался один сын. Переговоры были недолгими, быстро сошлись насчет приданого: за невестой давали Салсу и Перпиньян либо деньги и золото, которые ссужал граф Прованса, разбогатевший благодаря мудрому правлению своего министра Ромео, в залог за земли, граничащие с Арлем и Тарасконом.

Когда покончили с этим, то осталось выяснить только одно: граф Тулузский, памятуя о своем обещании, данном жене, сказал, что все будет в порядке, если молодой граф понравится его дочери, которую он поклялся выдать замуж только за того, кто станет ей мил. Никто не придавал этим словам особого значения, ибо никто не сомневался в благоприятном исходе дела, поскольку, помимо высокого положения и знатного происхождения, юноша обладал прекрасной наружностью, был до чрезвычайности добродетелен и сверх меры наделен редкостными и блестящими качествами, коими не мог похвастать никакой другой, – я не говорю о принцах крови, которых раз-два и обчелся, – знатный дворянин во всей Европе того времени; даже не верилось, что он родился в Барселоне, но это так, и до сих пор о нем рассказывают чудеса, потому как ни прежде, ни во время оно никто не мог с ним сравниться и мало надежды на то, что в будущем можно встретить ему подобного.

Тем часом юношу, оставившего в ожидании предстоящей свадьбы отца и свою страну, с большим почетом и огромной свитой проводили в Тулузу, где он был встречен с не меньшим почетом и любовью, как подобает встречать дорогого гостя и любимого сына; не были забыты ни французская куртуазность, ни испанская церемонность, которыми в то время, благодаря близкому соседству, умели пользоваться как одна, так и другая сторона.

Когда гостю были оказаны первые почести, его повели во дворец, где представили невесте, одетой с королевской пышностью. Девушка, обладавшая удивительной красотой, редкостной грацией и прекрасными манерами, приняла его так любезно и так учтиво, что восхищение, любовь и нежность охватили молодого графа, который прежде, зная о ней понаслышке, стремился завладеть ею, то теперь при виде ее воспылал такой страстью, что не хотел более медлить со свадьбой ни минуты.

Дочь, которую отец заранее обо всем предупредил, с не меньшим интересом разглядывала юношу, но делала это стыдливо и исподтишка, как то велела ей женская скромность, и он своим обхождением, приличествующим влюбленному и знатному юноше, был приятен ее взору.

Обменявшись первыми приветствиями, все расселись за столы, ломившиеся от разных яств и вин, какие только можно было найти в это время года в той стране. После обильного обеда принесли в великолепных вазах плоды гранатов, которые принято было подавать, по местному обычаю, в конце трапезы, чтобы омыть рот от всех запахов пищи.

Молодой граф тоже взял плод граната, – из-за этого и произошло все несчастье, – и вдруг одно зернышко граната нечаянно выскользнуло из его руки; юноша, желая, как утверждал он сам и многие свидетели, показать ловкость и проворство, быстро подхватил зернышко на лету почти у самого пола и отправил его в рот.

Невеста же, – злой рок ли тут вмешался, или сам поступок показался девушке недостойным человека столь высокого положения, – в душе была сильно обеспокоена и про себя подумала: «Я часто слышала от людей, которые не станут лгать, что каталонцы самые жадные и скаредные люди на Западе; и хотя я увидела в неги то, что мало присуще испанцам, это ничего не значит, – ведь с помощью хитрости можно достигнуть чего угодно, особенно когда один человек хочет обмануть другого, а это давно в обычае у всех каталонцев. И глуп тот, кто не сумеет, прикрываясь некоторое время блестящими манерами и прекрасными словами, довести свои замыслы до конца, а затем вернуться в свое истинное состояние; но скупость, мать всех пороков, – это я усвоила от одного своего учителя, – имеет ту особенность, что ее не может скрыть даже самый искусный притворщик. Щедрый человек меньше жалеет свое добро, которое у него забирают, чем скупой, который устроен так, что ему жалко не только своих денег, но даже денег своих врагов. И ежели он таков (а таким я его несомненно считаю: коли он при этом обилии пожалел зернышко с чужого стола, то как же он будет трястись над своим собственным золотом), что станет со мною? Может ли быть большее несчастье для девушки благородной и щедрой души, чем выйти замуж за богатого и алчного человека? Ей самой это принесет только горе и страдание, а для других послужит забавой и поводом для насмешек. Пусть боги избавят меня от этого, и лучше я буду до конца дней своих, до самой старости жить так, как я жила до сих пор, чем пребывать с ним в постоянной скорби и раскаянии, расплачиваясь за свой слабый ум; и пусть мой старый отец говорит что угодно, но я прекрасно знаю одно: безумен тот, кто, уступая просьбам других, вредит самому себе». Так обо всем подумав про себя, она на том и порешила.

Когда пир закончился, граф Тулузский, с любезного разрешения каталонца, взял дочь за руку и отвел в ее покои; тут он с отеческой заботливостью спросил о ее воле, и она чистосердечно призналась, что скорее останется на всю жизнь одна, чем станет жить с человеком чуждых ей взглядов. Услышав подобные слова, отец, который был хорошего мнения о молодом человеке, сильно огорчился, размышляя про себя, что дело, которое было задумано ради мира и во благо всей страны, может обернуться взаимным истреблением и нескончаемой войною между соседями. Спросив у дочери о причине отказа и узнав ее, он начал громко смеяться, поскольку она показала ему пустячной, и стал пытаться переубедить дочь, но все усилия его были тщетны, так как она твердо стояла на своем, говоря, что ежели он нарушит слово, данное ее матери, и выдаст ее замуж насильно, то она наложит на себя руки, расстанется с жизнью и тем самым избежит несчастной участи. Старый граф, памятуя о своем обещании покойной жене и тронутый жалостью к дочери, произнес, чуть не плача, следующие слова: «Если он тебе не по душе, то делать нечего; раз ты этого не хочешь, неволить тебя я не стану». Вернувшись из покоев дочери и рассуждая о том, куда может завести женщину воображение, как упрямы они, действуя себе во вред, он, извлекая из души все, какие только мог, благовидные предлоги и любезные слова, в конце концов дал попятить графу Барселонскому, что дочь его ни под каким видом не желает выйти за него замуж. Слова эти, словно острые стрелы, пронзили душу каталонца, и они тем более ранили его, что он уже не сомневался в своем успехе и цель казалась ему близкой. Скрыв в душе обиду и боль, он ответил с горькой усмешкой, что не он первый, такое бывало и с людьми более достойными, чем он, когда им приходилось терпеть крах всех своих надежд; и уж если так случилось, то ему надобно с миром возвращаться в Барселону, но в награду

за свое долгое путешествие он просил сказать, чем же он не понравился дочери графа, дабы впредь по возможности исправиться. Старый граф, одновременно и стыдясь и отнекиваясь, вынужден был в конце концов сказать все как есть. Каталонец, со смехом выслушав рассказ, ответил: «Теперь, если мне придется свататься в другой раз, я буду это делать в то время года, когда гранаты еще не созреют, поскольку из-за них я утратил жену, как Церера утратила свою дочь»[74 - Речь идет о Персефоне, похищенной Плутоном. Плутон заставил ее проглотить гранатовые зерна, символ нерасторжимости брака.]. А потом добавил, что он уважает волю супруги и дочери графа и не хочет навязывать им свои желания, но все, что произошло, не должно омрачать их истинную дружбу и нарушать недавно установившийся мир; потом он постарался перевести разговор на другую тему; так прошел первый день, который принес ему мало радости.

На другой день, скрывая в душе свою обиду, он весьма любезно распрощался с девушкой и со всеми остальными и поспешил в Каталонию, поскольку путь был не близкий. Доехав до границы государства, он отпустил свою большую свиту, сказав, что хочет посетить святые места, которые находятся неподалеку, – и все решили, что речь идет о нашей чудотворной Донне Монферрато, – и, поскольку подобные странствия надлежит совершать скромно и без свиты, он хочет взять с собою двух верных друзей и смиренно исполнить свой обет перед богом с величайшим рвением.

Когда вся свита отбыла и юноша остался лишь со старыми сокровенными друзьями, он поведал им о своих замыслах; они отпустили коней и все трое пешком отправились обратно в Тулузу, переодевшись в другое платье. Граф превратился в торговца драгоценностями, – такие в те времена бродили по Парижу с ящиком за плечами, да и по сей день их можно встретить как во Франции, так и в Италии, они беспрепятственно заходят в любые дома и предлагают свой товар знатым дамам и богатым господам.

Накупив драгоценностей, дорогих золотых украшений и разных безделушек, молодой граф сложил все в ящик, добавив несколько своих очень красивых драгоценных камней (а их он привез великое множество в подарок своей будущей супруге), однако особенно ценные камни припрятал подальше, чтобы не прослыть слишком богатым, сбрил бородку, которую носили в те времена все каталонцы, и заявился один в Тулузу в твердой уверенности, что это самый верный способ, который оставляет ему судьба, – изредка видеться и разговаривать со своей дамой.

Так с утра до ночи ходил он по городу, продавая, если посчастливится, то одному, то другому свой товар, но чаще всего бродил возле дворца, где тогда жил граф Лангедока, в надежде переговорить хоть разок с той, которую, сперва из любви, а потом от обиды, не забывал ни на минуту.

Ждать пришлось не слишком долго. Как-то вечером, после особенно жаркого дня он увидел на балконе прекрасную, очаровательную дочь графа, одетую в белое платье, в обществе нескольких придворных дам. С глубоким трепетом в душе он, низко кланяясь, приветствовал их и спросил, не желает ли кто-либо из дам купить что-нибудь из его товаров прекрасного качества по сходной цене.

Графиня и придворные дамы нимало не рассердились на его слова, поскольку обычаи этой страны позволяли подобное обращение, кликнули его к себе, окружили и стали разглядывать товары; каждая из них и все вместе брали то одну вещь, то другую, спрашивали наперебой цену и советовались с ним, а он, будучи человеком мало сведущим в этом деле, не знал, что и отвечать; единственное, что ему удавалось, это, глядя все время на графиню, отвечать только на ее вопросы. Распродав задешево множество вещей, особенно приглянувшихся дамам, он удалился, поскольку наступил час вечерней мессы.

Так продолжалось довольно долго. Почти каждый день он оказывался все в том же обществе дам, и вскоре они так к нему привыкли, что беседа с ним забавляла их, а это, естественно, вызывало зависть его собратьев по ремеслу, услугами которых дамы

перестали пользоваться, заявив им следующее: «Мы хотим сохранить верность нашему Наваррцу». (Граф сказал, что он родом из Наварры, поскольку не мог назваться французом, так как не владел в совершенстве языком и не желал признаваться, что он испанец.)

Спустя несколько дней граф, уловив удобную минуту, когда никто не мог его услышать, сказал одной камеристке графини, – той, которую, как ему показалось, более других любила графиня и которая к нему относилась благосклоннее остальных, поскольку он несколько раз уступал ей свой товар дешевле его истинной цены, – что неподалеку отсюда у него припрятан такой прекрасный драгоценный камень, какого никто никогда на всем белом свете не видывал, но он боится носить его с собой, опасаясь грабителей; камень этот очень ему дорог, поэтому он его никогда не продаст, даже если бы ему предложили за него все блага мира. Тут он замолчал и, более не говоря ни слова, вскоре удалился.

Камеристке не терпелось сообщить поскорей своей госпоже все, что она услышала от Наваррца. – Когда настало время сна и камеристка помогала своей госпоже раздеваться, она рассказала ей об удивительном и прекрасном камне, обладающем волшебной силой, добавив при этом, – между ними было принято говорить все начистоту, – что, будь она на месте графини, она нашла бы способ во что бы то ни стало завладеть камнем, и, хотя Наваррец твердо решил его не продавать, она бы не остановилась ни перед чем, не убоившись даже самой смерти. Этими словами она так подзадорила молодую графиню и вселила в нее такое великое желание заполучить этот камень, что та всю ночь только о нем и думала и в своих снах только его и видела; а утром, чуть свет, она послала камеристку разыскать Наваррца и просить его от ее имени и умолять, чтобы он согласился продать ей камень, а если это будет невозможно, то пусть она приложит все усилия, чтобы он хотя бы показал ей драгоценность, поскольку она надеялась, что желание иметь камень, о котором она знала понаслышке, возможно, пройдет, когда она его увидит.

Камеристка пошла к Наваррцу и изложила ему желание своей госпожи; он чрезвычайно обрадовался этому и принялся снова на чем свет стоит расхваливать свой алмаз, и если он и накануне вовсю расписывал его достоинства, то теперь стал возносить их до небес, снова без конца клянясь и утверждая, что он скорее расстанется с жизнью, чем со своей драгоценностью; но, зная доброту и благородство графини, он будет рад показать ей камень, с условием, что, кроме них двоих, там, куда он его принесет, никого не будет. Камеристка, видя, что большего ей не добиться, согласилась на это и, условившись с ним о времени встречи, вернулась к графине и все ей рассказала.

Когда пришел назначенный час, прибыл Наваррец и принес долгожданный драгоценный камень. Это был отшлифованный алмаз такого огромного размера и такой необычайной и красивой формы, какого она никогда ранее не видывала. Он попал в руки старого Барселонского графа от каталонских корсаров, которые занимались морским разбоем между Гибралтарским проливом и островом Мадейра и которые захватили его у норманнов, тоже корсарствующих в этих морях; и так как они оказались слабее каталонцев, то те захватили всю их добычу, а их самих взяли в плен; говорят, что потом этот алмаз находился долгое время у Неаполитанского короля, а теперь им владеет турецкий шах, и, хотя у него великое множество драгоценных камней, этот алмаз ему особенно дорог.

Когда Наваррец пришел, он, прежде чем показать алмаз, стал громкими словами в духе испанского красноречия неумеренно восхвалять его, уверяя, что более всего он ценит в этом алмазе не так его красоту, как великую волшебную силу; после этого, выказав свое расположение графине и утверждая, что другим он только смог бы показать алмаз, но никогда не сообщил бы о его чудесных свойствах, он протянул ей камень. Графиня взяла алмаз, и, чем больше она его разглядывала, тем прекраснее он ей казался, – а камень и в самом деле был великолепен, и ею овладело столь сильное желание заполучить алмаз, что она, казалось, не могла больше жить без него; однако она старалась скрыть это и делала вид, что только любит им. Потом она попросила

Наваррца, который был весьма доволен результатом дела, сообщить ей о волшебных свойствах камня, на что тот долго не соглашался, а потом, будто сделав над собою величайшее усилие, ответил так: «Синьора, часто случается, что человек, когда ему надобно Припеть какое-либо серьезное решение, находится в сомнении, и вот тогда он заглядывает внутрь этого камня и, если принятое решение принесет ему успех, видит, что камень становится таким ясным и прозрачным, будто в нем спрятан солнечный луч, а если решение не сулит ничего доброго, то он становится темным, как безлунная ночь. Есть люди, кои утверждают, что это – философский камень, который долго и тщетно искали многие, а другие считают, что камень – творение алхимиков, а не природы; были и такие, кои говорили, что алмаз принадлежал Александру Великому, который без него не отправлялся ни в один поход; а потом он якобы перешел к Юлию Цезарю; благодаря этому камню и тот и другой считались непобедимыми, как вы, вероятно, неоднократно слышали». Сказав это, Наваррец взял свой алмаз и откланялся.

Оставшись одна с камеристкой, графиня начала без конца повторять: «Если бы я владела таким прекрасным и редкостным предметом и могла бы ежечасно любоваться им, то вряд ли сыскался бы на свете человек счастливее меня. И коли в другой раз случится мне выбирать жениха, как было с графом Барселонским, то как бы пригодился мне совет моего алмаза!» И, говоря это, она заклинала свою верную камеристку во имя любви к ней пойти снова к Наваррцу и попытаться сделать все, чтобы он уступил ей свою драгоценность за любую, какую он сам назначит, цену. Камеристка, давно утратив всякую надежду, отправилась все-таки к нему, но все уговоры были тщетны: и в первый и во второй раз он отказался не только продать камень, но даже снова показать его кому-либо. На третий раз, считая, что настало время исполнить то, что он задумал с самого начала, Наваррец сказал: «Мадонна, поскольку ваша настойчивость и красота и грация вашей госпожи тронули мою душу и вынуждают расстаться с такой дорогой для меня вещью, то пойдите к графине и передайте следующее: я ей, конечно, отдам алмаз, ежели она согласится в награду за это провести со мною одну ночь так, как если бы я был ее мужем; а коли она не согласна, то ни деньги, ни любое другое вознаграждение мне не нужны, и пусть в таком разе она избавит себя от этой прихоти, а меня от лишнего беспокойства».

Камеристка передала госпоже весь разговор, добавив, что ежели та не намерена исполнить его волю, то нечего ходить к нему и понапрасну тратить слова, ибо она убеждена, что ничто уже больше не поможет.

Гордая графиня страшно прогневалась на Наваррца, грозилась наказать его за то, что он осмелился посягнуть на ее честь и пытался замарать ее чистое и высокое имя; а своей камеристке графиня с возмущением бросила упрек, что та не сумела убедить человека, равного ей по положению, что негоже ему обращаться к графине с подобными предложениями.

Камеристка с легкой улыбкой ответила: «Мадам, когда вы в первый раз послали меня к Наваррцу, я думала, что моей миссией будет передавать как вам, так и ему только то, что каждая из сторон говорит мне; я никогда не осмелилась подумать, что часть этих слов я должна утаить. Теперь коли вы недовольны тем, что я передала вам, то в том есть ваша вина, ибо вы мне не подсказали, что после подобных слов я должна была отчитать его, а вам ничего не говорить. Когда вы поручили это дело мне, я согласилась, хотя могла уступить его кому угодно, поскольку я не умею не только карать, но и порицать людей за их справедливые требования. Сам господь бог позволяет нам, как добрым, так и злым в равной степени, в молитвах, обращенных к нему, просить его исполнить и праведные желания и неправедные: он исполняет, когда сочтет нужным, первые, но не вторые; таким образом, я не знала, что вы хотите быть выше его. И чем вас так оскорбил Наваррец? Разве неведомо вам, что просить еще не значит отнимать или получать? Вы еще слишком юны и не умеете как следует отличить добро от зла; но если бы ваша голова была бела, как моя, вы судили бы иначе. Порой приходится говорить слова, подобные вашим, но надобно знать, где и кому; не здесь, не мне и не тем, кому вы доверяете, а чужим людям, – они хоть и не поверят вам, зато сочтут вас женщиной мудрой, которая хорошо знает свое дело, то есть умеет

искусно притворяться; но мне, которая всей душой предана вам и для которой вы – единственное благо на свете, не говорите так, поскольку я знаю, что высшая честь и самая большая радость для женщины – когда ее просят об этом, лишите ее этого, и она будет словно день без света, словно море без волн. Но, принимая во внимание ваш юный возраст, я покорно сношу ваш гнев и хочу сказать о другом: вы поступите мудро, ежели удовольствуете Наваррца и получите взамен чудесный драгоценный камень; таким образом, по моему разумению, вы совершите выгодную сделку. Разве сумеете вы дешевле отделаться, если станете платить ему этой монетой? Ведь чем больше ее третишь, тем больше ее остается. Грехом это считают только ханжи да старухи, которым ничего иного уже не суждено, а у молодых впереди еще целая жизнь: можно успеть покаяться господу богу в своих ошибках. А у тех ничего нет: ни благоприятного случая, ни желания, да их никто об этом и не просит. Честь теряют только тогда, когда об этом становится известно всем, мы же сделаем все втайне, и тем самым честь будет сохранена. Я высказываю вам свое мнение, как мать, а вы уж поступайте так, как сочтете нужным; но хочу предупредить вас: чем мудрее я становлюсь, тем больше старею, и мне очень жаль, что у вас нет моего опыта и моего разума, а у меня нет вашей молодости, красоты и высокого положения, – из трех этих качеств два первых утрачивают к сорока годам, а последнее становится только тяжким бременем. Этот торговец драгоценностями хотя и небольшой человек, но лицом, умом, манерами и всем прочим похож более на знатного синьора, чем на торговца. Если же теперь вы упустите этот случай, вы будете действовать в угоду своему капризу, а не так, как надобно поступать». Такими и другими подобными словами искушала старая камеристка молодую девушку, приводя в пример тысячу доводов и без конца повторяя одно и то же, поэтому графиня, утомившись от долгих и трудных споров, сомнений и дум, наконец сказала: «Ладно, ступай к нему и делай как знаешь; но только устрой так, чтобы мы встретились на одну ночь, да как можно позднее, дабы меня это не слишком обременило, а на тебя не навлекло нареканий. Ведь когда ты вот так пристанешь, то надо либо исполнить это, либо от тебя покоя не будет».

Камеристка ничего не ответила, а тотчас же отправилась к Наваррцу, велела ему этой ночью ближе к рассвету быть у задней калитки сада, захватив с собою драгоценный камень, и объяснила, как действовать дальше; как она сказала, так он и поступил.

Ночью, когда Наваррец передал графине свой алмаз, он сказал, что у него есть еще несколько камней не меньшей ценности, чем этот, и он с удовольствием уступит их ей за ту же самую цену. Камеристка, узнав все это от госпожи, стала ее уговаривать завладеть камнями, доказывая, что, снявши голову, по волосам не плачут. И графиня так прекрасно справилась с этим делом, что, кроме алмаза, заработала изумительной красоты рубин и огромный изумруд; Наваррец же сказал, что первый из них спасает от любого яда, а второй исцеляет от чумы, которая временами вспыхивает в Лангедоке, несмотря на то что покровителем края является святой Рокко из Монпелье[75 - Св. Рокко был родом из Монпелье, города в Лангедоке.]

Но, как всегда бывает, чего меньше всего ожидаешь, то и случается. Так и графиня спустя несколько недель, к великому своему горю, почувствовала, что затяжелела, о чем тотчас же сообщила камеристке, которая терпеливо стала ее успокаивать, говоря, что все надобно держать в полной тайне, что из любого положения можно найти выход, что не она первая, не она последняя, с кем такое приключилось, однако все женщины прекрасно выдают себя за девственниц, когда выходят замуж, и что если бы от этого выпадали волосы, то большая часть слабого пола носила бы чепцы. На это графиня, в которой проснулась ее благородная душа и заговорило величие, соответствующее высокому ее положению, ответила: «Пусть так поступают те, кому это угодно, а меня избавь, боже, от того, что я, не сумев избежать одной ошибки, усугубила ее другой. Никогда не стану я лживыми и пустыми клятвами выдавать себя не за то, что я есть на самом деле. Хочу, чтобы кара пала на мою грешную голову, а плоды я отдам тому, кто посеял семя. Я слишком долго следовала твоим советам, теперь с этим покончено, и если ты любишь меня и не хочешь обидеть, то ступай и приведи сюда Наваррца; а если уж я была так ничтожна, что отдалась ему, то впредь постараюсь возвыситься душою и не пойду на обман, чтобы принадлежать другому. И я тверда в своем намерении

следовать по тому пути, который уготовала мне судьба, твои опрометчивые советы и моя собственная неосторожность».

Камеристка, зная решительный характер своей госпожи и понимая всю бесплодность уговоров, привела к ней Наваррца, который часто встречался с графиней и давно заметил в ней перемену, — она побледнела и похудела, — но не придавал этому значения; теперь же, увидав ее, сразу разгадал, отбросив все сомнения, причину ее недуга. Графиня, хотя и была убита горем, не проронила ни единой слезинки и спокойно, как подобает смелой и мудрой женщине, а не молодой девушке, сказала ему так: «Друг мой, поскольку твоя счастливая судьба, а моя горькая планида, твое благоразумие, а мое недомыслие привели нас к тому, что я, рожденная в высоком звании, должна, чтобы не обманывать бога и людей, стать женой бродячего торговца, а ты, такой как есть, стать мужем дочери графа, то я прошу тебя не отринуть меня, а взять в жены и распорядиться мной как тебе заблагорассудится. Я понесла от тебя и не хочу оставаться здесь, дабы не причинять другим много беспокойства и огорчений, а на себя не навлечь стыд и позор; я даже готова уйти с тобой и жить в бедности; я скорее соглашусь обречь на страдания свое жалкое тело, которое этого заслуживает, чем нежить и лелеять его в покое, а самой ежечасно страдать душой и мучить других. Посему побыстрее устрой все свои дела, чтобы завтра, прежде чем наступит ночь, мы смогли отсюда уехать; имея с собой твои драгоценности и еще множество моих да кое-какие деньги, мы не умрем с голоду и отправимся туда, куда сочтем нужным, чтобы я до конца смогла понять, зачем я родилась на белый свет».

Граф Барселонский, которого мы не станем более называть Наваррцем, хоть и был несказанно рад этому, так как ничего другого и не желал, однако про себя подумал: а если бы он действительно был тем, за кого она его принимает, куда бы завела тогда ее судьба, которая правит нами, и как подчас легко провести женщину, особенно молодую, какой бы хитрой она ни казалась; после всех этих размышлений ему стало так жалко графиню, что он, сильный мужчина, едва не расплакался, чего она, слабая женщина, себе не позволила сделать, и он, взяв себя в руки, постарался как можно лучше скрыть свое волнение и сказал: «Синьора, я, как вам известно, всего-навсего жалкий и бедный торговец, и уж не взыщите, но я всю жизнь думал прожить холостяком, поэтому прошу вас избавить меня от этой обузы, а себя от беспокойства». Он хотел было продолжать дальше, но жалость к ней, желание обладать ею и страх, что она передумает, лишили его дара речи. А она ему в ответ молвила: «Друг мой, хочу тебе сказать только одно: опомнись, ведь самому счастливому человеку на свете за всю его жизнь судьба не пошлет подобного случая, который посылает сейчас тебе твоя счастливая звезда, а моя горькая планида, смотри, как бы она не разгневалась на твое безрассудство: ведь ты не хочешь взять в жены ту, которая так недавно отказала самому графу Барселонскому». От последних слов в душе графа вновь вспыхнула прежняя обида, а в разгоряченной голове роились мысли о предстоящей мести; поэтому он перестал артачиться и дал согласие взять ее в жены, раз она того желает и будет исполнять любую его волю и если она действительно готова вести жизнь жены бродячего торговца, а не дочери графа, готова вдвоем с мужем уйти пешком, как того требуют его положение и древние обычаи, а также во избежание риска, которому подвергается человек, похищающий дочь графа из ее собственного дома.

И, не узанные никем, условившись не говорить ничего ни единой душе на свете, кроме камеристки, которая вся в слезах проводила их, они, облачившись в одежду пилигримов, отправляющихся на моление в Сан-Якопо, что в Галисии[76 - То есть в Сантьяго-де-Компостелла, на поклонение мощам св. Иакова, покровителя Испании.], той же ночью отбыли.

Шум по этому поводу, как надо было, полагать, поднялся большой как в Тулузе, так и во всей стране; но мало кто мог себе представить истинное положение вещей, многие думали, что графиня, решив посвятить себя богу, укрылась в какой-либо женской обители. Поскольку в те дни, когда графиня почувствовала себя в тягости, она с еще большим усердием, чем обычно, обратилась к молитве и начала избегать общества своих подруг, постольку все легко поверили, что она ушла в монастырь, а камеристка,

которая одна знала, в чем дело, так хорошо разыграла роль обиженной и разочарованной, что у всех пропали последние сомнения.

По этой причине и еще потому, что беглецы вскорости покинули Лангедок, их так и не нашли, хотя и искали.

Долго пришлось бы рассказывать о трудных и бесконечных испытаниях, которым подвергал в пути влюбленный и довольный граф свою бедную и несчастную жену; она до сего времени почти никогда не ходила пешком, а если и отправлялась на прогулку, то всегда в хорошую погоду и в сопровождении самых знатных придворных кавалеров, теперь же она была вынуждена беременная идти под палящим июльским солнцем по острым камням и терпеть все те невзгоды, с которыми сталкивается в пути любой бедный человек.

Граф, когда был занят торговлей, давал ей немного передохнуть, но обращался с нею грубо, поэтому небольшой покой для тела оборачивался большим беспокойством для души. Но в тот день, когда они покинули Тулузу, она решила терпеливо сносить все превратности судьбы. Продолжая далее свой путь, они останавливались на постоянных дворах, где молодая женщина надеялась ночью обрести краткий отдых после тяжелых дневных трудов, но граф выбирал самые захудалые гостиницы, которыми так славится Испания, потому что хотел таким образом лишней раз унижить бедняжку, и это вместо отдохновения приносило ей новые страдания.

Наконец после нескольких дней пути они прибыли в Барселону, где граф встретился со своими друзьями, которые выехали из Тулузы в один день с ним, и приказал поселить его вместе с женой в одной из беднейших, и скуднейших гостиниц города, хозяйкой которой была, правда, добрая и святая женщина, каких мало, поскольку хозяйки подобных заведений не брезгают не только ремеслом повитух, но и занимаются сводничеством.

Проведя с женой в гостинице первую ночь и весь следующий день, граф вечером сказал ей, что у него есть дела в городе и поэтому он будет видеться с нею только ночью, так как днем будет занят, а она останется здесь помогать старой хозяйке, за что та будет ее кормить: поскольку он, имея на то свои причины, не намерен расстаться ни с одной драгоценностью, а также тратить деньги и поскольку он вкладывает все сбережения в дело, то она должна помогать ему в этом, ежели хочет жить с ним в мире и согласии.

Сокрушаясь в душе от этих речей, несчастная графиня вспомнила, как щедр был ее отец, а теперь приходится ей зарабатывать на жизнь своими руками, но с улыбкой ответила мужу, что сделает так, как он велел.

Граф, покинув ее, отправился в платье странника во дворец, где его давно ждали, как человека, которого вновь обрели, уже потеряв всякую надежду увидеть. Здесь его радостно встретили отец и мать, поскольку его паломничество затянулось дольше, чем он сам рассчитывал. Пробыв весь день со своими друзьями и придворными и отпраздновав свое возвращение, граф ночью тайком, переодевшись в прежнее платье, отправился к графине и провел с нею ночь. Он постоянно заставлял ее выполнять грязную работу, напоминал, что она должна на кухне и в доме помогать во всем доброй хозяйке. Однако ему мало было тех унижений, которым он ее подвергал, поэтому он решил устроить ей еще более тяжкие и позорные испытания и как-то ночью сказал жене: «Завтра я хочу угостить вином моего друга, скорняка, мы встретимся в лавке одного портного. Мне нужно будет принести хлеб, он в этих краях очень дорогой, а я не намерен тратить. Завтра, утром, когда хозяйка пойдет печь хлеб, ты станешь ей помогать; возвращаясь из пекарни, сделай вид, будто что-то уронила, а сама тем временем припрядь для меня в карман нижней юбки четыре хлебца, за которыми я приду перед обедом».

Благородной графине эти слова показались подлыми сверх всякой меры, и если бы она

не была столь много наслышана о скупости испанцев и наваррцев, то сочла бы их за шутку, но, видя, что все сказано всерьез, начала смиренно просить мужа не заставлять ее делать это, на что он в страшном гневе ответил: «Ты, видно, еще не забыла, что ты дочь графа Тулузского, а ведь в тот день, когда мы покинули твой дом, я тебе сказал, чтобы ты не думала о своем прошлом и считала себя женой бедного Наваррца, и ты мне обещала. Поэтому повторяю, что ежели ты хочешь жить со мной в мире и согласии, то изволь делать так, как я тебе велю, иначе я оставлю тебя здесь, а сам уйду в другие края искать свое счастье».

Графиня была вынуждена пообещать ему исполнить его волю и утром, как он наказал, так она и сделала. А граф, по обыкновению, отправился развлекаться в Барселону, там он сказал одному из своих друзей, который был с ним в Тулузе и с которым он состоял в родстве, как тому надобно поступать; друг, проезжая мимо жалкой гостиницы, где проживала жена графа, под каким-то предлогом остановился возле нее и, памятуя о том, что ему было велено графом, обратился к хозяйке, которая, на его счастье, сидела в то время вместе с графиней возле дверей и шила, со следующими словами: «Мадонна, кто эта молодая женщина?» Хозяйка ответила ему, кто была эта женщина и когда она сюда прибыла. «О, – сказал знатный синьор, – вы, как я вижу, не первый день живете на свете, а все-таки ничему не научились; эта женщина – самая хитрая и коварная из всех, кого я встречал в своей жизни, и если вы не будете ее остерегаться, то она вас обдерет как липку».

Старая хозяйка начала отрицать это и принялась всячески расхваливать молодую женщину, на что знатный синьор ответил: «Я хочу, чтобы вы, прежде чем я уеду отсюда, убедились в правоте моих слов: поднимите подол ее юбки, загляните в один из карманов, вы там кое-что увидите и поймете, что я недаром семь лет учился в Толедо колдовским наукам». И, подозвав синьора поближе, чтобы он сам убедился в своей ошибке, добрая женщина, скорее уступая ему, чем сомневаясь в честности девушки, засунула руку в карман ее юбки и обнаружила там четыре хлебца, чем была несказанно удивлена, и учтиво извинилась перед кавалером, который, посмеявшись над всем, вскоре отбыл.

Нет слов, чтобы передать, сколь опечалена была бедная графиня и какой стыд она испытала; она едва держалась на ногах от огорчения, оказавшись уличенной в столь низменном поступке в присутствии такого знатного синьора. И когда старая женщина по-матерински стала ей выговаривать за, ее проступок, она со слезами на глазах попросила у той прощения и обещала никогда более не впадать в подобный грех, не говоря, впрочем, о том, кто заставил ее так поступить.

В ту же ночь граф сказал ей, что хлеб ему не понадобился, и притворился рассерженным на нее за то, что она опозорила его перед людьми, обвинив во всем только ее, поскольку она так неохотно и неосторожно взялась за это дело.

В то время графиня Каталонская, мать молодого графа, пожелала заказать какому-нибудь искусному мастеру покров ручной работы, который она дала обет подарить святой церкви в Барселоне и на котором надобно было, кроме всего прочего, расшить жемчугом фигуры святых и животных, как это принято делать в подобных случаях. Молодой граф, узнав об этом, тотчас же подумал, что ему снова представляется случай посрамить свою жену; поэтому он сказал матери, что знаком с одной бедной женщиной, француженкой, которая очень горазда в такого рода работе, и что завтра придет ее к ней, поскольку знает, где та проживает. Ночью он рассказал все жене, приказав ей, коли она желает ему добра, утаить как можно большее количество жемчужин. Несчастливая графиня вся в слезах долго отказывалась исполнить это, потому как недавно пережила страшный позор, когда ее уличили в краже хлеба, и еще потому, что не желала идти в дом человека, которого она девять месяцев назад так оскорбила своим отказом и где ее легко могли узнать; однако после бесконечных и грубых угроз мужа она наконец согласилась пойти во дворец, и, чтобы все прошло гладко, они договорились, что она положит жемчужины в рот и будет держать под языком, а так как она не сможет взять много, хотя они прекрасные и очень дорогие, то прибыль будет от них невеликой.

Утром мать графа усадила молодую женщину за работу, ее манеры и поведение так понравились старой графине и всем, кто там присутствовал, что никто не усомнился в том, что видят перед собой женщину благородного происхождения. Кроме того, в том, что надлежит уметь делать знатной даме, она выказывала большие способности, как никто иной. Молодая женщина мало обращала внимания на слова окружающих, — хотя каждая похвала ранила ее душу словно острый нож, — поскольку была озабочена совсем другим; она спрятала под язык три самых красивых жемчужины, когда вдруг явился тот самый знатный синьор, который уличил ее в краже хлеба, и, выполняя наказ молодого графа, принялся выражать старой графине удивление по поводу того, что в их доме присутствует женщина подобного рода, потом, рассказав, как она стащила хлеб, стал говорить, что она украла у старой графини. Все это несчастная женщина перенесла с еще большим стыдом и огорчением, поскольку она украла жемчуг у столь знатной дамы. Но старая графиня простила молодую женщину, отнеся все за счет ее бедности, и щедро вознаградила за работу.

Наконец молодой граф решил, что сполна отплатил жене за обиду, нанесенную ему, и в достаточной мере наказал ее за поспешное суждение о нем; он понимал, что, продолжая теперь поступать с ней таким образом, совершает более серьезный проступок, нежели совершил тогда, когда, поймал падающее гранатовое зерно; и, зная, что приближается время родов, он полностью отказался от своей прежней затеи и к собственному, да и к ее удовольствию в корне переменялся. Он рассказал все своим родителям, добавив, что обман, а не жадность привели ее в его постель, и посчитав, что позор, муки и страдания, на которые он ее обрек, с лихвой окупают ее ошибку; а в заключение сказал, что завтра он намерен, с их согласия, ввести ее в дом как дочь графа Тулузского и как свою супругу. Родители графа были несказанно рады этому, тогда как прежде они весьма опечалились, получив известие о расстроившейся свадьбе. Они приказали устроить на следующий день пышный и богатый пир, не объясняя причину сего.

Молодой граф накануне праздника сказал жене: «Завтра во дворце графа Барселонского состоится свадьба: сын графа берет в жены старшую дочь короля Арагона, одну из самых прелестных и красивых женщин, каких когда-либо видывали в здешних краях; молодой граф должен вечно благодарить бога, что ты ему отказала, поскольку своим браком он много выгадал и в смысле родства, и в смысле красоты невесты». Графиня Бьянка не смогла после таких слов сдержаться и тяжело вздохнула, вспомнив, кем она была когда-то и кем стала ныне; а граф тем временем продолжал: «Завтра большой праздник, никто работать не будет, поэтому я подумал, что тебе надобно отправиться с нашей доброй хозяйкой во дворец, чтобы не скучать здесь в одиночестве, и попытаться что-нибудь украсть. И если даже тебя поймут с поличным, ничего страшного: ты — женщина, тебя постыдят немного, а стыд, как известно, быстро проходит, людям бедным приходится со всем мириться».

И если все, что делала прежде графиня, казалось ей трудным, то теперь этот наказ мужа она сочла наитруднейшим; и если ранее она просила и заклинала его освободить ее от этих дел, то теперь стала слезно молить оставить ее в покое, говоря, что скорее умрет, чем совершит кражу. Но граф, который во что бы то ни стало хотел испытать ее в последний раз, страшными угрозами и грубой бранью вынудил ее согласиться; хозяйке же он под великим секретом раскрыл свой замысел, сказав, где и в какое время она вместе с его женой должна завтра утром объявиться; и, устроив все, он вернулся во дворец.

На другой день многие барселонские знатные дамы и кавалеры прибыли в назначенный час на свадебное пиршество, но, прежде чем сесть за праздничные столы, они начали развлекаться приятной беседой и веселыми танцами.

Старая хозяйка гостиницы, исполняя наказ графа, почти насильно привела графиню во дворец за час до начала пиршества; та, как только вошла в залу, попыталась затеряться в толпе самых бедных гостей. Граф в праздничном одеянии с улыбкой на

устах направился прямо к ней и громко, чтобы слышали все, сказал: «Добро пожаловать в мой дом, дорогая графиня, моя милая супруга! Пришло время, когда ваш Наваррец должен стать графом Барселонским, а вы, бедная скиталица, должны стать дочерью графа Тулузского и моей женой, графиней Барселонской». Слова эти повергли графиню в великое смятение, она была чрезвычайно удивлена и смущена; не веря, что граф обращается именно к ней, она стала оглядываться по сторонам, но потом, посмотрев пристально в лицо графа, узнала его и поняла, что он разговаривает с ней, сама же она не могла произнести ни слова. А граф продолжал: «Госпожа моя, я был вами несправедливо отвергнут и потому ожесточился против вас; вероятно, вы считаете, что слишком, и потому затаили обиду на меня, но если вы любите меня, как я вас, то, думаю, в вашем сердце я найду не только прощение, но и сострадание. И ради величия и благородства вашей души, которые открылись мне в низменном вашем положении более, чем в высоком, прошу вас предать забвению, – как и я забыл обиду, причиненную вами, – мою месть; и здесь, в Барселоне, в присутствии моих родителей и всех наших гостей соблаговолите одарить меня тем, в чем мне было отказано в Тулузе и что я обманным путем похитил у вас». Графиня, оправившись от смущения, с величавым видом, который более пристал знатной даме, чем бедно одетой женщине, спокойно заговорила и молвила так: «Господин мой, вы поистине стали дороги мне, особенно сегодня, когда я узнала, что судьба моя оказалась сильнее моего разума и что вы на самом деле не тот, за кого я вас принимала. Простить мне ваше жестокое со мной обращение легче, чем вам, поскольку отмщение всегда более справедливо, чем обида. А одарить вас тем, что вы уже взяли в другом месте вернее, подтвердить свое согласие я с радостью готова, потому как в Тулузе не было той торжественной обстановки и столь высоких свидетелей, каких я встречаю ныне в Барселоне. Что касается меня, то я предоставляю решать вопрос: буду ли я вашей или нет, вам, супруг мой, а также монсеньору графу, вашему отцу, и мадам графине, вашей матушке, у которых я прошу прощения за обиду, нанесенную вам, и обещаю почитать их и любить нежной дочерней любовью». Бьянка продолжала бы говорить далее, если бы слезы старого графа и графини, его жены, а также радостные и сочувственные возгласы присутствующих не остановили ее. После этого ее увели из зала, сняли с нее лохмотья и обрядили в королевские одежды. И тут началось веселое свадебное пиршество, о чем сообщили графу Тулузскому, который с необычайной радостью встретил весть об этом событии.

Спустя малый срок молодая графиня разрешилась от бремени прекрасным мальчиком. А после этого она, окруженная безграничной любовью и почитанием подданных, счастливо прожила долгие годы со своим супругом и подарила ему множество детей как мужского, так и женского пола.

Эта история рассказана в летописях обоих графств по-разному, одна с тулузской стыдливостью, другая с каталонской учтивостью; я же предоставляю судить о ней самому читателю.

Луиджи да Порто

История двух благородных влюбленных

Прекрасной и милостивой госпоже Лучине Саворньяна

Давно уже в беседе с вами[77 - Обращение к родственнице Лучине Саворньяна. Ей посвящена новелла.] обещал я записать для вас одну не раз слышанную мною трогательную веронскую новеллу, и вот теперь пришло время изложить ее кратко, на немногих страницах, дабы обещанное мною не осталось пустым звуком. Да и к тому же мне, человеку несчастному, делами несчастных влюбленных, о коих повествует сия новелла, заниматься вполне пристало; и вполне пристало отослать ее к вашей

добродетели, дабы вы, хотя и будучи известны среди прекрасных женщин, вам подобных, как мудрейшая, могли, прочитав ее, еще яснее понять, сколь рискованны и опасны любовные стези, сколь жалостна и гибельна доля несчастных влюбленных, ведомых Амуром. Охотно шлю я эти страницы вашей красе, пребывая в надежде, что, как я уже твердо про себя решил, станут они последним моим трудом в подобном роде и что отныне перестанет наконец строчить неумелое мое перо, дабы впредь не быть больше притчей во языцех. Вы же, пристань всех доблестей, красот и добродетелей, станьте таковой и для утлого челна моего воображения, который, хотя и обремененный невежеством, но подгоняемый Амуром, избородил немало мелких поэтических вод, прежде чем ему, завершившему свои блуждания, настала пора убрать снасти, – отдав паруса, весла и руль другим, кто с большим умением и под более счастливой звездой в том же море плавает, а самому спокойно причалить к вашему берегу. Примите же мою новеллу, госпожа, в сих одеждах, ей приличествующих, и прочтите ее благосклонно за прекрасную, по моему разумению, и столь жалостную фабулу, а также из снисхождения в виду кровного родства и той нежной дружбы, что связывают с вашей персоной того, кто пишет сии строки и с неизменным почтением вам себя препоручает.

Как вам, должно быть, ведомо, в начале моей юности, пока небо против меня еще не обратило всей силы своего гнева, предавался я ратному делу, следуя в том многим великим и доблестным мужам, и не один год подряд бывал на прекрасной вашей родине – Фриули, которую мне приводилось от случая к случаю посещать, разъезжая то по частному делу, то по службе. И при этом имел я обыкновение брать с собою в конные походы моего лучника, мужчину лет пятидесяти, сведущего в ратном деле и весьма приятного в обхождении. И как почти все, кто происходит из Вероны (а родился он именно там), был этот человек по имени Перегрино очень говорлив. Не только храбрый и ловкий солдат, но и учтивый муж, пускался он чаще, чем то полагалось в его годы, в любовные предприятия, отчего, к доблести своей двойную доблесть добавляя, умел он складно и приятно рассказывать самые прекрасные истории из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать, особливо те, в коих речь шла о любви.

Однажды выехал я из Градиски, где тогда квартировал, с этим лучником и двумя другими моими людьми и, помню, гонимый Амуром, направился в Удине пустынной дорогой, разбитой и выжженной в то время войной. Погруженный в свои мысли, далеко отъехав от других, оказался я рядом с названным Перегрино, который, как бы мысли мои угадывая, сказал:

– Уж не собираетесь ли вы вечно томиться тоской из-за того, что жестокая красавица, обманывая вас, мало вас любит? Хоть я и на себе самом познал, что давать советы легче, чем им следовать, все же я вам скажу: господин мой, тому особенно, кто, как вы, к воинскому делу причастен, не годится проводить много времени в темнице Амура, – столь плачевны итоги, к коим он нас почти всегда приводит, и столь опасны его пути, в доказательство чего я могу, если вам угодно, рассказать историю, приключившуюся в моем городе, дабы дорога не казалась нам такой унылой. И вы услышите рассказ о том, как двух благородных любовников постигла жалостная, жестокая смерть.

И как только я подал знак, что охотно готов его слушать, он начал так:

– Во времена, когда Бартоломео делла Скала[78 - Бартоломео делла Скала – правитель Вероны (1300–1304).], государь учтивый и гуманный, по своей воле ослаблял и натягивал бразды правления моей прекрасной родиной, проживали там, как слышал о том еще мой отец, два благороднейших семейства, кои принадлежали к противным партиям и друг с другом жестоко враждовали, – одно именуемое Каппеллетти, а другое – Монтекки[79 - Об этих двух веронских семействах писал еще Данте: «Приди, беспечный, кинуть только взгляд: // Мональди, Филиппески, Каппеллетти, // Монтекки, – те в слезах, а те дрожат!» («Божественная Комедия». «Чистилище», песнь VI, 106–108, перевод М. Лозинского). Понимание дантевской терцины вызывает спор комментаторов. Более или менее установлено лишь одно: Каппеллетти принадлежали к партии гвельфов, а Монтекки – к яростным гибеллинам. И Да Порто несомненно знал текст Данте.]. От

одного из них, как считают, и происходят те, что живут ныне в Удине, то есть мессер Никколо и мессер Джованни, именуемые Монтиколи из Вероны, откуда они когда-то переселились, захватив с собою лишь немного из того, чем они владели в старину, прежде всего свою доброту и учтивость. И хотя я, читая кое-какие старинные хроники, встретился с этими двумя семействами, якобы стоявшими сообща за одну и ту же партию, я тем не менее передам вам эту историю так, как я ее слышал, ничего в пен не меняя.

Итак, как я сказал, проживали в Вероне при упомянутом государе вышеназванные благороднейшие семейства, богатые доблестными мужами и сокровищами, ниспосланными им в равной мере небом, природой и Фортуной. Между ними, как это часто бывает среди богатых семейств, царила по какой-то неизвестной причине жесточайшая вражда, из-за чего и с одной и с другой стороны погибло немало людей; но постепенно, как нередко случается в таких делах, то ли утомившись, то ли опасаясь гнева государя, которому их вражда была ненавистна, начали они, не идя открыто на мировую, воздерживаться от взаимных распрей и вести себя спокойнее, так что многие их люди даже стали друг с другом разговаривать. Когда наступило такое замирение, однажды, по случаю карнавала, в доме мессера Антонио Каппеллетти, считавшегося первым в своем семействе, давались большие празднества и днем и ночью, куда сходилась почти весь город.

Однажды вечером, по обычаю влюбленных, которые не только в мечте, но и во плоти за своими возлюбленными неотступно следуют, куда бы те ни направились, пришел на это празднество вслед за своей Дамой один юноша из рода Монтекки. Был этот юноша прекрасен собой, высок ростом, учтив и приятен. В маске, как и все другие, наряженный нимфой, привлекал он взоры всех как своей красотой, превосходившей красоту любой из пришедших туда женщин, так и своим неожиданным появлением в этом доме, и притом в ночное время. Но наибольшее впечатление произвел он на единственную дочь названного мессера Антонио, девушку необычайной красоты, выделявшуюся среди всех прочих упоительным своим обликом. Когда она увидела юношу, красота его с такой силой поразила ей душу, что от первой встречи их взглядов стала она как будто сама не своя. Он стоял один среди праздничного веселья, в стороне от всех, скромно и редко участвуя в танцах или беседах, и, завлеченный сюда Амуром, все время держался настороже, что очень огорчало девушку, ибо, как она слышала, был он по природе своей весел и сердечен.

После полуночи, когда празднество шло к концу, начался так называемый танец факела и шляпы, который и теперь еще исполняется в заключение праздников, когда кавалеры и дамы и дамы и кавалеры по своей прихоти друг друга поочередно выбирают. В этом танце кто-то увлек за собою нашего юношу и случайно подвел к влюбленной девушке. Справа от нее стоял благородный юноша, именуемый Меркуччо Гуерцио, чьи руки от природы всегда, и в июльскую жару и в январскую стужу, оставались холодными как лед. Как только Ромео Монтекки (ибо так звался наш юноша) приблизился к девушке слева и, как принято в танце, прекрасную ее руку в свою руку взял, тотчас же она сказала ему, желая, быть может, услышать в ответ его голос: «Благословен ваш приход ко мне, мессер Ромео», на что юноша, ее изумление заметив и сам изумленный ее словами, сказал: «Как это благословен мой приход?» А она ответила: «Да, благословен ваш приход сюда ко мне, ибо вы хоть левую руку мою согрели, пока Меркуччо мою правую застудил». Тогда он, несколько осмелев, добавил: «Если я моей рукой вашу руку согрел, то вы прекрасными своими глазами мое сердце зажгли». Девушка слегка улыбнулась, опасаясь, как бы ее с ним не увидели и не услышали, но все же сказала ему: «Клянусь вам, Ромео, честным словом, что здесь нет женщины, которая казалась бы мне столь же прекрасной, каким кажетесь вы». На что юноша, весь загоревшись, ответил: «Каков бы я ни был, я стану вашей красоты, если она на то не прогневадается, верным слугою».

Покинув вскоре праздник, Ромео вернулся домой и задумался о жестокости своей первой дамы, по которой он долго томился, так мало получая взамен. И он решил посвятить всего себя повои даме, если он придется ей по сердцу, невзирая на то, что

принадлежала она к семейству его недругов. Со своей стороны девушка, будучи не в силах ни о чем другом думать, кроме как о Ромео, повздыхав вволю, решила, что была бы истинно счастлива, если бы могла выйти за него замуж. Но по причине неприязни между их домами она мало надеялась, что столь счастливая развязка возможна, и опасалась всяческих препятствий. Поэтому, постоянно раздваиваясь в мыслях, она не раз говорила себе самой: «О глупая я! Как позволила я мечте завлечь себя в этот лабиринт? Как мне одной выйти оттуда, ведь Ромео Монтекки меня не любит! Из нелюбви ко мне он ничего другого искать не станет, кроме как моего позора. Но если вдруг он захотел бы на мне жениться, отец мой никогда не согласился бы отдать меня ему». А когда приходила ей другая мысль, она говорила себе: «Как знать, ради того, чтобы скорее помирить оба наши дома, давно уставшие враждовать между собою, мне, быть может, предстоит соединиться с Ромео, как я того желаю». И, в этой мысли утвердившись, стала она взирать на него с большей благосклонностью.

Оба влюбленных, охваченные единым пламенем, с именем и запечатленным образом любимого в душе, взяли обыкновение засматриваться друг на друга, то встречаясь в церкви, то замечая один другого в окне. И ему и ей лучше всего бывало тогда, когда они друг на друга смотрели. Он столь сильно был восхищен ее прекрасным обликом, что ночи напролет, с величайшей опасностью для жизни, проводил в одиночестве перед домом любимой девушки – то забирался к самому окну ее комнаты, где, ни ею, никем другим не замеченный, внимал с балкона прекрасному ее голосу, то ложился прямо на мостовую. Однажды ночью, когда луна по воле Амура сияла ярче обычного, Ромео поднимался к балкону девушки, как вдруг она, то ли случайно, то ли потому, что слышала, как он уже не раз прежде пробирался сюда, распахнула окно и, высунувшись наружу, его увидела. Он же, подумав, что это не она, а кто-то другой открыл балкон, попытался укрыться в тени стены; но она узнала его, окликнула по имени и сказала: «Что вы делаете здесь в столь поздний час?» Он тоже узнал ее и ответил: «То, что угодно Амуру». – «Но если бы вас застали, – сказала девушка, – ведь вы могли бы легко лишиться жизни». – «Мадонна, – ответил Ромео, – конечно, я могу легко умереть здесь и наверняка умру как-нибудь ночью, если вы мне не поможете. А поскольку в любом другом месте я столь же близок к смерти, как и здесь, я стараюсь умереть там, где я буду по возможности ближе к вам. Жить же с вами я горячо желал бы всегда, будь на то воля неба и ваша собственная». На эти слова девушка ответила: «Если вы и я честь по чести не соединимся, то не моя будет в том вина, а скорее ваша или той вражды, что живет между нашими домами». Тогда юноша сказал: «Поверьте мне, нельзя желать чего-либо больше, чем желаю я вас; если бы вам так хотелось быть моею, как мне хочется быть с вами, я бы ни мгновенья не раздумывал и никто не посмел бы вас у меня отнять». Тут они условились вновь побеседовать в следующую ночь, когда будет больше времени, и с этим расстались.

С тех пор юноша много раз приходил поговорить с нею, и однажды вечером, когда шел снег, он, найдя ее на обычном месте, сказал: «О, зачем вы заставляете меня так страдать? Разве вам не жаль того, кто каждую ночь в непогоду ждет вас здесь, на улице?», на что девушка сказала: «Конечно, мне вас жаль. Но что мне остается делать, кроме как просить вас уйти?» А юноша в ответ: «Вы можете позволить мне войти в вашу комнату, где нам было бы удобнее беседовать вдвоем». Тогда прекрасная девушка, рассердившись, сказала: «Ромео, я уже люблю вас, кажется, настолько, насколько это вообще дозволено, и даже, быть может, разрешаю вам больше, чем моему честному нраву пристало, ибо Амур покорил меня вашей доблестью. Но если вы думаете настойчивыми ухаживаниями или другим каким образом вкусить мою любовь иначе, чем издали ее вкушает влюбленный, то с этой мыслью расстаньтесь, все равно она не сбудется никогда. И чтобы избавить вас от опасности, угрожающей вашей жизни из-за того, что вы еженощно приходите сюда, я скажу вам, что, если вам угодно взять меня в жены, я готова отдаться вам целиком и безбоязненно последовать за вами повсюду, куда бы вы ни отправились». – «Только этого я и жажду, – сказал юноша, – и пусть свершится это сейчас». – «Пусть свершится, – ответила девушка, – но пусть сначала это будет подтверждено в присутствии брата Лоренцо из Сан-Франческо, моего исповедника, если вы хотите, чтобы я отдалась вам целиком и с радостью». – «О, – воскликнул Ромео, – значит, брат Лоренцо да Реджо знает все тайны вашего сердца?» –

«Да, – сказала она, – и ради моего спокойствия подтвердим наш сговор в его присутствии». И тогда, уговорившись как следует обо всем, они расстались.

Был этот монах из францисканского ордена миноритов большим философом и знатоком разных естественных и магических наук, и был он с Ромео в такой тесной дружбе, что ей подобной, пожалуй, сыскать тогда было трудно. Поскольку хотел он одновременно и добрую славу среди своей паствы сохранить, и кое-каким своим любимым делам предаваться, пришлось ему поневоле кому-то из благородных людей города довериться. И он выбрал среди них Ромео – юношу, слывшего смелым и сдержанным, – открыв ему до конца свое сердце, хотя и таил многое из осторожности от всех других. Разыскав его, Ромео прямо заявил, что хотел бы любимую девушку назвать своею женою и что они вместе пришли к мысли, что он один станет тайным свидетелем их венчания, а потом и посредником, дабы побудить отца девушки на их союз согласиться. Монах охотно обещал ему помочь, ибо трудно ему было отказать в чем-либо Ромео; да и к тому же, думал он, все это могло бы обратиться во благо, и притом не без его участия, и он вошел бы в большую честь у государя и всех, кто желал мира между этими двумя семействами.

Однажды, в великой пост, девушка, сделав вид, что хочет исповедаться, отправилась в монастырь Сан-Франческо, где зашла в одну из исповедален и спросила брата Лоренцо. Узнав о том, что она пришла, монах вместе с Ромео вошел из монастыря в ту же исповедалню и, заперев вход, убрал железную решетку с окошка, которое отделяло их от девушки, и сказал ей: «Я всегда рад вас видеть, но ныне более чем когда-либо вы мне дороги, раз вы хотите стать женою мессера Ромео», на что она ответила: «Ничего другого я сильнее не желаю, чем по праву ему принадлежать. И потому я стою с открытым сердцем здесь перед вами, дабы вы вместе с богом стали свидетелями того, на что я иду, побуждаемая к тому Амуром». И тогда, в присутствии монаха, который сказал, что все это принимает за исповедь, прекрасная девушка тут же торжественно обвенчалась с Ромео. И, сговорившись о том, что следующую ночь они проведут вместе, и один раз поцеловавшись, они расстались, а монах, установив на место решетку, стал исповедовать других пришедших.

Когда двое влюбленных, как вы слышали, стали таким образом тайно мужем и женою, они много ночей подряд своей любовью счастливо наслаждались, ожидая, что со временем найдется способ успокоить отца молодой, который, как они твердо знали, пошел бы против их желаний. И тогда случилось, что волей Судьбы – противницы всякой мирской улады, сеятельницы семян злосчастья – вдруг воскресла почти замершая вражда двух родов, и все пошло в разлад, и ни Монтекки, ни Каппеллетти не захотели ни в чем друг другу уступить, так что однажды те и другие учинили схватку на главной улице. Среди сражавшихся был и Ромео, который, памятуя о своей подруге, старался не тронуть никого из ее родичей. Однако, когда многие из сражавшихся на его стороне уже были ранены и почти все изгнаны с улицы, Ромео, охваченный гневом, устремился навстречу Тебальду Каппеллетти, который казался ему наиболее яростным из противников, и одним ударом сразил его. Тот пал на землю мертвым, а другие, приведенные в замешательство этой смертью, обратились в поспешное бегство. Все видели, как Ромео поразил Тебальда, поэтому скрыть убийство было невозможно. И, подав жалобу государю, все из рода Каппеллетти показали на Ромео, и он по приговору правосудия навечно был изгнан из Вероны.

С каким сердцем встретила это известие его несчастная подруга, всякий, кто любит, может, поставив себя на ее место, легко себе представить. Она так сильно плакала, что никто утешить ее не мог, и тем горше было ее страдание, что свою беду она никому раскрыть не решалась. Со своей стороны юноша страдал из-за того, что должен был покинуть родину, оставив подругу одну, и ни за что не хотел уезжать, не попрощавшись с нею. Так как он не мог войти в ее дом, он обратился к монаху.

Последний через одного из слуг ее отца, большого друга Ромео, дал ей знать, чтобы она пришла, и она явилась. Уйдя вдвоем в исповедалню, они долго вместе плакали о своей несчастной доле. Наконец она ему сказала: «Что я буду делать без вас? Сердце не позволит мне больше жить. Уж лучше я пойду с вами хоть на край света. Я обрежу

волосы и стану вашим слугой, – ведь никто лучше и вернее, чем я, вам служить не сможет». – «Богу не угодно, душа моя родная, чтобы вы, если уж на то пошло, сопровождали меня в ином качестве, чем как моя супруга, – сказал ей Ромео. – Но я уверен, что долго так не продлится и что наступит между нашими домами мир, когда я смогу от государя получить прощение. Поэтому я считаю, что вам придется недолго оставаться без моей плоти, а в мыслях я все время буду пребывать с вами. Если же дело обернется не так, как я предполагаю, то мы потом обсудим, как нам быть». И, на этом порешив, они тысячу раз обняли друг друга и расстались в слезах, причем молодая горячо просила его оставаться по возможности ближе к ней и не уезжать, как он собирался, в Рим или Флоренцию. Через несколько дней после этого Ромео, скрывавшийся до тех пор в монастыре у брата Лоренцо, отправился в путь и прибыл со смертельной тоской в душе, в Мантую. Но прежде, чем уезжать, он тайно строго-настрого наказал одному из слуг своей подруги, чтобы тот незамедлительно сообщал монаху все, что узнает о ней, и в точности выполнял все ее приказания, если хочет получить оставшуюся часть обещанной ему мзды.

Прошло много дней после отъезда Ромео, а его подруга все время ходила наплаканная, что портило ее красоту. Мать, горячо любившая дочь, обращалась к ней не раз с нежными словами, спрашивая, в чем причина ее слез: «О дочь моя, которую я люблю, как самое жизнь, – Говорила она, – какое горе мучит тебя в последнее время? Почему ты ни минуты не проводишь без слез? Если ты чего-то желаешь, поведай о том мне одной, я тебя, как только возможно, утешу». Но в ответ она слышала от дочери лишь невразумительные объяснения ее печали. Поэтому мать подумала, что причиной слез может быть желание иметь мужа, которое она из стыда или страха скрывала. Однажды, считая, что она заботится о спасении дочери, а на самом деле готовя ей гибель, сказала она мужу: «Мессер Антонио, уже давно я вижу, как наша дочка беспрерывно плачет, отчего она, как вы можете заметить, на самое себя стала не похожа. И хотя я много расспрашивала о причине ее печали, я не смогла ничего от нее узнать. Да и я сама не могу попятить, откуда эти слезы, если не от желания выйти замуж, чего она, как девушка благонравная, высказать не осмеливается. Поэтому, прежде чем она вконец изведется, я думаю, лучше было бы выдать ее замуж. Ведь в этом году на святую Ефимию ей исполнится восемнадцать, а девушки, когда переступают этот порог, уже не сохраняют, а скорее утрачивают свою красоту. Да и вообще это не тот товар, который можно долго хранить дома, хотя о нашей дочке мне известно, что она во всем вела себя только наилучшим образом. Знаю я, что приданое для нее вы давно приготовили, теперь найдем ей подходящего мужа».

Мессер Антонио согласился, что хорошо было бы отдать дочку замуж, и очень хвалил ее нрав за то, что печалилась она только в душе, не обращаясь с просьбами ни к нему; ни к матери. И вскоре он начал договариваться о свадьбе с одним из графов Лодроне. Когда переговоры подходили к концу, мать, рассчитывая доставить дочери большое удовольствие, сказала: «Радуйся, теперь, доченька, через несколько дней ты достойно выйдешь замуж за благороднейшего человека, и тогда исчезнет причина твоих слез, о которой, хотя ты и не пожелала мне признаться, я с божьей помощью догадалась. И вот мы вместе с твоим отцом позаботились о тебе, так что ты останешься довольна». Услышав такие слова, дочь по-прежнему не смогла сдержать слезы, на что мать ей сказала: «Уж не думаешь ли ты, что я тебя обманываю? Не пройдет и недели, как ты станешь женой молодого отпрыска из дома Лодроне». Тогда дочь разрыдалась еще пуще, а мать, лаская ее, сказала: «Неужто, доченька моя, ты не довольна?», на что та ответила: «Нет, матушка, я несколько не довольна». Тогда мать добавила: «Чего бы ты хотела? Скажи мне, ведь я на все для тебя готова». А дочь ответила: «Я хотела бы умереть, ничего другого мне не надо».

По этим словам мадонна Джованна (так звали мать), женщина мудрая, поняла, что дочь ее сжигал какой-то любовный огонь, и, сказав ей несколько слов, оставила ее. Вечером, когда пришел муж, она рассказала ему, что дочь ее в слезах заявила. Он остался этим очень недоволен и подумал, что, прежде чем договариваться окончательно о свадьбе, стоило бы, во избежание какого-нибудь посрамления, получше узнать, что думает сама дочь обо всем этом. И однажды, призвав ее к себе, сказал: «Джульетта

(таково было имя дочери), я собираюсь выдать тебя замуж за благородного человека. Довольна ли ты этим?» Дочь, выслушав отца, помолчала, а потом ответила: «Отец мой, нет, никогда не буду я этим довольна». – «Как же так, уж не собралась ли ты пойти в монахини?» – спросил он. А она: «Мессер, я сама не знаю», – и с этими словами слезы хлынули из ее глаз. На это отец указал: «Теперь я знаю, что ты просто не хочешь. Будь спокойна, я решил, что ты выйдешь замуж за одного из графов Лодроне, и так оно и будет». Но дочь, проливая горькие слезы, ответила: «Этого никогда не будет». Тогда мессер Антонио, очень рассерженный, пригрозил ее побить, если она осмелится еще раз противиться его воле и не признается, в чем причина ее слез. Однако он не добился от дочери ничего, кроме рыданий, и в большом гневе ушел прочь вместе с мадонной Джованной, так и не поняв, что было на душе у их дочери.

Джульетта рассказала обо всем, что ей сказала мать, слуге своего отца по имени Пьетро, который знал о ее любви, и в его присутствии поклялась, что скорее добровольно выпьет яд, нежели пойдет замуж (даже если бы это и было вообще возможно) за кого-либо другого, кроме Ромео. Пьетро, выполняя полученный им наказ, подробно обо всем сообщил через монаха Ромео, который написал Джульетте, что ни под каким видом не согласен на ее замужество, но и на то, чтобы она раскрыла тайну их любви, и обещал через неделю или десять дней наверняка найти способ увезти ее из отцовского дома.

Итак, ни мессер Антонио, ни монна Джованна не смогли ни лестью, ни угрозами добиться от дочери признания в том, по какой причине не хотела она идти замуж; не смогли они и другими путями разузнать, в кого же она влюблена. А монна Джованна даже ей говорила: «Знаешь что, дочка моя дорогая, перестань плакать, какого захочешь мужа, такого тебе и дадим, пусть даже из рода Монтеки, хоть я и уверена, что за такого ты и сама пойти не захочешь». Поскольку Джульетта на все это отвечала лишь вздохами и слезами, то они, питая все более серьезные подозрения, решили как можно скорее сыграть ее свадьбу с графом Лодроне, о чем уже было договорено.

Когда Джульетта услышала об этом, она испытала невыносимое страдание и, не зная, на что решиться, тысячу раз на дню призывала смерть.

И вот надумала она поделиться своим горем с братом Лоренцо, как с человеком, на которого, после Ромео, она более всего могла положиться и о котором слыхала от своего возлюбленного, что он умеет творить великие дела. Поэтому однажды сказала она монне Джованне: «Матушка, не удивляйтесь тому, что я не открыла вам, в чем причина моих слез; ведь я сама этого не ведаю, но только постоянно испытываю какую-то тоску, которая делает постылым для меня все на свете и даже самое мою жизнь. Я не только не могу вам или батюшке объяснить, что со мною творится, но и сама того не понимаю. Уж не происходит ли это из-за какого-то моего прежнего греха, о котором я позабыла? Поелику недавнее покаяние принесло мне большое облегчение, я хотела бы, с вашего позволения, покаяться еще раз, дабы на эту троицу, которая близится, вкусить утление моих страданий через причастие святого тела господина нашего». Мадонна Джованна обрадовалась этому и дня два спустя отвезла дочь в монастырь Сан-Франческо, где привела к брату Лоренцо, сперва попросив его выведать на исповеди причину девичьих слез.

Как только Джульетта увидела, что мать отошла в сторону, она тут же печальным голосом поведала о всех своих горестях монаху и во имя любви и дружбы, которые, как она знала, связывали его с Ромео, умоляла оказать ей помощь в ее великой беде. На это монах сказал: «Что могу я, дочь моя, сделать, когда между твоим родом и родом твоего мужа царит такая вражда?» Опечаленная Джульетта ему ответила: «Отец мой, я знаю, что вам ведомы многие необычайные вещи и что вы можете помочь мне тысячу способами. Но если другого добра вы мне сделать не хотите, то помогите мне хотя бы в одном: слышала я, что мою свадьбу готовят в отцовском имении, расположенном в двух милях от города по дороге на Мантую, куда хотят меня отправить, чтобы было мне неповадно отказывать новому мужу. А как только я буду там, прибудет туда и тот, кто должен взять меня в жены. Дайте мне столько яда, чтобы он мог мгновенно избавить

меня от моих мучений, а Ромео от позора; если же нет, я, к вящему моему сраму и его горю, сама заколюсь кинжалом».

Брат Лоренцо, уразумев, в каком она состоянии духа, и подумав, скольким он обязан Ромео и что тот несомненно станет ему врагом, если он в этом деле не поможет, так сказал ей: «Понимаешь, Джульетта, я исповедую половину людей этого города и пользуюсь у них доброй славой; ни одно завещание, ни одна мировая не совершается без моего участия. Поэтому я не хочу, даже за все золото мира, оказаться замешанным в каком-нибудь скандале и не хочу, чтобы знали, что я причастен к такому делу. И тем не менее, поскольку я люблю вас обоих, тебя и Ромео, я постараюсь сделать то, что я не делал никогда ни для кого другого, но, по правде сказать, при одном условии: если ты мне обещаешь никогда имени моего не упоминать». На это молодая женщина ответила: «Отец, спокойно дайте мне этот яд, никто другой, кроме меня, никогда об этом ничего не узнает». А он ей в ответ: «Яда я тебе, дочь моя, не дам, было бы слишком большим грехом, если бы ты умерла в расцвете молодости и красоты. Но если у тебя хватит смелости сделать то, что я тебе скажу, я наверняка уверен, что соединю тебя с твоим Ромео. Ты знаешь, что фамильный склеп твоих Каппеллетти расположен на нашем кладбище, близ этого храма. Я дам тебе такой порошок, который ты должна выпить, и ты будешь целых двое суток или около того спать столь крепким сном, что никто, даже самый великий лекарь, но усомнится в том, что ты мертва. Ты будешь наверняка погребена в этом фамильном склепе, а когда настанет срок, я приду, вызволю тебя и сокрою в моей келье до тех пор, пока не настанет время отправиться в Мантую на капитул, который соберется там вскорости. Тогда я и доставлю тебя, переодетой в монашеское платье, к твоему супругу. Но скажи мне, не убоишься ли ты покойника – твоего двоюродного брата Тебальда, что с недавних пор лежит в этом склепе?» На это Джульетта с воодушевлением ответила: «Отец мой, я не побоюсь пройти и через ад, если таким путем я смогу достичь Ромео». – «Ну что ж, – сказал он, – раз ты готова, я буду рад тебе помочь, но, прежде чем ты это свершишь, тебе следует, как мне кажется, собственной рукой написать обо всем Ромео, дабы он не поверил слухам, что ты умерла, и не натворил от отчаяния безумных вещей; ведь я знаю, сколь сильно он тебя любит. Отсюда часто наши монахи ходят в Мантую, где он, как тебе известно, пребывает. Позаботься доставить мне письмо, а я уж пошлю его с верной оказией». Сказав так, добрый монах (без участия которого ни одно важное дело, как видно, к доброму концу не приходит), оставив Джульетту в исповедальне, пошел в свою келью и тотчас же вернулся со склянкой, наполненной порошком, сказав: «Возьми этот порошок и, когда понадобится, не страшась ничего, выпей его с холодной водой часа в три или в четыре ночи; а к шести часам он начнет оказывать действие, и тогда наш план наверняка удастся. Не забудь только прислать мне письмо, которое ты должна написать Ромео, это очень важно».

Джульетта, взяв порошок, с легкой душой вернулась к матери и сказала ей: «Действительно, госпожа моя, брат Лоренцо – лучший исповедник на свете. Он так меня утешил, что я о моей прежней печали и думать забыла». Мадонна Джованна, довольная, что дочь ее больше не тоскует, ответила: «В час добрый, доченька, позаботься, чтобы и его всегда утешали наши милости, ведь монахи такие бедные». И, продолжая беседовать об этом, отправились они домой.

Сразу после исповеди Джульетта так повеселела, что мессер Антонио и мадонна Джованна оставили всякие подозрения на тот счет, что она влюблена, и решили, что она плакала просто по какому-то странному случаю. И они охотно оставили бы ее в покое, перестав повторять, что отдадут ее замуж, если бы сами не зашли так далеко в этом деле, что назад вернуться без ущерба для себя уже не могли. Поэтому, когда граф Лодроне пожелал, чтобы кто-нибудь из его родных повидал его невесту, и поскольку мадонна Джованна отличалась слабым здоровьем, было решено, что дочь в сопровождении двух своих теток сама отбудет в названное имение своего отца недалеко от города. Она не сопротивлялась и отправилась в путь, но, прибыв туда, решила, что отец послал ее столь неожиданно, чтобы сразу отдать в руки второму мужу.

И так как она захватила с собою данный ей монахом порошок, она в первую же ночь в

четыре часа позвала свою служанку, которая с ней вместе выросла и которую она почти сестрой считала, и попросила дать ей чашу холодной воды, сказав, что после ужина у нее пробудилась жажда, и, всыпав туда чудодейственный порошок, все содержимое выпила. Затем при служанке и при одной из теток, которая в тот момент тоже проснулась, сказала: «Если хватит у меня сил, отец мой наверняка не отдаст меня замуж против моей воли». Обе женщины, которые были сделаны из грубого теста, хотя и видели, как она выпила порошок, добавив его в воду якобы для свежести, и слышали ее слова, ничего не поняли и не заподозрили, а легли опять и заснули. В темноте Джульетта встала со своего ложа будто по нужде, надела сама все свои одежды, потом опять легла и, словно готовясь умереть, приняла приличествующую позу: сложила крест-накрест руки на прекрасной груди и стала ждать, когда питье проявит свою силу; и оно немногим более, чем через два часа, оказало действие, и она стала как мертвая.

Когда наступило утро и солнце уже было высоко, Джульетту нашли на постели в том виде, как выше описано; ее хотели разбудить, но не смогли, ибо она почти совсем похолодела. Тогда одна из ее теток и служанка вспомнили о воде и порошке, что она ночью выпила, и о словах, сказанных ею, и, увидев к тому же, что она нарядилась и приняла такую позу на постели, они без сомнений решили, что порошок этот – яд и что она умерла. Женщины принялись громко плакать, и стенать, и громче других рыдала служанка, часто называя Джульетту по имени и причитая: «О госпожа моя, вот что значило: «Отец мой против моей воли меня замуж не отдаст!» Вы обманным путем получили от меня холодную воду, и я, несчастная, вашу жестокую смерть приготовила. О горемычная я! На кого же я теперь сетую? На смерть или на самое себя? Увы, почему вы, умирая, не взяли с собою служанку, которую так любили при жизни? Как я жила при вас, так бы я и умерла вместе с вами! О госпожа, собственными руками подала я вам воду для того, чтобы вы нас покинули! Я одна и себя, и вас, и отца вашего, и мать одним махом убила!» Говоря так и упав на ложе Джульетты, обнимала она свою будто бы мертвую госпожу.

Мессер Антонио, будучи неподалеку и услышав крики, в страхе устремился в покои дочери. Увидев ее распростертой на ложе и узнав, что она ночью выпила и что сказала, он тоже решил, что она умерла, но для верности послал срочно в Верону за врачом, которого считали весьма ученым и многоопытным. Последний, прибыв на место, осмотрев и ощупав спящую, заявил, что уже целых шесть часов, как она от испитого яда с этой жизнью рассталась. Услышав такие слова, убитый печалью отец горько заплакал. Скорбная весть, переходя из уст в уста, вскоре достигла слуха несчастной матери, которая, побелев, упала как мертвая. Очнувшись, она с воплями, словно безумная, начала бить себя в грудь, призывая любимую дочь и оглашая небо жалобами. «Знаю, что ты умерла, дочь моя, единственная утеха моей старости! – восклицала она. – Как же ты могла так жестоко меня покинуть, не дав несчастной матери услышать твое последнее слово, закрыть твои прекрасные очи и обмыть твое драгоценное тело! Могла ли я ожидать от тебя такого? О милые женщины, собравшиеся здесь, помогите мне умереть! И если вам доступна жалость, пусть ваши руки, если такая услуга вам под силу, прикончат меня раньше, чем прикончит меня горе. А ты, отец наш небесный, порази меня здесь острой своей стрелой, дабы смерть пришла ко мне поскорее, как мне этого хочется, отними меня, ненавистную, у меня самой». Так, пока другие ее утешали, подняв и уложив на постель, она продолжала рыдать и сетовать.

В скором времени Джульетту забрали оттуда, где она находилась, и привезли в Верону, и там она после пышных и торжественных похорон, оплаканная всеми родичами и друзьями, была погребена, словно она и впрямь умерла, в названном склепе на кладбище Сан Франческо.

Брат Лоренцо, отлучившийся тогда ненадолго из города по делам монастыря, дал письмо Джульетты, которое надо было отослать Ромео, одному монаху, отправлявшемуся в Мантую. Прибыв в этот город, тот два или три раза заходил к Ромео, но, к великому своему огорчению, не заставлял его дома. Не желая отдавать письмо никому другому, кроме самого Ромео, монах оставил его у себя. А тем временем Пьетро, уверенный, что

госпожа его умерла, и придя в отчаяние от того, что не застал брата Лоренцо в Вероне, решил сам доставить Ромео горестное известие о смерти его подруги. Поэтому, добравшись к вечеру из города в имение своих господ, он отправился оттуда ночью в Мантую и так быстро шел, что к утру туда поспел. Разыскав Ромео, который так и не получил от монаха письма своей подруги, Пьетро со слезами рассказал ему, что видел Джульетту мертвой и присутствовал при ее погребении, и передал ему все, что до этого она делала и говорила. Когда Ромео услышал все это, он побледнел как смерть и, выхватив шпагу, пытался пронзить себе грудь и покончить свою жизнь. Но его удержали, и он сказал: «Жизнь моя теперь продлиться не может, с тех пор как самая жизнь умерла. О моя Джульетта, я единственная причина твоей смерти, потому что я не увез тебя от твоего отца, как обещал. Чтобы не покинуть меня, ты пожелала умереть! Неужели теперь я останусь жить лишь из страха смерти? Никогда этого не будет!» И он снял с себя и отдал Пьетро свою одежду коричневого сукна, сказав: «Ступай теперь, Пьетро». Когда тот ушел, Ромео заперся у себя один, и любые несчастья на свете казались ему менее горестными, чем жизнь. Он долго думал о том, как ему теперь быть, и наконец, переодевшись в крестьянское рубище и спрятав в рукав склянку со змеиным ядом, что он на всякий случай давно хранил у себя в одном из ящиков, побрел в сторону Вероны, готовый либо лишиться жизни от руки правосудия, если будет обнаружен, либо, замкнувшись со своей подругой в склепе, который был ему хорошо известен, возле нее умереть.

Из двух горестных исходов ему был уготован, очевидно, второй, ибо вечером следующего дня после похорон его подруги он, никем – не – узнанный, уже был в Вероне и, дождавшись ночи и убедившись, что все вокруг затихло, пробрался к монастырю миноритов, где находился склеп. Это был тот храм вблизи крепостных строений, где монахи тогда пребывали, но позднее, неизвестно почему, они их покинули, хотя там бывал сам святой Франческо, и поселились близ Сан Дзено, на месте, что именуется ныне Сан Бернардино. У стен храма с внешней стороны тогда стояли каменные склепы, как это можно часто увидеть в других местах близ церквей. Один из них был древней усыпальницей всего рода Каппеллетти, и там лежала прекрасная Джульетта. Приблизившись к склепу (а было тогда, наверное, часа четыре утра), Ромео, юноша очень сильный, с трудом поднял плиту и колыями, что он с собой захватил, подпер ее таким образом, чтобы она сама собою не захлопнулась, спустился внутрь и тогда закрыл за собою вход. Несчастный юноша принес с собою фонарь с заслонкой, чтобы поглядеть в последний раз на свою подругу. Едва оказавшись в склепе, он открыл и поднял фонарь и увидел, что его милая Джульетта лежит среди костей и истлевших одежд мертвецов. И тогда, проливая обильные слезы, начал так: «Очи, вы были моим очам, пока небо мне благоволило, яркими светочами! Уста, мною тысячу раз нежно целованные! Прекрасная грудь, с радостью дававшая отдохновение моему сердцу! Зачем обрел я вас слепыми, немыми и хладными? Зачем видеть, говорить и жить мне без вас? О горестная моя супруга, куда приведена ты Амуром! Неужто ему угодно, чтобы в этом узилище угасли и упокоились мы оба – несчастные влюбленные? Увы, не то сулила мне надежда, не то сулила мне страсть, какую зажгла во мне твоя любовь! О злосчастная моя жизнь, неужто ты мне еще нужна!» И, восклицая так, он целовал ей глаза, уста и грудь, все сильнее обливаясь слезами. «О стены, что вздымаетесь над моей головой, – продолжал он, – отчего вы не обрушитесь и не оборвете мою жизнь? Раз каждый свободно может взять свою смерть, то подло хотеть ее, но не брать». И тут он отыскал и вынул склянку с ядовитой жидкостью, которая спрятана была в рукаве, и сказал: «Я не знаю, какая судьба привела меня умирать среди останков моих врагов, мною убитых, и в их усыпальнице. Но если, о моя душа, сладко умирать подле любимой, то умрем теперь!» И, поднеся к губам горькую жидкость, всю ее принял в свою утробу. Затем, заключив любимую в объятия и крепко ее сжимая, говорил так: «О прекрасное тело, предел всех моих желаний! Если, после расставания с душой, ты еще сохраняешь в себе хоть каплю чувства, если душа твоя, расставшись с твоим телом, видит мою горькую смерть, молю вас быть милостивыми ко мне: я не мог жить открыто рядом с тобою в радости, теперь я тайно умираю подле тебя в горести и страдании». Так, продолжая крепко сжимать ее в объятиях, он ожидал смерти.

Но вот наступил срок, когда теплые токи тела должны были преодолеть леденящую и гнетущую силу порошка и Джульетта должна была проснуться. Тогда, стиснутая и сжатая объятиями Ромео, она очнулась в его руках и, недовольная, глубоко вздохнув, сказала: «Ах, где я? Кто меня обнимает? Несчастливая я, кто меня целует?» Думая, что это брат Лоренцо, она воскликнула: «Уж так ли вы, отец мой, храните верность Ромео? Так ли вы меня с ним соединили!» Ромео, увидев, что его подруга ожила, сильно удивился и, возможно, вспомнив Пигмалиона, сказал: «Вы не узнаете меня, милая моя подруга? Разве вы не видите, что это я, ваш супруг, который, чтобы умереть рядом с вами, тайно, без спутников, пришел из Мантуи?»

Джульетта, видя, что она находится в погребальном склепе, в объятиях человека, который называет себя Ромео, едва не лишилась рассудка, но, притронувшись к нему и много раз взглянув ему в лицо, расцеловала его тысячу раз и сказала: «Как глупо было приходиться и с таким риском проникать сюда! Разве вам мало было узнать из моих писем, что я с помощью брата Лоренцо должна была, пройдя через мнимую смерть, вскоре соединиться с вами?» Тогда несчастный юноша, поняв свою великую ошибку, начал так: «О горестная моя судьба! О несчастный Ромео! О самый злосчастный среди всех любовников! Ваших писем об этом я не получил». И он рассказал ей, как Пьетро выдал ему ее мнимую смерть за истинную и как он, считая, что она умерла и чтобы не покидать ее, принял здесь, рядом с нею, яд, чья страшная сила, как он уже чувствовал, начинала посылать смерть во все его члены. Бедная женщина, услышав такие слова, была убита горем, и ей ничего не оставалось, как только бить себя в безвинную грудь и рвать на себе волосы. Ромео уже упал навзничь, и она его все время целовала, обильно орошая слезами. И, став бледнее праха, вся дрожа, она сказала: «Неужели при мне и по моей вине, господин мой, суждено вам умереть? И неужели небо допустит, чтобы я еще жила после вас, хотя бы недолго? Горе мне! Если б могла я отдать вам свою жизнь, а сама – умереть!» А юноша скорбным голосом ответил: «Если вы, надежда души моей, когда-либо дорожили моей любовью и верностью, молю вас, не отчаивайтесь после моей смерти, хотя бы для того только, чтобы думать о том, кто, пылая к вашей красе любовью, здесь перед вашим прекрасным взором умирает». А подруга ему в ответ: «Если вы умираете из-за моей мнимой смерти, что же мне делать из-за вашей истинной! Я жалею лишь о том, что мне не суждено умереть раньше вас, я ненавижу себя за то, что еще жива, но я твердо верю, что пройдет немного времени и я – ныне причина вашей гибели – стану вашей спутницей в смерти». И, произнеся с великим усилием эти слова, она лишилась чувства, а потом, придя в себя, стала прекрасными устами жадно пить последнее дыхание возлюбленного, который быстрыми шагами приближался к своему концу.

Брат Лоренцо, памятуя о том, когда и при каких обстоятельствах Джульетта выпила порошок и была погребена как умершая и что наступит время, когда этот порошок перестанет оказывать свое действие, направился к склепу с одним из верных своих товарищей примерно за час до рассвета. Прибыв туда и услышав, что она плачет и стонет, он заглянул сквозь трещину в плите, заметил внутри свет и, изумленный, подумал, что, когда туда принесли Джульетту, там забыли фонарь, а что сейчас, очнувшись, она сетует и плачет либо от страха перед мертвецом, либо боясь остаться там запертой навсегда. С помощью товарища он поспешно открыл гробницу и увидел, что Джульетта, растрепанная и бледная, сидит на погребальном ложе, прижимая к груди уже почти безжизненное тело возлюбленного. Тогда монах воскликнул: «Неужели ты боялась, дочь моя, что я оставлю тебя здесь умирать?», на что она, услышав подобные слова монаха и заливаясь слезами, сказала: «Нет, теперь я боюсь другого – как бы вы не извлекли меня отсюда живой. Ради бога, закройте гробницу и уходите, оставьте меня умирать! Или дайте мне кинжал, чтобы, пронзив себе грудь, я избавилась от мучений. Отец мой, отец мой! Так-то вы отправили мое письмо, так-то защитили наше супружество, так-то соединили меня с Ромео! Видите, он у меня на руках бездыханный». И она, показав на Ромео, рассказала, как все произошло. Услышав об этом, брат Лоренцо чуть от горя не обезумел и, глядя на юношу, расстававшегося с этой жизнью, чтобы перейти в другую, взмолился: «О Ромео, какой бедою отнят ты у меня! Поговори со мною, посмотри на меня! О Ромео, видишь свою дорогую Джульетту – она просит, чтобы ты посмотрел на нее! Почему ты не отвечаешь той, что держит тебя

на коленях!» При звуке любимого имени Ромео приоткрыл глаза, в которых уже стояла близкая смерть, и, взглянув на подругу, вновь смежил веки, и вскоре, когда смерть разлилась по всем его членам, тяжело вздохнув, скончался.

Когда злосчастный любовник умер так, как мною рассказано, и когда после стольких пролитых слез стало светать, монах спросил: «Что же ты будешь делать, Джульетта?», она печально ответила: «Я умру здесь». — «Дочь моя, не говори так, — возразил он, — выйди отсюда, и, хотя я сейчас не знаю, что делать и что сказать, ты всегда сможешь заточить себя, в святой монастырь и там, если надобно, постоянно молить бога за себя и за умершего твоего супруга». Джульетта на это ответила: «Отец мой, ничего иного не прошу я от вас, кроме одной милости, которую вы должны оказать мне из любви к его дорогой памяти (и она указала на Ромео), — ничего никому не сообщать о нашей смерти, дабы наши тела могли остаться навсегда вместе в этой гробнице; а если случайно об этом станет известно, то прошу вас ради той же любви и ради нас обоих умолить несчастных родителей наших благосклонно позволить нам лежать в одной могиле, не разлучая тех, кого любовь сожгла одним огнем и вместе привела к смерти». И, склонившись над распростертым телом Ромео, она положила его голову на подушку, принесенную вместе с нею в склеп, плотнее закрыла ему глаза и оросила слезами его хладное лицо, воскликнув: «Как мне быть теперь без тебя, господин мой? Что я могу теперь сделать для тебя, как не последовать за тобою дорогой смерти? Нет, ничего другого мне не осталось! Только смерть была способна разлучить меня с тобой, теперь и она сделать этого не сможет!» И, сказав так, с великой болью в душе, с мыслью об утрате милого возлюбленного, она решила больше не жить, глубоко вздохнула и на время затаила в себе дыхание, а затем исторгла его с громким криком и упала замертво на бездыханное тело Ромео.

Когда брат Лоренцо увидел, что Джульетта умерла, он, исполненный великой жалости, долго оставался безутешен и с сердцем, пронзенным скорбью, горько плакал вместе сотоварищем над мертвыми любовниками. Неожиданно стража Подесты, преследуя какого-то вора, нагрянула к склепу и, услышав плач в гробнице, откуда проникал свет фонаря, всем скопом бросилась туда. Окружив монахов, стражники закричали: «Что это — вы здесь делаете, отцы святыя, в такой ранний час? Уж не собрались ли вы осквернить эту могилу?» Брат Лоренцо, узрев стражу, предпочел бы скорее умереть, чем оказаться ею застигнутым. Но им он сказал: «Ни один из вас не сможет ко мне приблизиться, я не из тех, кого вы смеете тронуть[80 - Духовные лица могли быть схвачены или судимы только с разрешения церковных властей.]. И если вам что надо, спрашивайте издали». Тогда начальник стражи сказал: «Мы хотим знать, зачем вы открыли гробницу Каппеллетти, куда лишь позавчера положили их молодую наследницу. И если бы я не знал вас, брат Лоренцо, как человека добрых нравов, я бы сказал, что вы пришли ограбить покойников». Монахи на это заявили, погасив фонарь: «Что мы тут делали, ты не узнаешь, знать это тебе не положено». А начальник ответил: «Ладно, но я доложу государю». Тогда брат Лоренцо, осмелев от отчаяния, произнес: «Доложи, если желаешь», — и, закрыв гробницу, вошел со своим товарищем в храм.

Уже почти рассвело, когда монахи отделались от стражников. Но сразу же нашелся человек, который поведал обо всем, что произошло с двумя монахами, одному из Каппеллетти. А эти последние, зная к тому же о дружбе брата Лоренцо с Ромео, устремились к государю, прося его силой, если не удастся иначе, выведать у монаха, что он искал в гробнице. Тогда государь, расставив стражу так, чтобы монах не сбежал, послал за ним и потребовал его к себе. И когда его привели, государь спросил: «Что вы искали нынче утром в усыпальнице Каппеллетти? Скажите, нам непременно требуется это знать». На что монах ответил: «Государь мой, я охотно скажу об этом вашей милости. Я был исповедником дочери мессера Антонио Каппеллетти, которая недавно столь странным образом скончалась, и, поскольку я очень любил ее как духовную дочь, а на похоронах ее присутствовать не смог, я пошел туда прочитать над нею молитвы, те, что, если их повторить девять раз, могут избавить душу от мук чистилища. Об этом многим людям неизвестно, а другие, этого не понимают, поэтому глупцы толкуют, будто я пошел туда грабить покойников. Не знаю, такой ли уж я злодей, чтобы идти на подобные дела. Мне вполне хватает этой бедной рясы и веревки,

я ни гроша не дал бы за все сокровища живых; на что же мне одежда покойников! Зло творит тот, кто чернит меня таким образом».

Государь был уже готов ему поверить, если бы кое-кто из монахов, питавших недобрые чувства к брату Лоренцо, узнав; что его застигли в усыпальнице, не поспешили туда проникнуть и, открыв ее, не обнаружили внутри тело мертвого любовника.

Они сразу же бросились с громкими криками к государю, который еще беседовал с монахом, и сообщили ему, что в гробнице Каппеллетти, там, где прошлой ночью застали монаха, лежит мертвый Ромео Монтеки. Это показалось настолько невероятным, что все пришли в величайшее изумление. И тогда брат Лоренцо, увидя, что он более не в состоянии скрывать то, что он хотел было утаить, пал на колени перед государем, воскликнув: «Простите, государь мой, что, отвечая на ваш вопрос, я солгал вашей милости. Я сделал так не по злобе и не из корысти, а дабы сохранить верность слову, данному мною двум несчастным погибшим влюбленным». И он вынужден был в присутствии множества собравшихся рассказать всю историю событий.

Бартоломео делла Скала, выслушав ее, от великой жалости едва не заплакал и, пожелав сам увидеть умерших, отправился к усыпальнице в сопровождении огромной свиты. Он приказал вынести любовников, расстелить два ковра и положить на них оба тела в церкви Сан Франческо. В церковь эту пришли родители умерших и горько плакали над телами своих детей. Сломленные двойной скорбью, они, хотя и были врагами, обняли друг друга, и таким образом из-за жалостной и скорбной кончины двух любовников прекратилась долгая вражда между их домами, которую до этого не могли пресечь ни мольбы друзей, ни угрозы государя, ни жестокие утраты, ни само время. Для могилы любовников заказали прекрасный памятник, на котором высекли слова о причине их гибели, и там их обоих похоронили после церемонии, совершенной с величайшей торжественностью в присутствии оплакавших их родителей, всех жителей города и государя.

Таков жалостный конец любви Ромео и Джульетты, как описано мною и как мне поведал Перегрино из Вероны.

Аньоло Фиренцуола

Из «Бесед о любви»

Новелла I

Пикколо, направлявшийся в Валенсию, занесен сильной бурей в Берберию и продан в рабство. Жена хозяина в него влюбляется и из-за любви к нему становится христианкой. Бежав вместе с ней на корабле одного из своих друзей, он попадает в Сицилию; там их узнают и обратно отправляют к царю. Не доезжая Туниса, они отброшены бурей в Ливорно, где, будучи захвачены корсарами, затем спасаются и, вернувшись во Флоренцию, живут счастливо

Так вот, жили в наших краях[81 - Под «нашими краями» следует понимать Флоренцию.], а было это очень давно, два гражданина высокого происхождения и богато одаренные благами Фортуны, которые, не довольствуясь подвигами своих предков и не считая чужие деяния за истинные украшения, приобрели себе славу и признание собственными деяниями и тем самым больше прославили свой род, чем он их; а ученостью,

обходительностью, равно как и множеством других достоинств, они стяжали себе во Флоренции такое имя, что счастлив был бы тот, кто сумел бы похвастаться лучшим; в числе же прочего, что было в них похвального, они питали друг к другу такую любовь и столь сердечную братскую привязанность, что во всякое время, где был один, там был и другой, чего хотел один, того хотел и другой.

Так жили эти юноши похвальной и спокойной жизнью, но Фортуна, казалось, стала им завидовать, ибо случилось, что один из двух друзей, Никколо дельи Альбици, получил известие о смерти брата своей матери, богатейшего купца в Валенсии, который, не имея ни детей, ни других близких родственников, оставил его своим единственным наследником. Посему Никколо, дабы увидеть свое достояние собственными глазами, решил отправиться в Испанию, а для этой цели он попросил Коппо (так звали его друга) отправиться вместе с ним, и тот согласился с великой радостью.

И уже оставалось им выбрать день отъезда, как вдруг им на беду, а может быть на счастье, как раз в то время, когда они собирались уехать, отец Коппо, по имени Джован Баттиста Каниджани, так тяжело занемог, что по прошествии немногих дней преставился. Таким образом, если Никколо хотел ехать, ему приходилось ехать одному; и вот он, покидая своего друга скрепя сердце, особенно же в таких обстоятельствах, но принуждаемый необходимостью, направил свой путь в Геную и там, сев на генуэзский корабль, пустился в плавание.

Но Фортуна всемерно препятствовала этому путешествию, ибо не успел он отъехать на сто миль от берега, как вдруг, на заходе солнца, море, побелев, начало вздвигаться и множеством других знамений стало угрожать им великой бурей. Посему, тотчас же приметив это, хозяин корабля хотел распорядиться как можно скорее предотвратить беду, но дождь и ветер внезапно обрушились на судно с таким неистовством, что не позволяли делать то, что было необходимо; к тому же воздух вдруг потемнел настолько, что уже ничего нельзя было разглядеть, разве только тогда, когда внезапно вспыхивала молния, которая тут же и столь же внезапно погружала их в еще большую темень, придавая окружающему еще более ужасный и устрашающий вид.

Сколь жалкое зрелище являли собою бедные пассажиры, которые также пытались бороться с небесными грозами, но очень часто делали как раз обратное тому, что было нужно! А если хозяин им что-либо говорил, то страшный шум падающего дождя и разбивающихся друг о друга волн, скрип снастей и свист парусов, а также раскаты грома и стрелы молний создавали такой жуткий грохот, что никто не мог расслышать ни слова; и чем больше росла беда, тем больше теряли они силы и присутствие духа. Как вы думаете, каково было на сердце у этих несчастных при виде корабля, который, то словно хотел вознестись на небо, то в следующее мгновение, рассекая море, словно стремился погрузиться в преисподнюю? Как, полагаете вы, вставали у них дыбом волосы, когда казалось, будто все небо, превратившись в воду, готово было дождем низринуться в море, а море, вздуваясь, вот-вот готово было взгромоздиться на небо? Каково, считаете вы, было состояние их духа при виде того, как другие выбрасывали в море свое лучшее добро или когда они сами его выбрасывали во избежание худшего зла?

Изнемогавший под ударами, брошенный на произвол ветров, то гонимый ими, то сотрясаемый валами, полный воды корабль носился в поисках утеса, который положил бы конец страданиям злосчастных мореходов, а они, уже больше не зная, что делать, обнимая и целуя друг друга, предавались плачу и воплям о спасении, насколько им хватало глотки. О, сколько было таких, которые, сами нуждаясь в утешении, хотели утешить других, но слова их прерывались вздохами или слезами! О, сколько было таких, которые совсем недавно глумились над небом, а теперь казались монашками на молитве! Кто взывал к деве Марии, кто к святому Николаю Барийскому, кто громкими воплями призывал святого Иеремию, кто хотел идти ко гробу господню, кто сделаться монахом, кто жениться из любви к господу; этот купец готов отказаться от всего нажитого, тот покончить с ростовщичеством; кто зовет отца, кто мать, кто вспоминает друзей, кто детей. Необходимость видеть страдания друг друга, сочувствовать друг другу, слышать жалобы друг друга – все это тысячекратно усугубляло бедствие.

И вот в то время, как несчастные обретались в такой опасности, мачта, настигнутая могучим порывом ветра, сломалась, и корабль, расщепившийся на тысячу частей, выкинул большую часть своих пассажиров в страшное море на снесь рыбам и морским чудовищам. Иные, более, быть может, находчивые или более обласканные Фортуной, нашли себе спасение кто на одной доске, кто на Другой. В числе их Никколо, обнявши какую-то доску, не выпускал ее из рук до тех пор, пока его не прибило к берберийскому берегу в нескольких милях от Сузы. Попав туда и замеченный несколькими рыбаками, пришедшими в это место на рыбную ловлю, он возбудил в них сочувствие к своей судьбе. Посему, тотчас же взяв его с собой, они отвели его в маленькую хижину, находившуюся поблизости, и, разведя большой костер, положили его у самого огня.

С великим трудом приведя его в чувство, они заставили его говорить, и, слыша, что он изъясняется по-латыни, они подумали, как это и было на самом деле, что он христианин. Уже не помышляя в то утро о лучшем улове, они с общего согласия отвели Никколо в Тунис и там продали его в рабство знатному дворянину той страны по имени Ладжи Амет. Увидев, что он молод и хорош собой, хозяин решил оставить его при себе для личных услуг, в каковых тот показал себя настолько прилежным и расторопным, что в короткое время полюбился и ему и всем домашним.

Но больше всего полюбился он жене хозяина, одной из самых умных, добрых и красивых женщин, когда-либо до того или в ту пору живших в этих краях; и так он ей понравился, что она ни днем, ни ночью не находила себе места и приходила в себя, только видя его или внимая, его речам. И она так сумела обойти мужа, что он заподозрил бы ее в любом другом деле, только не в этом, и он подарил этого невольника ей в личное услужение. От этого госпожа получила превеликое утешение и молча сносила любовный пламень в течение многих дней. И она не прочь была еще долго наслаждаться подобным образом, чтобы муж ничего не замечал, но благодаря постоянному общению пламень этот разросся настолько, что ей уже надобно было тушить его каким-нибудь способом. Много раз принимала она решение обнаружить перед Никколо этот огонь, но всякий раз, как она собиралась исполнить свое намерение, ее тотчас же удерживали и стыд быть влюбленной в раба, и мысль о том, что ему нельзя доверять, и те великие опасности, которым, как она видела, подвергается ее честь и ее жизнь. Поэтому очень часто, оставаясь в одиночестве, она, вся изнывая, так говорила сама с собой:

– Потуши, глупая, потуши в себе этот огонь, покуда он только начинает разгораться, ибо если сейчас достаточно будет нескольких пригоршней воды, то потом, когда он тебя одолеет, не хватит и всех волн морских. О слепая женщина, разве ты не сознаешь того позора, который ты на себя навлекла бы, если бы когда-либо через кого-либо стало известно, что ты подарила свою любовь чужеземцу, рабу, христианину, которому ты не успеешь и слова вымолвить о свободе, как уже дашь ему повод бежать и оставить тебя, несчастную, оплакивать свое безумие? Разве ты не знаешь, что там, где нет удержу мечте, не может удержаться и любовь? Как же ты можешь надеяться быть любимой человеком, у которого нет иной мысли, как вернуться на свободу? Так откажись же от этого безумного намерения, брось столь призрачную любовь, и, если тебе все же хочется запятнать свое доброе имя, пусть на то будут причины, по крайней мере такие, которые не принесут тебе сугубого стыда, но извинят тебя в глазах всех тех, кто как-нибудь проведал бы о твоём поведении.

Однако кому же я это говорю, несчастная, и к кому обращаю я такие мольбы! Как смею я следовать своему желанию, раз я принадлежу другому? Такие мысли, такие рассуждения, такие решения не тебе пристали, мужнина жена, но тем, кто вольны собой распоряжаться и не находятся чужой власти, как я, навеки обреченная склонять свой слух на чужой зов, туда, куда позовет меня другой!

Так расточай же, глупая, расточай слова, но на более здравое рассуждение; не теряй больше времени, не изводи себя больше, ибо то, чего ты не сделаешь сегодня, тебе

придется сделать завтра с большим для себя ущербом. Так добейся же того, чтобы желание твоего возлюбленного совпало с твоим желанием, подумай, что он, хотя и чужеземец, не должен от этого быть менее ценим ни тобою, ни кем-либо другим, ибо, если нельзя дорожить иными вещами, чем теми, которые рождаются в наших краях, я не понимаю, почему золото и жемчуг и другие более драгоценные вещи имеют и за пределами тех стран, где они рождаются, ту цену, какую они действительно имеют. Фортуна сделала его рабом, но при этом она не лишила его изысканных манер и тонкости обхождения. Я же распознаю благородство его души, я же вижу блеск всех его добродетелей! Фортуна не властна изменить происхождение. Стать рабом – это может случиться со всяким. Это не его вина, но вина Фортуны, и потому я должна презирать Фортуну, а не его. Когда бы я сделалась рабой, ведь тогда только по душе моей он мог бы узнать, что я осталась сама собой. Так, значит, все это не мешает мне его любить. Да и что может мне помешать? Не то ли, что он другой веры? Ах, глупая, как будто я многим более тверда в своей вере, чем в его? И хотя бы я тысячу раз обладала безусловной твердостью, ведь, полюбив его, я вовсе еще не отрекаюсь от своей веры и не делаю ничего враждебного нашим богам. Кто знает, если он полюбит меня, как я люблю его, мне, быть может, удастся уговорить его поверить в наш закон? Этим я зараз совершу дело, угодное и мне и нашим богам.

Так почему же я сама себе противоречу? Почему я противлюсь своей радости? Почему я не повинуюсь своим желаниям? Так, значит, я думаю, что могу стоять против законов Амура? О, как глупа была бы моя мысль, если бы я, жалкая бабенка, которая только и служит трутом его огнива, вообразила, что могу избежать того, чего не могли избежать тысячи мудрых людей! Так пусть же желание мое победит все прочие доводы и пусть слабые силы нежной молодой женщины не противятся силам столь могущественного повелителя.

После того как влюбленная препиралась и боролась сама с собой такими и им подобными рассуждениями, предоставив наконец победу той стороне, к которой Амур, по собственному ее желанию, принуждал ее склониться, – лишь только ей представился случай, она, увлекши Никколо в сторону и поведав ему свои мучения, попросила ответить ей на ее любовь.

Призадумался поначалу Никколо, услышав такие речи, и разные мысли закружились у него в голове, и родилось подозрение, не поступает ли она так, чтобы его испытать, и уже склонялся он к тому, чтобы дать ей неблагоприятный ответ. Однако, мысленно перебирая разные доказательства любви, которые он, бывало, от нее получал, и видя, что она куда более скромна, чем бывают женщины в этих краях, и припомнив повесть о графе Анверском и королеве французской [82 - Речь идет об истории, рассказанной в «Декамероне» Боккаччо (день второй, новелла 8), про графа Анверского, которого ложно обвиняют и он отправляется в изгнание. Вернувшись неузнанным, он поступает в качестве конюха к французскому королю, признается повинным и возвращается в прежнее состояние.] и тысячу подобных случаев, он решил, что было бы правильным, – а там будь что будет, – сказать ей, что ой готов исполнить все ее желания. Так он и сделал.

Вместе с тем, для того ли чтобы приохотить ее или потому, что ему все-таки хотелось немного испытать ее или посмотреть, как она будет себя вести, – он, прежде чем дойти до конца, отвлекал ее в течение нескольких дней. А когда она, хотевшая не слов, а совсем другого, стала на него, как говорится, наседать, Никколо, убедившись по множеству признаков, что хозяин положения он, и для того, как мне кажется, чтобы, как только представится для того случай, привести в исполнение один задуманный им план, решил попытаться обратить ее в христианство, прежде чем удовлетворить ее желание. И вот в красивых и подбожающих выражениях он сказал ей, что готов исполнить любую ее просьбу, но умоляет ее обещать ему выполнить только одно весьма для нее легкое обязательство, которое он на нее возложит. А так как ей казалось, что она целую вечность дожидается осуществления своего замысла и, не задумываясь о том, чего он мог бы от нее хотеть, она, увлекаемая своим желанием, пообещала ему и поклялась на тысячу ладов сделать все, что он от нее потребует, в

ответ на это он самым привлекательным образом изложил свое намерение.

Тяжелым поначалу показалось ей поставленное им условие, и не будь в ней, о чем она сама не раз говорила, потребности подчиняться чужой воле, я нимало не сомневаюсь, что она наделала бы глупостей. Но Амур, который нет-нет, но тоже творит чудеса, так хорошо сумел убедить ее, что после тысячи колебаний, после тысячи безумных мыслей она была вынуждена сказать: «Делай со мной что хочешь».

И вот — чтобы уж дольше не томить вас — она в тот же день приняла крещение и в тот же день они обвенчались и вступили в брак в тот же день. И столь сладостными показались ей таинства этой новой веры, что она, как некогда Алибек, ежечасно корила себя за то, что так долго медлила ее отвеждать, и настолько пришлось ей по вкусу те глубокие познания, которые ей открылись, что она чувствовала себя хорошо лишь тогда, когда постигала новое вероучение[83 - В 10 новелле третьего дня Боккаччо рассказывает о том, как Алибек становится пустынною и монах Рустико научает ее, как «загонять дьявола в ад».]

Между тем, в то время как они — Никколо как наставник, а она как ученица, — никем не замеченные, пребывали в столь сладостной школе, Коппо, друг Никколо, услышав о его несчастий и твердо решив его спасти, с большой суммой денег отправился в берберийские края и как раз в те дни прибыл в Тунис.

Едва — с немалым трудом — высадился он на берег, как ему повстречался Никколо, случайно откуда-то возвращавшийся со своей госпожой. И после того как они, с великим трудом узнав друг друга, обнимались и целовались без числа, Никколо, услышав о причине его приезда и поблагодарив его как подобало, наказал ему, чтобы он ни с кем не обмолвился словом о его спасении, пока он сам опять не заговорит с ним об этом; обещая сообщить ему причину при более удобном случае и, назначив ему место встречи на следующий день, он, ничего более не сказав, простился с ним.

Госпожа его тотчас же захотела узнать, кто это был и о чем они говорили, как и подобало женщине, все время ревновавшей и боявшейся, как бы даже птицы, летающие по воздуху, не похитили у нее любовника, но Никколо, который, за словом в карман не полезет, наговорив ей всякого вздора, удовлетворил ее вполне.

Конечно, Никколо, как всякому ясно, питал страстное желание вернуться домой, но, будучи уверен, что, стоит только воспламененной женщине что-либо заметить, она либо совсем его погубит, либо во всяком случае нарушит все его планы, он колебался, не зная, на что решиться. Это и было причиной, почему он не захотел, чтобы Коппо с кем-либо о нем говорил. К тому же я полагаю, что та великая любовь, которую долгая привычка поселила в его сердце (вы ведь прекрасно знаете: Любовь, любить велевшая любимым[84 - Прямая цитата из «Божественной Комедии» («Ад», песнь V, 103), слова Франчески да Римини.]), поставила бы на его пути столько опасностей и столько сомнений, что он согласился бы оставаться там, куда его забросила Фортуна. Однако он от всего этого не был до такой степени вне себя, чтобы не видеть, как его возлюбленная настолько очертя голову отдается своим желаниям, что Ладжи Амет не мог в конце концов этого не заметить.

Взвесив все эти доводы, он не раз собирался испытать ее, не захочет ли она поехать вместе с ним на его родину, и, видя, насколько она им ослеплена, питал твердую уверенность, что ему не так уж трудно будет ее уговорить; но так как он до сих пор не находил ни способа, ни средства, он пока что об этом молчал. Теперь же, когда приехал Коппо, он считал приезд его настолько своевременным, что все могло удалиться, и решил, что хорошо было бы с ней поговорить об этом, прежде чем говорить о своем побеге с другими. Поэтому, повидавшись друг с другом и взвесив все доводы за и против, друзья в конце концов и порешили, что необходимо приступить к делу, когда красавица этого пожелает.

И вот, выбрав достаточно подходящее время и место, Никколо подступил к ней с такими

речами:

– Госпожа моя сладчайшая, думать о средствах спасения, когда попадешь в беду, которой можно было избежать с самого начала, – не что иное, как, не зная ничего, кичиться своим задним умом. Если мы не захотим оказаться в числе таких людей, нам, как мне кажется, необходимо, пока мы еще не сломали себе шею, миновать те опасные пути, на которые нас увлекает наша любовь. Она же настолько решительно нами завладела, – как вы могли в том убедиться еще лучше, чем я, – что я опасаясь, вернее убежден, что она может оказаться причиной нашей гибели, если мы не примем должных мер. И поэтому я много раз размышлял сам с собой, какое нам избрать средство, чтобы избежать столь великой опасности, и в числе многих, мелькавших перед моим воображением, оставалось два, представлявшихся мне менее трудными, чем все прочие: первое – измыслить, как бы мало-помалу положить конец нашей любовной привычке; но это, если только ваше пламя не уступает моему, будет для вас так мучительно, так трудно, что всякое другое трудное решение покажется вам менее тяжким, чем это. И потому мне, на мой взгляд, всегда казалось более привлекательным другое средство, которое, хотя оно поначалу и представится вам трудным и недоступным, я не сомневаюсь, что, когда вы хорошенько о нем подумаете, оно окажется таким, что вы решитесь прибегнуть к нему во что бы то ни стало, ибо вы увидите, что оно ведет к пользе и чести вашего любовника, вашего мужа и к постоянной возможности наслаждаться нашей любовью без подозрений и без всякой опасности.

А средство это – поехать со мной в нашу прекрасную Италию, о которой, сравнивая ее с этой страной, мне сейчас нет необходимости говорить, ибо вы много раз уже раньше слушали такие рассуждения и от меня и от других. В середине ее, под самым благодатным небом, расположена Флоренция, сладчайшая моя отчизна, которая (да не в обиду сие будет сказано всем прочим) бесспорно самый красивый город во всем мире. Не будем говорить о храмах, дворцах, частных домах, прямых улицах, красивых и просторных площадях и всем остальном, что вы увидите за городскими стенами; местности, ее окружающие, сады, уголья, которыми она богаче всякого другого города, покажутся вам не чем иным, как раем; там – если бы только господь оказал нам милость благополучно туда попасть, – ему одному ведомо, сколь радостна будет ваша жизнь и сколь часто вы ежедневно будете корить себя за то, что не вы первая предложили мне уехать.

Но оставим вашу пользу и ваше удовольствие, каковы, я знаю, вы ни во что не ставите по сравнению с моей пользой и моим удовольствием; если бы даже все увлекало вас в другую сторону, разве не убедила бы вас мысль о том, из какого ужасного положения вы извлечете вашего любовника, вашего мужа, который так горячо вас любит, что – только бы не покидать вас – живет рабом в чужой стране, в то время как мог бы жить свободным на своей родине. Да, мог бы, говорю я, ибо теперь мне нетрудно было бы найти средство для спасения, если бы только любовь, которую я к вам питаю, позволила мне поступить согласно моему желанию; ведь тот христианин, с которым я беседовал на днях, почти уже договорился с вашим мужем. Но упаси боже, чтобы я уехал без моей возлюбленной, без моей госпожи, без души моей, которая, я это знаю, так меня любит, так доверяет моим словам, что я будто уже вижу, как мысли ее склоняются в желательную для меня сторону.

Но увы! Какая помеха удерживает вас, мадонна, и не дает мне услышать тотчас же, как мне того бы хотелось, столь любезные мне слова? Может быть, вам кажется диким покинуть вашу родину? Разве вы не знаете, что для такой храброй женщины, как вы, всякое жилище – родина? И если я ваше благо, как вы сами мне уже тысячу раз о том говорили, разве там, где я буду, не будет для вас и отчизна, и муж, и родные, которых вы, сколько бы вы их здесь ни оставили, столько же, мало того – по сотне на каждого оставленного – найдете и там; общение с нашими женщинами, особенно же с моей сестрой, понравится вам настолько, что вам покажется, будто вы докинули диких зверей, чтобы поселяться среди людей. А эта сестра моя, не говоря о ее природной привлекательности, когда узнает, что и сколько вы для меня сделали, так вас

обласкает и примет вас с такой радостью, что вы тысячу раз в день будете меня благословлять за то, что я привез вас в страну, полную таких утех.

О том же, каковы там мужчины, нам с вами спорить не приходится, так как вы давно уже вынесли им приговор, ибо если я, будучи по сравнению с ними куда хуже того доблестного мужа, за которого вы меня здесь почитаете, так сильно вам понравился и нравлюсь, что вы любезно отдали мне в дар самое себя, то остальные должны будут понравиться вам настолько же больше, насколько они более достойны такого знатока, как вы.

Может быть, хотя все прочие доводы и склоняют вас к отъезду, вас удерживает страх перед тем, что будут говорить о вас в этих краях после вашего отъезда? Ах, госпожа моя, пусть и это не помешает вам облагодетельствовать зараз и себя и меня: не то, чтобы я отрицал, что честь должна быть предпочитаема всему остальному, или признавал бы верным мнение тех, кто утверждает, будто не следует обращать внимания, если о нас говорят плохо за нашей спиной, но я считаю, что ни вы, ни кто другой не должны заботиться о поклепах, возводимых на вас понапрасну в случае, если кто вздумает вас упрекать. Кто вправе корить вас за то, что вы отреклись от ложной веры и приняли истинную? Или за то, что вы бежите от тех, кто является самыми заклятыми врагами нас, христиан? Или за то, что вы находите приют на родине вашего мужа? Что вы спасли его от рабства? Никто из обладающих здравым рассудком! И поистине без числа будут те, кто вас за это похвалит и будет превозносить до небес.

О чем же вы думаете, сладчайшая моя душа? Может быть, вас удерживают трудности и опасности, которые вы видите в таком решении? Если дело только в этом, мне хотелось бы строго пожуричь вас, ибо, хотя я никакой опасности и не предвижу, все же, даже если она и есть, можно еще сомневаться в ней, в то время как оставаться здесь и продолжать делать то, к чему нас принуждают наши любовные страсти, – опасность явная. А кто бы не пошел на возможную опасность, чтобы избежать такой, которую он считает неминуемой? Что касается трудностей, я беру их на себя, и, если только господь не лишит меня вашего благоволения, дарующего мне радостную жизнь в рабстве, я даю вам слово, что при содействии того друга, с которым вы меня видели разговаривающим несколько дней тому назад, я нашел для нас способ уехать на его корабле в полной безопасности.

Так оцените же, сладчайшая моя госпожа, насколько я вам доверяю, если обнаружил перед вами столь важные замыслы. Примите во внимание, сколько блага принесет такое решение. Убедитесь, что ни боязнь за вашу честь, ни страх перед опасностями и перед трудностями не должны вас удерживать, и потому будьте готовы спасти меня от рабства, будьте готовы сопровождать меня в мой прекрасный город, нет, в ваш город, к вашим родным и к вашей сестре, которая уже давно вас ожидает и со слезами на глазах, сложив руки на груди, умоляет вас вернуть ей меня вместе с вами.

И, сопровождая эти последние слова проявлениями любви, от которых растрогались бы камни, и слезами, насколько это казалось ему приличным для мужчины и для подобного случая, он замолчал.

Слова его настолько тронули сердце влюбленной молодой женщины, что, хотя такое решение казалось ей тяжким и неожиданным и ее воображению представлялись тысячи затруднений, тысячи опасностей и все те вероломства, которые, как говорят, вы, мужчины, совершаете по отношению к доверчивым влюбленным, она, принуждаемая великой любовью, от которой высокая гора казалась ей равниной, и будучи великодушной женщиной, не тратя лишних слов, ответила ему, что готова исполнить его желание.

И вот, – я не хочу утомлять ваше внимание, – после того как они вместе с Коппо распорядились о том, как и когда начинать действовать, и запаслись всем необходимым, молодая женщина, собрав предварительно изрядный запас золота, серебра и иных драгоценностей, в одно прекрасное утро, прикинувшись, что идет на прогулку, отправилась вместе с Никколо к кораблю Коппо. Не успели они прийти, как она и все

те, которым предстоял переезд, делая вид, что хотят осмотреть корабль, и оставив всех остальных на берегу, взошли на корабль и, как только на него взошли, тотчас распустили паруса по ветру. Те же, кто пришел вместе с ними, не успели ничего заметить, прежде чем беглецы не удалились на полмили, но, догадавшись наконец о проделке, они вернулись домой, смущенные и недовольные, и довели до сведения Ладжи Амета все, что приключилось.

Вы сами можете себе представить, что поднялся великий шум и что было сделано все возможное, чтобы их догнать.

Однако попутный ветер настолько им благоприятствовал, что они доплыли до Сицилии чуть ли не раньше, чем те собрались их преследовать.

Итак, прибыв в Сицилию и высадившись в мессинском порту, они, ввиду того что женщина, не привыкшая к таким лишениям, нуждалась в некотором отдыхе, решили отвезти ее в город и позаботиться о ее поправке, поселив в лучшей из бывших там гостиниц. И так они и сделали.

Случилось, что в эти дни двор прибыл в Мессину. Поэтому посол туниского царя, приехавший на предмет ведения весьма важных переговоров с королем Сицилии, остановился, на их беду, в той же гостинице, что и они. Ему, не раз мимоходом встречавшему молодую женщину, показалось, что он ее знает, и, пока он колебался, она это или нет, к нему пришло письмо от его государя с известием о случившемся и с приказом, буде она случайно окажется в этих краях, приложить все усилия к тому, чтобы отослать ее обратно к мужу, прибегнув к содействию короля или кого следует. Посему, лишь только он прочитал письмо, он твердо решил, что это именно она, и, ничего более не выясняя, отправился к королю и доложил ему волю своего государя, на что король, немедленно заполучив к себе женщину и обоих юношей, без большого труда признал в ней ту, которую искал посол, и, желая сделать приятное тунискому царю, тотчас же, не вникая никаким доводам, отдал приказ отправить их обратно.

Каково было на душе у бедной молодой женщины и у злополучного Никколо, равно как и у Коппо, когда они услышали столь печальную весть, какие были крики, какой плач, мольбы – мне никогда не хватило бы духу пересказать вам и тысячной доли. Силой приведенные в гавань, принужденные взойти на тот же корабль, который король отдал под командование своего человека, они были отправлены обратно в Берберию как пленники туниского царя.

И вот при хорошей погоде, куда более тихой, чем им того хотелось, они подплыли близко к Карфагенскому мысу и находились в нескольких милях от него, как вдруг Фортуна, уже насытившись столькими муками и столькими испытаниями бедного Никколо, решила повернуть колесо и подняла ужасный ветер и бурю и отбросила корабль назад с такой силой, что в невероятно короткое время отнесла его в наше Тирренское море, и здесь, неподалеку от Ливорно, без мачты, без снастей и весь разбитый он попал в руки пизанских корсаров, откупившись от которых изрядной суммой денег женщина и двое юношей перебрались в Пизу. Тут они остались на несколько дней, чтобы вылечить молодую женщину, потрясенную многими страданиями и великими невзгодами.

И когда им показалось, что она начинает приходить в себя, они направили свой путь во Флоренцию. А там... нет! Я не сумею не то чтобы пересказать, но даже вообразить себе всех пышных приемов, празднеств, ласк, которые выпали на ее долю! После того как молодая женщина провела много дней среди такого ликования и к ней вернулись прежние здоровье и веселье, Никколо, вторично окрестив ее в Сан Джованни и отпраздновав крестины всем городом, пожелал, чтобы ей было дано имя Беатриче. А затем, решив обручиться с ней торжественно и по христианскому обряду и предполагая справить еще большее и еще более веселое празднество, а также связать свою дружбу с Коппо еще более тесными узами, он отдал ему в жены свою сестру, которая, помимо того, что была очень красива, нисколько не уступала в добродетели своему брату. И после того как достойно и великолепно сыграли обе свадьбы, мадонна Беатриче, изо

дня в день все больше и больше наслаждаясь и страной и общением с мужчинами и женщинами, убедилась, что Никколо ее не обманул. И она так полюбила свою невестку, а та ее, что нелегко было различить, чья дружба больше – между обеими женщинами или между обоими мужчинами, ибо все четверо, ни разу не обмолвившись дурным словом, жили в таком мире, и в таком согласии, и так весело, что вся Флоренция только о них и говорила. Они с каждым днем становились веселее, с каждым днем счастливее, с каждым днем все более и более помышляли о том, как бы угодить друг другу; и ни разу ни скука, ни раздражение вследствие чрезмерной близости или от долгой привычки не зародились в груди кого-либо из них, – напротив, умножая с каждым днем услуги, оказываемые друг другу, они в великом благополучии прожили долгие годы.

## Новелла II

Фульвио влюбляется в городе Тиволи и проникает в дом своей возлюбленной, переодевшись женщиной; она же, обнаружив в нем мужчину, радуется этой удаче. В то время как они живут себе припеваючи, муж замечает, что Фульвио мужского пола, но, поверив его словам и словам его друга, он убеждается, что Фульвио сделался таким в его доме, и оставляет его у себя на той же службе для произведения на свет детей мужского пола

Так вот, был в Тиволи, древнейшем городе латинян, некий дворянин по имени Чекк'Антонио Форнари, которому пришло в голову жениться тогда, когда другие обычно уже тысячу раз в этом раскаялись, и, как это бывает у стариков, он хотел жену только молодую и красивую. И в этом он преуспел потому, что некто по имени Джусто из рода Коронати, человек, впрочем, весьма состоятельный, но обремененный многими дочерьми, поскупившись на приданое, отдал ему одну из них, красивую и милую. Она, оказавшись замужем за стариком, который впал в детство, и лишенная тех удовольствий, ради которых, она столько времени уже стремилась покинуть родной дом, отцовскую любовь и материнские ласки, сильно этим огорчилась; и так в конце концов надоели ей в муже и кашель, и слюнявость, и прочие знаки отличия старости, что она решила чем-нибудь себя вознаградить и задумала, как только представится случай, взять себе кого-нибудь, кто лучше бы обеспечил потребности ее молодости, чем об этом позаботился ее собственный отец.

Фортуна оказалась куда более благосклонной к этой ее мечте, чем даже сама она могла того желать. Действительно, некий римский юноша по имени Фульвио Макаро, отправившись однажды летом для своего развлечения в Тиволи вместе со своим другом по имени Менико Коша, несколько раз видел молодую женщину и, так как он нашел ее красивой, каковой она и была на самом деле, горячо в нее влюбился, и, поведав о своей любви Менико, он всецело поручил себя его заботам.

Менико, который был человеком, способным вытащить руки из любого теста, не тратя лишних слов, сказал другу, чтобы он не унывал, ибо, если он решится всячески и во всем ему повиноваться, он обещает устроить все так, чтобы Фульвио смог встречаться с молодой женщиной сколько ему заблагорассудится. Вы легко поверите, что Фульвио, у которого не было другого желания, не сказал ему «Подожди до завтра», но тотчас же ответил, что готов на все, лишь бы тот как можно скорее облегчил его томление.

– Я слышал, – продолжал тогда Менико, – что муж твоей дамы ищет девочку лет четырнадцати или пятнадцати, чтобы взять ее служанкой в дом и потом выдать замуж через некоторое время, как это до сих пор еще принято в Риме. Вот я и решил, что это будешь ты: ты поступишь к нему на все то время, каковое тебе будет угодно. И выслушай как. Наш сосед, что из Тальякоццо, который иногда оказывает нам кое-какие услуги, как ты знаешь – мой большой друг. Беседуя со мной вчера утром, он мне сказал, уж не помню по какому поводу, что тот поручил ему найти такую служанку, для чего он и решил отправиться через несколько дней домой, чтобы раздобыть ее и

привести. Он человек бедный и охотно угождает состоятельным людям, так что я нисколько не сомневаюсь, что за малейшую мзду, какую бы ему ни дали, он готов будет сделать все, что мы захотим. Так вот, он сможет притвориться, что отправился в Тальякоццо, и, вернувшись дней через двадцать или через месяц, одев тебя, как одеваются тамошние крестьяночки, и выдав за какую-нибудь свою родственницу, он сумеет ввести тебя в дом к твоей даме, где тебе останется только пенять на самого себя, если у тебя не хватит духу привести в исполнение все остальное. И в этом деле нам поможет то, что у тебя белая кожа, и никакой надежды отрастить бороду на ближайшие десять лет, и женственное лицо, так что большинство, как ты знаешь, принимает тебя за женщину, одетую мужчиной. К тому же, так как твоя кормилица была из тех мест, я знаю, что ты прекрасно сумеешь говорить, как говорят тамошние крестьяне.

На все согласился бедный влюбленный, и ему казалось, что проходят тысячелетия в ожидании исхода дела, – мало того, ему уже представлялось, что он со своей дамой и помогает ей в ее домашних занятиях, и столь сильно было воображение, что он довольствовался ожидаемым не меньше, как если бы оно было действительностью. Так что без всяких отлагательств они, отыскав крестьянина, который быстро на все согласился, условились о том, что нужно было сделать, и не прошло месяца – я не хочу затягивать рассказ – как Фульвио уже находился в доме своей дамы в качестве ее служаночки и служил с такой расторопностью, что в короткий срок не только Лавиния – так звали молодую женщину, – но и все в доме очень его полюбили.

И в то время как Лючия – так назвала себя новая служанка, – устроившись таким образом, ожидала случая услужить своей госпоже иначе, чем стеля ей постель, Чекк'Антонио пришлось как-то отправиться в Рим на несколько дней. Поэтому Лавинии, оставшейся одной, пришла охота взять с собой на ночь Лючию, и когда в первый вечер обе легли в постель и одна из них, в восторге от неожиданной удачи, не могла дождаться, пока заснет другая, чтобы во время сна получить награду за свои труды, другая, которая, быть может, мечтала о ком-нибудь, кто лучше, чем муж, сумел бы выбить пыль из ее шубы, с великой страстью принялась обнимать и целовать свою служанку. И вот, забавляясь так, как это обычно бывает, она попала к ней руками в то место, по которому мужчина отличается от женщины, и, обнаружив, что это не такая же женщина, как она, сильно изумилась и, пораженная, тотчас же отдернула руку не иначе, как если бы она неожиданно наткнулась на змею под кустиком травы.

И пока Лючия, не решаясь что-либо сказать или сделать, выжидала, чем все это кончится, Лавиния, сомневаясь, она ли это, уставилась на нее, словно оцепенев. Однако, видя, что это Лючия, не осмеливаясь что-либо ей сказать и подозревая, что ей, быть может, показалось то, чего на самом деле не было, она захотела снова дотронуться рукой до такого чуда, но, найдя то же, что она нашла и в первый раз, она стала сомневаться, спит она или бодрствует. Затем, думая, что, быть может, ее обманывает осязание, она, приподняв одеяло, захотела увидеть глазами все целиком. Тут она не только увидела глазами то, что осязала рукой, но открыла в облике мужчины нечто сотворенное из снега, окрашенное цветом свежих роз, так что ей пришлось примириться со столькими чудесами и поверить, что великое это превращение свершилось для того, чтобы она могла спокойно наслаждаться годами своей молодости. Поэтому, совсем осмелев, она, обращаясь к Лючии, сказала:

– Ах, что же это я вижу нынче вечером собственными глазами? Я же знаю, что ты только что была женщиной, а сейчас вижу, что ты стала мужчиной. О, как могло это случиться? Я боюсь, что это мне привиделось или что ты какой-нибудь заколдованный злой дух, явившийся мне сегодня вечером вместо Лючии, чтобы ввести меня в злой искус. Я непременно, непременно должна разглядеть, в чем тут дело.

С этими словами проскользнув под него, она стала проделывать с ним те шутки, которые похотливые девицы очень часто проделывают с преждевременно созревшими юнцами, и таким способом она выяснила, что это был не заколдованный дух и что это ей не привиделось; и она получила от этого то утешение, какое вы сами можете себе

представить. Но вы все же не думайте, что сомнения ее прояснились с первого же раза или даже с третьего, ибо я могу поручиться вам, что, если бы она не боялась действительно обратиться к Лючии в духа, она бы не выяснила этого и на шестой раз. Однако, дойдя до шестого и обратившись от действий к разговорам, она любовными речами стала умолять ее сказать, как это случилось.

Лючия в ответ рассказала ей все, начав от первого дня своей любви вплоть до последнего часа. Та была этим обрадована превыше меры, увидев, что она любима таким юношей настолько, что он не испугался великих невзгод и опасностей ради ее любви. И, переходя от этих бесед к тысячам других, столь же утешительных, и желая, быть может, еще дойти до седьмой степени очевидности, они встали так поздно, что солнце уже проникало через оконные щели. Поэтому им показалось, что уже пора, и, уговорившись, что днем, в обществе других людей, Лючия будет оставаться женщиной, а затем ночью или когда им представится случай быть вдвоем наедине, она снова превратится в мужчину, они весело вышли из спальни. В этом святом согласии они провели много и много месяцев без того, чтобы кто-либо из домашних о чем-нибудь догадался.

И это длилось бы годы, если бы Чекк'Антонио, хотя он и был, как я говорил вам, весьма переспелым и осел его раз в месяц, и то весьма неохотно, подвозил зерно на женину мельницу, тем не менее, видя, как по дому ходит Лючия, которая показалась ему хорошенькой, не вздумал высыпать часть поклажи на ее жернов и не начал к ней приставать. А так как она боялась, как бы в один прекрасный день не вышло какой-нибудь неприятности, она стала именем божьим заклинать Лавинию спать у нее с плеч эту доuku.

После этого разговора – я не скажу вам, укусила ли Лавинию муха какая или она решила запеть перед мужем Лазаря, – но в первый же раз, как она с ним легла, могу сказать вам точно, она не величала его мессером.

– Смотри-ка, – говорила она, – что за храбрый пехотинец, который хочет отличиться как всадник! Что бы ты наделал, черт возьми, если бы был молод и силен, когда даже сейчас, на краю могилы и с часу на час ожидая своего приговора, ты собираешься увенчать мою голову столь прелестным украшением? Забудь, старый безумец, забудь о грехе так же, как он о тебе забыл: разве ты не замечаешь, что, будь ты даже весь стальной, из тебя не вышло бы и кончика дамасской иглы? О, великая тебе будет честь, когда ты доведешь эту бедную девочку, которая добрее хлеба, до того, что я чуть не назвала своим именем: вот это будет приданое, вот это будет муж! О, какая радость для отца и для матери, какое удовольствие для родни, когда они услышат, что отдали овечку в руки волкам! Скажи-ка ты мне, дурной человек, что бы ты подумал, если бы с тобой так же поступили? Разве ты на днях не расшумелся так, что поднял на ноги весь край из-за того, что мне спели серенаду? Но знаешь ли ты, что я должна тебе сказать? Если ты не переменишься, ты заставишь меня помышлять о таких вещах, о которых я до сих пор никогда не помышляла. Я не я буду, если ты в одни прекрасный день не окажешься осмеянным! Посмотришь, как я заставлю тебя найти то, чего ты добиваешься: ведь раз я вижу, что доброе поведение мне не помогает, я посмотрю, не поможет ли мне дурное. В конце концов, кто хочет хорошей жизни в этом предательском, проклятом мире, должен делать зло.

И, сопровождая эти слова двумя слезинками, выведенными с чертовскими усилиями, она так растрогала доброго старика, что он попросил у нее прощения и обещал никогда больше не обращаться к служанке ни с какими разговорами. Однако немного стоили его обещания, и, если слезы и мольбы были притворными, притворным было и сострадание, ими вызванное. Действительно, когда немного дней спустя Лавиния отправилась на свадьбу, справлявшуюся в доме семьи Тобальдо, оставив Лючию дома, так как ей слегка нездоровилось, дерзкий старикашка, найдя ее спящей не знаю уж в какой части дома, прежде чем она могла опомниться, запустил ей руку под подол и, задрав ей платье, чтобы ею насладиться, обнаружил такие вещи, которых не искал.

Пораженный этим, он простоял некоторое время как истукан, но затем, обуреваемый тысячами дурных мыслей, в самых что ни на есть резких выражениях стал допрашивать ее, что это все означает. Лючия, поначалу хотя и похолодевшая от страха, услышав обильные угрозы и страшные слова, но уже давно вместе с Лавинией обдумавшая ответ на случаи, если бы приключилось нечто подобное, и зная, что это человек простодушный, готовый поверить как в ложь, так и в истину и не такой уж страшный на деле, как он это показывал на словах, ничуть не смутилась, но, притворившись плачущей горячими слезами, стала умолять его выслушать ее объяснения. И после того как он ободрил ее несколькими более ласковыми словами, она с дрожью в голосе, опустив глаза ниц, так начала говорить:

– Знайте же, мессер, что, когда я пришла в этот дом (да будет проклят тот день, когда я в него вступила, раз со мной здесь должно было приключиться такое постыдное дело), я не была такой, как сейчас, ибо эта вещь (о боже, горькая моя судьба!) выросла у меня три месяца тому назад. Однажды, когда я во время стирки почувствовала большую усталость, она стала появляться у меня – сначала маленькая-маленькая, затем она понемногу разрасталась все больше, пока не достигла тех размеров, которые вы видите, и если бы я не увидела на днях у вашего племянничка, того, что постарше, такой же, я так бы и думала, что это какая-нибудь зловредная опухоль, потому что она меня подчас так беспокоит, что мне чего-то ужасно, хочется, сама не знаю чего; и настолько я этого стыдилась и все время стыжусь, что так и не решилась кому-либо об этом сказать. Так вот, не имея на душе ни вины, ни греха, я умоляю вас, ради бога и мадонны дель Уливо, пожалеть меня и не говорить об этом никому на свете, ибо я заверяю вас, что умру прежде, чем о бедной девушке станет известно такое постыдное дело, как это.

Добрый старикашка, который не знал, что теперь ему делать, видя, как у нее одна за другой капают слезы, и слыша, как она ловко оправдывается, начал было верить, что она не лжет. Тем не менее, так как ему казалось, что это все-таки дело не шуточное, и так как ему все время приходило на ум, как, бывало, Лавиния ее ласкала, он подозревал, что здесь дело не обошлось без греха и что Лавиния, заметив «это», воспользовалась таким случаем ему во вред; поэтому он стал более настойчиво допрашивать ее, догадывалась ли об «этом» Лавиния или нет.

– Боже упаси! – смело отвечала служанка, так как ей казалось, что теперь уже дело приняло хороший оборот. – Мало того, я всегда этого остерегалась как величайшего несчастья, и, опять-таки повторяю вам, я скорее умру, чем кто-либо узнает что-нибудь об этом деле. И если господь избавит меня от такой беды, этого, кроме вас, не узнает ни один человек на свете. Дай бог, чтобы после такого несчастья, какое он пожелал наслать на меня, я снова могла стать какой я была, ибо, говоря вам правду, я так настрадалась, что скоро, я уверена, от этого умру. Ведь помимо стыда, который я буду испытывать всякий раз, как вас увижу, думая, что вы все знаете, мне будет казаться, что нет ничего более неудобного на свете, чем чувствовать, как между ног болтается то, что я чуть-чуть не назвала.

– Ну, девочка моя, – продолжал растроганный старикашка, – побудь пока в таком положении и никому ни слова не говори, так как, может быть, удастся найти какое-нибудь лекарство, которое тебя исцелит. Предоставь об этом подумать мне, но, главное, ничего не говори мадонне.

Итак, не сказав юноше ничего, с ужасным смятением в голове, он оставил Лючию и отправился к местному врачу, которого звали магистр Консоло, и еще кое к кому, чтобы посоветоваться с ними об этом случае.

Между тем по окончании свадьбы Лавиния вернулась домой, и когда она узнала от Лючии, как было дело, – я предоставляю вам самим судить, была ли она этим недовольна или нет. Что касается меня, я думаю, что это было для нее вестью более печальной, чем когда ей сказали, что у нее будет такой старый муж.

Чекк'Антонио, который, как я говорил вам, ходил справляться по этому делу, услышав от одного одно, от другого другое, вернулся домой смущенный более, чем когда-либо. Поэтому, никому ничего не говоря в тот вечер, он решил на следующее утро поехать в Рим и отыскать какого-нибудь знающего человека, который бы ему лучше растолковал все это. Итак, на следующий день спозаранку, сев на лошадь, он выехал по направлению к Риму. Остановившись в доме одного своего друга, он, немного перекусив, отправился в университет, думая, что найдет там скорее, чем в другом месте, кого-нибудь, кто сумел бы вытащить у него такую блоху из уха: И, по счастью, он наткнулся на того человека, который ввел Люцию в его дом и который от нечего делать имел привычку иногда приезжать в университет; видя, что незнакомец хорошо одет и пользуется общим уважением, старик подумал, что это какой-нибудь великий ученый. Поэтому, отведя его в сторону, он стал под секретом расспрашивать его о своем деле.

Менико, который прекрасно знал старикашку и тотчас же догадался, в чем дело, рассмеявшись про себя, сказал: «Ты попал в хорошие руки», – и после долгого рассуждения весьма внушительно дал ему понять, что это не только возможно, но и случалось не раз. А для того, чтобы тот легче поверил, он свел его в лавку книжного торговца по имени Якопо ди Джунта и, попросив Плиния по-итальянски[85 - В «Естественной истории» Плиния Старшего и в самом деле в соответствующем месте говорится о гермафродитах.], показал ему то, что он говорит об этом случае в четвертой главе седьмой книги, а также он отыскал для него, что об этом пишет Баттиста Фрегозо в главе о чудесах[86 - Видимо, речь идет о «Достопамятных деяниях и речениях в девяти книгах» Баттисты Фрегозо (1453–1504).]. Этим он настолько успокоил душу взволнованного старика, что тот, даже если бы перевернулся весь свет, не дал бы убедить себя в обратном. Тогда Менико, удостоверившись, что тот запутался настолько, что уж не так скоро сумеет выпутаться, переходя от одного рассуждения к другому, начал убеждать его, чтобы он не выгонял служанку из дому, потому что люди, устроенные таким образом, приносят счастье тому дому, где они живут, и потому, что они способствуют рождению младенцев мужского пола и тысяче других милых сюрпризов. А затем он стал настоятельно просить его, чтобы, ежели бы ему все же вздумалось от нее отделаться, он непременно направил бы ее к нему и что он более чем охотно возьмет ее к себе. И так хорошо сумел он изложить свои доводы, что добрый старик уже не отдал бы Люцию и за тысячу флоринов.

Отблагодарив доблестного мужа и предложив ему все свое состояние, старик с ним расстался и не мог дожидаться, пока доедет до Тиволи, чтобы посмотреть, не удастся ли ему сделать своей жене младенца мужского пола. И после того как он в тот вечер приложил к тому все свои старания и Люция помогала ему по мере сил, предсказание сбылось, ибо Лавиния забеременела мальчиком, который затем и послужил причиной тому, что Люция оставалась у них в услужении сколько ей хотелось, а после того как ушла, входила и выходила, когда ей вздумается, без того, чтобы добрый старик когда-нибудь заподозрил что-либо или пожелал что-либо заметить.

Антонфранческо Граццини по прозвищу Ласка

Из «Вечерних трапез»

Трапеза первая

Новелла I

Сальвестро Бисдомини, полагая, что несет доктору мочу своей больной жены, относит

ему мочу здоровой служанки; по совету врача он забавляется с женой, после чего та выздоравливает; служанку же выдают замуж, в чем она крайне нуждалась

Не слишком много лет тому назад жил во Флоренции искуснейший лекарь, звали которого Минго. Будучи человеком пожилым и страдающим подагрой, он не выходил из дома и развлечения ради выписывал иногда своим, согражданам разного рода рецепты. Случилось, что у кума его по имени Сальвестро Бисдомини занемогла жена. Тот обращался к великому множеству врачей, и ни один из них не сумел не то что исцелить его жену, но даже распознать, что за хворь на нее напала. Тогда он пошел к своему куму лекарю Минго и подробно рассказал ему о болезни жены; к сказанному же добавил, что все пользовавшие жену доктора нашли ее совсем плохую, на что опечаленный лекарь ответственвал куму, что весьма ему соболезнует и что тому надобно проявить терпение, ибо скорбь по умершей жене подобна ушибу локтя: больно очень, но боль эта быстро проходит; посему пусть-де он не впадает в уныние, поелику горевать ему придется недолго. Но Сальвестро, любя жену сверх всякой меры и дорожа ею, умолял маэстро Минго прописать ей какое-нибудь лекарство. Тогда врач сказал:

– Будь у меня возможность осмотреть ее, какое-либо средство мы как-нибудь изыскали бы. Ну да ладно, доставь мне завтра утром ее мочу, и коли я увижу, что смогу ей помочь, то от долга своего не уклонюсь.

После этого он попросил Сальвестро еще раз рассказать о болезни во всех подробностях и, хорошенько его расспросив, сказал куму, что, поскольку теперь январь на исходе, моча его жены должна быть десятичасовой давности и чтобы он принос ее на следующее же утро. Сальвестро рассыпался в благодарностях и довольный вернулся домой.

Тем же вечером, отужинав, он сказал жене, какого рода анализ ему надобно поутру отнести куму, и дал ей попятить, что моча должна быть десятичасовой давности. Женщина, которой очень хотелось поправиться, весьма тому обрадовалась. Потому Сальвестро наказал молодой служанке, девушке лет двадцати двух или около того, не зевать и не упустить положенного срока. На сей предмет он вручил ей часы со звоном и велел, как только они зазвонят и жена его первый раз помочится, бережно слить мочу в горшок. Затем он ушел в другую комнату спать, оставив служанку бодрствовать подле жены, с тем, чтобы, если той что-нибудь понадобится, девушка, как то не раз случалось, незамедлительно оказала ей требуемую услугу.

Наступило установленное время, часы должным образом отзвонили, служанка, – а звали ее Сандра, – которая всю ночь не смыкала глаз, дала хозяйке знать, что пора помочиться; затем она аккуратно слила мочу в горшок, поставила горшок впритык к ларю и завалилась спать на свое ветхое ложе. Когда забрезжило утро, Сандра проворно вскочила и, дабы отдать хозяину мочу сразу, как тот ее потребует, поспешила туда, где ею был оставлен горшок, но увидела, что неизвестно уж как, кошка ли его опрокинула или мыши, а только вся моча из горшка пролилась. Это ее сильно расстроило и напугало. Не зная, чем оправдаться, боясь Сальвестро, который был человеком вспыльчивым и довольно-таки крутым, она задумала, дабы отвести от себя хулу, а возможно, и побои, подменить хозяйкину мочу своею и, постаравшись хорошенько, нацедила полгоршка. Спустя какое-то время Сальвестро спросил у нее мочу жены, и она, как задумала, отдала ему горшок со своею мочой, а не с мочой больной хозяйки. Тот, ни о чем не подозревая, прикрыл горшок плащом и полетел к своему куму-доктору, который, взглянув на мочу, изумился и удивленно сказал Сальвестро:

– Не нахожу, чтобы она была чем-нибудь больна.

На что Сальвестро возразил:

– Быть того не может; бедняжка не в силах приподняться с постели.

Врач, не обнаруживая в моче признаков болезни, заявил куму, попутно разглагольствуя о медицине и ссылаясь на авторитет Авиценны[87 - Авиценна (Абу Али Ибн Сина) – знаменитейший ученый и мыслитель (980–1037). В эпоху средневековья и Возрождения пользовался непререкаемым авторитетом в области медицины за свою книгу «Канон врачебной науки».], что ему необходимо к завтрашнему утру получить еще раз мочу на анализ, после чего Сальвестро отправился по своим делам, оставив лекаря в немалом недоумении.

Наступил вечер. Сальвестро вернулся домой, поужинал, отдал служанке те же самые распоряжения, что и накануне, и ушел спать. В назначенное время часы зазвонили, хозяйка попросилась помочиться, после чего Сандра, припрятав горшок, удалилась спать. Проснувшись рано утром, она поразмышляла о случившемся, и на нее напал страх, как бы врач, если хозяин на сей раз принесет ему мочу своей больной жены, не вывел ее на чистую воду. Она сильно раскаивалась в содеянном, но боялась, что разгневанный Сальвестро заставит ее признаться в том, что она натворила, а затем выгонит из дому или задаст ей сильную взбучку. Поэтому она сочла за лучшее вылить содержимое горшка и написать в него еще раз. Проворно вскочив с постели, она тая и поступила.

Была названная Сандра родом из Казентино[88 - ] и, как вам известно, годов двадцати двух; невысокая, но плотная, ядреная и чернявая; кожа у нее была свежая и гладкая, а лицо – румяное, пышущее здоровьем; глаза большущие, блестящие, чуть-чуть навывкате, казалось, будто они так и мечут искры и вот-вот выскочат из орбит.

Словом, гречиха сия созрела для обмолота. Такая кобылка, доложу я вам, вытащит из любой грязи.

В положенный час Сальвестро спросил горшок, получил его от служанки и отнес к врачу. На сей раз тот поразился еще больше прежнего и принялся внимательно разглядывать мочу со всех сторон; однако, не обнаружив в ней ничего, кроме признаков великой пылкости, спросил у Сальвестро с улыбкой:

– Скажи-ка мне, кум, по совести, сколько времени вы с женой не занимались супружескими делами?

– Нашли время смеяться, – ответил Сальвестро, полагая, что лекарь намерен над ним подшутить. Но так как врач снова спросил его о том же самом, сказал, что месяца два, а то и больше.

– Недурно, – произнес врач и, немного поразмыслив, выразил желание в третий раз взглянуть на мочу. – Поздравляю тебя, кум, – сказал он Сальвестро. – Думается, я установил, в чем болезнь моей кумы; поэтому надеюсь скоро и без большого труда поставить ее на ноги. Приходи ко мне завтра утром опять с мочой, и я растолкую тебе, что надобно делать.

Сальвестро ушел домой повеселевший, неся жене добрую весть. Радостно, с нетерпением ждал он следующего дня, чтобы узнать, каким образом сможет вернуть здоровье своей дражайшей супруге.

В тот вечер, поужинав как обычно, он посидел немного подле жены, ободряя и утешая ее, а затем, сделав служанке те же самые распоряжения, отправился по заведенному обычаю почивать в соседнюю комнату. Сандра, не чая, как избежать скандала, решила, что семь бед один ответ и что коль уж она два раза совершила один и тот же проступок, то совершит его и в третий. Поэтому поутру она опять дала Сальвестро свою мочу вместо хозяйкиной. А тот, поспешая как мог, отнес ее к доктору. Врач посмотрел мочу и, увидав, что она опять чистая и незамутненная, обернулся к Сальвестро и сказал ему, улыбаясь:

– Подойди-ка сюда, куманек. Тебе надобно, коли ты в самом деле желаешь, чтобы жена

твоя стала здорова, переспать с ней, ибо я не нахожу у нее никакой другой болезни, кроме чрезмерной пылкости. Нет иного средства или способа вылечить ее, как порезвиться с ней по-супружески. И сделать сие я советую тебе незамедлительно. Поднатужься и обслужи жену покрепче. Но учти, если ей и это не поможет, то она обречена на смерть.

Сальвестро, твердо веря каждому слову врача, обещал сделать все как надобно и, благословляя доктора, принялся с величайшим нетерпением ждать ночи, в которую ему предстояло излечить жену и вернуть ей утраченные силы.

Наконец наступил вечер. Сальвестро, приказавший приготовить роскошный ужин, пожелал потрапезовать подле супруги. К ее постели приставили небольшой столик, и он вместе с другом, человеком приятным и остроумным, весело поужинал, ни на минуту не переставая шутить и балагурить. Когда же ужин подошел к концу, Сальвестро попрощался со своим другом и сказал служанке, чтобы та шла спать в свою комнату, после чего, оставшись один, начал в присутствии жены раздеваться, сопровождая свои действия смехом и прибаутками. Жена, столь же изумленная, сколь и напуганная, ждала, чем все это кончится, не понимая, чего ему надобно. Он же, оказавшись в чем мать родила, возлег с ней рядом и принялся ее ласкать, тискать, обнимать и целовать. Ошеломленная женщина восклицала:

– Ой, ой! Сальвестро, что это значит? Да вы с ума сошли? Что вы хотите делать?

А тот знай себе твердит:

– Ничего! Не бойся, глупенькая! Я уж постараюсь тебя вылечить! – С такими словами он собирался было на нее взгромоздиться, но тут она завопила:

– Негодяй! Вы что, таким манером убить меня задумали? Не терпится вам, пока болезнь меня сама доконает? Хотите ускорить мою кончину столь странным способом?

– Что ты! – возразил Сальвестро. – Я пытаюсь поддержать в тебе жизнь, душечка ты моя ненаглядная. Таково лекарство от твоей хвори. Его прописал тебе наш кум Минго, а ты ведь знаешь, что нет доктора его лучше и опытнее. Поэтому молчи и не рыпайся. Лекарство твое теперь я держу в своих руках! Приготовься принять его, моя сладость, и ты встанешь с постели совсем здоровой.

Тем не менее женщина продолжала кричать и сопротивляться, не переставая при этом всячески ругать и поносить своего супруга. Но, будучи очень слабой, она в конце концов уступила силе и уговорам мужа, так что святое бракосочетание в конце концов состоялось. Женщина, решившая поначалу лежать неподвижно, словно мраморная статуя, не удержалась потом от некоторых телодвижений, и ей понравилось то, как муж обнимал ее и каким образом он, по его уверениям, совал в нее сие лекарство. Она вдруг ощутила, что у нее исчезли все недуги: мучительная лихорадка, головная боль, слабость и ломота в суставах – и что ей стало вдруг совсем легко, словно вместе с тем, что изошло из нее, вышли все недомогания и вся хворь.

Закончив первую схватку, супруги некоторое время отдыхали и нежились в постели. Сальвестро, памятуя о том, что сказал ему Минго, приготовился для следующей атаки, после которой прошло немного времени и он в третий раз дошел на штурм.

Затем, усталые, они погрузились в глубокий сон. Женщина, которая до этого в течение двадцати дней глаз не сомкнула, уснула как убитая и проспала восемь часов кряду, она спала бы и дольше, если бы муж ласками не вынудил ее к новой схватке, происшедшей на сей раз при свете дня. Потом она опять заснула и спала вплоть до трех часов.

Сальвестро, встав, принес ей в постель, словно она была роженица, множество вкусных яств и вино Трещиано. Она с удовольствием принялась за еду и съела в это утро

больше, нежели за всю предшествующую педелю. Несказанно всем этим обрадованный, Сальвестро зашел к врачу и рассказал ему все как было, подробно и обстоятельно. Врач остался весьма доволен и сказал, что следует продолжить курс лечения.

Закончив, после посещения врача, кое-какие свои дела в городе, Сальвестро через час вернулся домой к обеду. Он приказал зажарить большого, жирного каплуна и вместе со своей дорогой супругой умял его за обе щеки. Жена его, вновь обретя аппетит, ела теперь за двоих, а пила за четверых. Вечером же, после сытного ужина, она отправилась с мужем в постель, но уже не со скорбью и страхом, а довольная и веселая, твердо уверовав в целительность прописанного ей лекарства.

Сальвестро лечил жену все тем же снадобьем, всячески ублажал ее и не давал ей впасть в меланхолию. Через несколько дней жена его начала ходить, и не прошло двух недель, как она снова стала свежей и цветущей, намного здоровей и пригожей, чем раньше. За это она вместе с мужем благодарила бога и благословляла искусство и глубокие познания своего кума-доктора, вернувшего ее чуть ли не с того света и давшего ей желанное здоровье с помощью столь сладостного врачевания.

Между тем наступило время карнавала, и вот однажды вечером, когда Сальвестро и его супруга, отужинав, веселые и довольные сидели у камелька, болтая о разных пустяках и обмениваясь шуточками, Сандра, уразумев, что подмена мочи обернулась для ее хозяйки спасением, а для хозяина немалым утешением, поведала им, как было дело. Те сильно подивились ее рассказу и потом, вспоминая его, хохотали весь вечер так, что чуть животики не надорвали. Едва дождавшись следующего дня, Сальвестро побежал к врачу и рассказал ему обо всем по порядку. Лекарь Минго был ошеломлен. Ничего не понимая, выслушал он рассказ кума; ведь, сам того не желая, он прописал куме средство, которое должно было бы ей сильно повредить, но вместо этого оно оказалось целебным и стало для нее неиссякаемым источником здоровья. Лекарь тоже немало смеялся и всем приходившим к нему рассказывал об этой веселой истории как о чуде. В свои же книги он записал, что при всех болезнях женщин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, когда нет другого лекарства и доктора не знают, что предпринять, весьма надежным средством, вылечивающим в самый короткий срок, являются любовные забавы, и привел вышерассказанное происшествие как случай из собственной врачебной практики. А Сальвестро, своему куму, названный лекарь дал понять, что служанка, оказавшаяся причиной всех его благ, испытывает величайшую нужду в муже и что без онго на нее легко может напасть какая-нибудь необычная и опасная хвороба. Поэтому Сальвестро, дабы расплатиться за оказанное ему благодеяние, выдал Сандру замуж за сына своего работника из Сан Мартин ла Пальма[89 - Сан Мартин ла Пальма – селение неподалеку от Флоренции.], который, смею уверить, был мастак выколачивать пыль из матрасов.

Маттео Банделло

Из «Новелл»

Часть первая

Новелла III

О том, как некая дама издевалась над молодым дворянином[90 - Исходный мотив новеллы – месть молодого человека за перенесенные им издевательства со стороны кокетничающей с ним дамы – несколько напоминает известную новеллу Боккаччо (день восьмой, новелла 7), публикуемую в данном сборнике. Сама же новелла Банделло

служила для многих критиков образцом при анализе повествовательной техники Банделло-рассказчика.] и как он отплатил ей за все сполна

Совсем недавно в одном из городов Ломбардии жила некая благородная дама, жена очень богатого дворянина, и была она более озорного и капризного нрава, чем пристало особе ее положения. Ей доставляло великое удовольствие всех вышучивать, а нередко и всласть поиздеваться над своими кавалерами, чтобы потом в обществе прочих дам насмеяться то над одним, то над другим. Поэтому никто не решался ухаживать за нею и особенно не старался с ней сблизиться: все знали, что язык у нее очень длинный и она может наговорить на человека все что угодно, особенно ежели представится случай больно его уколоть. А так как поистине не пристало мужчинам состязаться с дамами и спорить с ними, ибо следует убоготворять их и чтить, то большинство мужчин старалось вообще уклониться от всякого разговора с нею, тем более, что известно было, сколь не воздержана она на язык и сколь язвительна и не способна никого уважать. Была она, однако, необыкновенно хороша собою и в полной мере обладала всем тем, из чего слагается женская красота; в манерах ее было столько изящества, что каждым поступком своим, каждым шагом, каждым малейшим движением она, казалось, преумножала неизъяснимую прелесть свою, и во всей Ломбардии нельзя было сыскать ей равной.

Нашлись все же кавалеры, которые, не зная как следует нрава этой дамы, принимались увиваться за нею и даже в нее влюблялись; она же, насытившись вдосталь их нежными взглядами, начинала всячески потешаться над ними, дабы от них отделаться, и неосторожным влюбленным приходилось терпеть ее глумление. И хотя была она, как я вам уже сказал, особой неприятной, ей тем не менее доставляло удовольствие видеть, как люди любят ее, и нередко, для того чтобы искуснее заманить мужчину в свои сети, она способна была притвориться и уверяла, что влюблена в того или в другого, но в конце концов в голову ей всходила дурь, и тут она делала вид, что и знать никого из них не знает.

Случилось, что один богатый и очень знатный юноша этого города, хоть он и был наслышан об издевках и насмешках этой дамы над многими людьми и знал о ее дурном нраве, неустанно взирая на совершенства ее и думая день ото дня больше, чем следовало, о ней и о ее красоте, которая глазам его представлялась поистине ангельской, так страстно влюбился в нее, что не мог уже больше помышлять ни о чем другом и понял, что потерял всякую власть над собой. И, перебирая в душе все, что имело отношение к предмету его новой любви и к тому дурному, что ему о ней доводилось слышать, он все думал и думал и становился то веселым, то мрачным в зависимости от того, тешился ли надеждой или впадал в отчаяние, и решил любыми путями добиться расположения этой дамы. И он принялся часто ходить и ездить по улице, на которой она жила, и видя ее у дверей, всякий раз очень любезно ей кланялся и непременно останавливался и заводил с нею разговор. Хоть ему и не хватало смелости открыться ей на словах, вздохи его и пламенные взгляды говорили о том, что творилось у него на душе. Дама же была хитра и коварна – влюбленность юноши развлекала ее и тешила; от этого она, может быть, преисполнялась еще более высокого мнения о своей особе. Время от времени лукаво поглядывая на него, она сумела постепенно дать ему понять, что и сама к нему равнодушна.

У юноши этого была сестра, жившая неподалеку от этой дамы. И так как по некоторым причинам мне не пристало называть их настоящие имена и я даже не сказал вам, в каком городе все это было, назовем сестру этого юноши Барбарой, а самую даму Элеонорой. Барбара овдовела и растила маленького сына, вместе с которым ей досталось после смерти мужа большое наследство, что позволило ей стать полновластной хозяйкой в доме. И всякий раз, когда юноша – назовем его Помпейо – шел к сестре, он должен был проходить мимо дома Элеоноры. Помпейо почитал это за величайшее счастье, тем более что сестра его была дружна с известной нам Элеонорой и они часто виделись. И вот настал день, когда страсть Помпейо достигла такой силы, что он признался молодой женщине в своей любви, умоляя ее сжалиться над ним и взять

его себе в услужение и сказав ей при этом много всего такого, что в подобных случаях говорят влюбленные. Даме же этой Помпейо нисколько не нравился, но она все же не сочла возможным издеваться над ним, ибо принадлежал он к одной из самых знатных фамилий в городе. И она стала уговаривать его устремить чувства свои на кого-нибудь другого и больше не говорить ей о них. Юношу, однако, речи эти нисколько не смутили, и всякий раз, когда к тому представлялся случай, он продолжал ходить за Элеонорой по пятам и снова твердил ей о своей любви. Но она становилась с каждым днем все более суровой, и неприступность ее доводила Помпейо до отчаяния.

Так вот обстояли дела, когда в один прекрасный день он случайно узнал, что муж Элеоноры отлучился, а было это примерно в конце июня. И он решил пойти и поговорить с ней и добиться того, чтобы она снизошла к его желаниям. Не долго думая, воодушевленный своей любовью, придававшей ему уверенность и смелость, он сел на мула и, взяв с собою несколько слуг, отправился к ней. Потом он отослал всех слуг вместе с мулом к сестре и, наказав им там его ждать, пробрался в дом один, а было это в три часа пополудни. Судьба благоприятствовала ему: Элеонора днем не спала; сидя в нижней комнате напротив двери, ведущей в залу, она вышивала шелками. Никого не встретив, юноша направился прямо в залу и, заглянув в дверь, увидел прелестницу раньше, чем та успела заметить его приближение, и устремился к ней. Подняв голову и увидев его, она перепугалась, ибо была одна и все в доме спали.

И прежде чем он успел открыть рот, она сказала:

– О горе мне, Помпейо! Кто же это провел вас сюда?

Он же низко поклонился ей и ответил, что, прослышав о том, что супруг ее уехал, решил прийти к ней, побыть с ней наедине и поговорить и что для этого он незаметно проник в дом, отправив всех слуг своих к сестре. Он собирался уже завести речь о снесавшей его любви, но она оборвала его, вскричав:

– О горе, горе! Какой опасности подвергаете вы и свою жизнь и мою! И какая угроза нависла теперь над моей честью! Ведь муж мой здесь, в городе, и вот-вот должен вернуться домой, после обеда он поехал по делам и сейчас, верно, успел уже управиться. О Помпейо, если вы хоть сколько-нибудь думаете обо мне, если вы любите меня, уйдите. Я вся дрожу. Мне кажется, будто он уже тут.

Не успела она произнести эти слова, как действительно с улицы послышался голос ее мужа, он что-то говорил, и так громко, что она сразу же узнала, что это был он. Узнал его голос и Помпейо. Элеонора вся трепетала от страха; испуганный и дрожавший Помпейо не знал, что делать. Муж Элеоноры находился у ворот; он еще не успел сойти с копя и с кем-то-разговаривал.

Вдруг Элеонора сообразила, как выйти из положения: в комнате стояла большая корзина; она вытряхнула оттуда все, а потом упрятала Помпейо на самое дно, а сверху укрыла одеждой и разным тряпьем так тщательно, что никто не мог бы ни о чем догадаться, и наказала ему лежать и не шевелиться, после чего она разбудила одну из своих служанок, спавшую в комнатке рядом. Муж спешил и вошел в переднюю. Элеонора приветливо и спокойно спросила:

– Кто там? Кто это?

Муж ответил ей, вошел в спальню и сел на кровать.

Дорогая моя, – сказал он, – я купил сейчас у одного моего обедневшего приятеля старинный палаш; такого клинка во всем городе не найти, да, пожалуй, другого такого палаша и за тысячу миль в округе не сыщешь. Мне хочется хорошенько его отшлифовать, заказать красивые бархатные ножны, а потом подарить его другу нашему, капитану Бруско, тот давно о таком мечтает.

Он велел принести палаш и, показав его жене, продолжал:

– Ну-ка скажи, видала ты когда-нибудь такое?

Смеясь и шутя, жена ответила:

– Что мне твои палаша, не женское это дело, не больно-то я во всем этом разбираюсь и не могу сказать, хорош он или плох, разве что увижу на нем украшения и позолоту, какие мне правятся. Не пойму я, для чего тебе нужно столько всякого оружия, ты всю кладовую им завалил, ни один ведь из всех этих палашей и ни одна из твоих турецких сабель не годится даже на то, чтобы сыр на три части разрезать. Лучше бы уж тратил деньги на что-нибудь более полезное.

– Как бы не так, – ответил муж, – стану я покупать всякие чепчики и безделки, какие ты покупаешь с утра до вечера и изо дня в день. Тебе ведь вечно нужны новые уборы, новые воротнички, покрывала с золотой бахромой да еще чтобы в карету были впряжены четыре неаполитанских или четыре фризских коня, а то тебе, видите ли, стыдно появиться на людях.

– Так, так, – ответила жена, – всегда-то ты возводишь хулу на женщин и каждый раз делаешь все наперекор. Все эти безделки нам кстати, из них складывается наша жизнь; ведь если мы одеваемся небрежно, не приукрашивая искусно нашу природную красоту, вы же сами потом подсмеиваетесь над нами и говорите, что мы неопрятны, что мы одеты грубо, как простые крестьянки и кухарки. Стоит же вам завидеть какую-нибудь хорошо одетую женщину, даже самую некрасивую, только бы лицо у нее было подкрашено, особенно ежели левантйскими румянами, – и вы рветесь к ней, как козлы к соли. Ты отлично знаешь, что я-то уж тебя раскусил. Ну а с оружием что? У тебя его столько, будто ты командуешь целой армией, а ведь я верно говорю, что всеми твоими палашами куска сыра не отрезать.

– Ладно, – сказал муж. – Провалиться мне на этом месте, пусть руки у меня отсохнут, если одним ударом этого палаша я коня надвое не разрублю, так он хорош, тонок, остер.

Жена в ответ только улыбнулась и, поднявшись, кинулась к тому месту, где был спрятан Помпейо, и, положив руку на одно из своих платьев алого бархата, которым тот бы укрыт, сказала:

– Хочу побиться с тобой об заклад, что и двумя ударами тебе не разрезать платьев, что вот сейчас у меня в руке, – рука же ее в это время лежала на ногах Помпейо.

Даме этой так захотелось нагнать на юношу страху, что она попросила мужа разрезать платья, в душе зная, что он этого не станет делать.

Вообразите, что должен был испытать Помпейо: услышав слова Элеоноры, он весь помертвел и приготовился уже выдать себя, выскочив вон. Но он был один, оружия при нем никакого не было, он считал, что муж Элеоноры явился в сопровождении слуг, что у него все еще в руках палаш, и был этим приведен в великое смятение; ему уже начинало мерещиться, что голова его лежит на плахе и палач заносит над нею топор. Так вот, кидаясь от одной мысли к другой и в то же время убеждая себя, что на него навалили столько платьев, что вряд ли возможно перерезать их все одним махом, и ожидая, чем же завершатся наконец причуды Элеоноры, он весь покрылся холодным потом, словно коркою льда.

Итак, дама наша сказала мужу, что хочет побиться с ним об заклад, что ему ни в жизнь не разрубить палашом ее платья. На это супруг ответил:

– Жenuшка, не пойму что-то, какой будет прок и тебе и мне, если я твои наряды испорчу, по мне, так оба мы будем от этого только в убытке. Испытаем-ка лучше палаш

на чем другом, и увидишь, что ни одна бритва не режет так, как он.

– Нет, непременно будем биться об заклад, – ответила Элеонора. – Если ты действительно одним махом разрежешь эти платья, я закажу тебе золотой парчовый камзол, а не разрежешь, так сошьешь мне на свои денежки белое атласное платье.

У Элеоноры были кое-какие собственные доходы, от тетки она получила в наследство состояние, и притом не малое; вот почему она могла биться об заклад с мужем. Он же, видя, что жена твердо решила испытать, насколько остер его хваленый палаш, и все попытки отговорить ее ни к чему не приводят, согласился, встал, занес руку и сказал:

– Ну, жена, по какому месту рубить?

Она же, как уже было сказано, держала руку на платьях своих прямо в ногах Помпейо. Теперь она передвинула ее выше, ему на бедра, и сказала:

– Руби здесь, если только у тебя хватит духу сделать это с честью.

– Ты говоришь это серьезно или только шутишь надо мной? – спросил муж. – Клянусь тебе спасением души, я за один миг исполню твое желание.

– Говорю это истинно и совершенно серьезно, – ответила она. – Только может ведь статься, что ты ударишь слегка, нет, лучше не сюда, вот здесь руби.

С этими словами она положила руку сначала на грудь спрятанного под платьями любовника, а потом ему на шею и сказала:

– Желтую ленту видишь, вот тут и руби, – и продолжала держать руку.

Муж готов был уже нанести удар и сказал:

– Ну а теперь отойди-ка в сторону; коли хочешь посмотреть, что можно сотворить этим палашом, то сейчас я ударю.

Помпейо лежал на платьях и платьями же был укрыт. Тогда она, смеясь, сказала мужу:

– Честное слово, не верю я, что ты способен погубить мои платья. Что ты, ведь пропадут они – так когда еще я новыми обзаведусь. Нет, нечего тебе на моих платьях силу испытывать.

С этими словами, за которыми последовали и многие другие, она выпроводила мужа из комнаты; он сел на коня и отправился погулять. Она же, поручив служанкам своим делать разные дела по дому, вернулась в комнату и освободила несчастного, который был ни жив ни мертв и много раз проклинал в душе и даму, и себя самого, и свою любовь. Освободив его, Элеонора улыбнулась и сказала:

– Ну, теперь ступайте на все четыре стороны и больше не докучайте, мне своей любовью. Знайте, что, посмей вы еще раз явиться ко мне в дом, я разделаюсь с вами точно так же, а может статься, еще и похуже.

Немного приободрившись, Помпейо ответил:

– Синьора, не приписывайте поступки мои ничему другому, кроме великой любви, которая меня на это подвигнула.

И так как она не стала слушать его излияния, он ушел, сгорая от любви, но вместе с тем преисполненный негодования. И когда он начал думать о том, как бы ему лучше насладиться своей любовью и отомстить коварной даме, ему пришла на ум

необыкновенная мысль, и он стал только ждать подходящего случая, чтобы привести в исполнение свой план. Он продолжал по-прежнему ухаживать за своей дамой и всюду следовать за нею, она же при виде его не могла удержаться от смеха, вспоминая о том, как ловко над ним подшутила.

Вскоре случилось, что муж Элеоноры уехал из Ломбардии и отправился в Рим. Помпейо, зная, что он пробудет там несколько месяцев, в тот же день притворился больным и распространил по городу слух, что недуг его очень тяжок. И он на несколько дней заперся у себя в комнате, где при нем был известный врач, который готов был исполнить любое его желание. Он посвятил также в эти намерения сестру свою Барбару. Сестра его пригласила Элеонору на завтрак, и та охотно согласилась прийти, ибо была с ней в приятельских отношениях. Пока они завтракали вдвоем и толковали о недуге Помпейо, пришел слуга и сказал, обращаясь к мадонне Барбаре:

– Синьора, с братом вашим что-то неладное приключилось, у него отнялась речь.

– Что ты говоришь! – вскричала Барбара. – Вели сейчас же заложить лошадей.

И она предложила мадонне Элеоноре поехать с ней вместе проведать брата.

Они сели в карету и, закрыв дверцу, направились в дом Помпейо. Он лежал в постели, в комнате было очень темно. Обе дамы подошли к изголовью.

– Мужайся, брат, – сказала Барбара, – посмотри, мадонна Элеонора приехала проведать тебя.

Совсем слабым голосом Помпейо пробормотал какие-то слова, которых они не могли разобрать; выглядел он совсем плохо. Слуги, которым все было наказано наперед, удалились, оставив своего господина в обществе сестры и Элеоноры. Мадонна Барбара под каким-то предлогом сумела на время выйти из комнаты и запереть дверь на ключ. Как только хитроумный юноша убедился, что жестокая красавица в его власти, он вскочил с постели и, крепко обнимая ее, вскричал:

– Вы моя пленница!

Элеонора пыталась вырваться из его объятий, но ей это не удалось. Продолжая крепко сжимать ее, Помпейо закрыл окно. Понимая, что крика ее никто не услышит, Элеонора стала плакать и винить во всем мадонну Барбару, сетуя на ее предательство и вероломство. Юноша ласковыми словами утешал ее, как только мог, уговаривая ее успокоиться, ибо решил во что бы то ни стало насладиться ее любовью, дав себе слово не выпустить ее из рук, пока не осуществит своего намерения и не отомстит ей за жестокую и страшную шутку, которую она так бесстыдно с ним сыграла. Но только он намерен вести себя с ней иначе и не станет применять оружие.

Элеонора, однако, ни за что не хотела смириться, ибо это была женщина гордая, упрямая и сильная; к тому же ее обуревали негодование, досада и гнев: ведь еще не было такого случая, чтобы она подчинилась кому-то по доброй воле. И она плакала навзрыд и, видя, что попала во власть насильника и помощи ей ждать неоткуда, предалась отчаянию. Дав ей выплакаться вволю и излить все свои горькие жалобы, Помпейо крепко сжал ее в своих объятиях и стал неистово целовать в губы и грудь, а потом снова вспомнил старое и сказал:

– Синьора, вы знаете, сколь долго я был вашим покорным рабом, знаете, что на свете не было ничего такого, чего бы я не сделал из любви к вам. Вы много раз встречали меня приветливо и давали понять, что вам приятно мое внимание. Мне казалось, что больше уже не представится ни времени, ни случая выказать вам страстную мою любовь, из-за вас я лишился покоя и сна, потерял аппетит. – Поэтому, когда я услышал, что муж ваш уехал, я решил добиться того утешения, которое, думалось мне, я у вас найду. И, весь дрожа и сгорая от желания, я направился к вам. Вы, должно быть,

помните, как вы обошлись со мной и как бесстыдно надо мной потешались. Если же ненароком гордыня и высокомерие вытравили из памяти вашей тот ужас и страх, которые вы заставили меня испытать, то знайте, что я этого не забыл, что это всегда во мне и я помню, как вы, – хоть я того ничем не заслужил, – подвергли меня смертельной опасности. Вам не следовало вести себя со мною подобным образом, ведь, зная, как я люблю вас, – а вы это преотлично знали, – вы могли, если вам была не по нраву моя любовь, расстаться со мной по-хорошему, и я бы сыскал себе другую. Ныне же я хочу отомстить вам такой мезьью, какая вам и не снилась. И, понимая, что по своей воле вы никогда не пришли бы ко мне в дом, я решил завлечь вас сюда обманом, а коль скоро вы здесь, то лучше добром отдайте мне то, что теперь, вы уже не в силах вырвать из моих рук.

Элеонора упорно сопротивлялась, но в конце концов ей ничего не оставалось, как раздеться и лечь с любовником в постель, где они много раз вступали в единоборство и где всякий раз он оказывался победителем. И Помпейо вкусил с нею наслаждение, которого так домогался. Натешившись любовной игрой, он открыл одну из дверей комнаты и провел свою пленницу в соседнюю роскошную залу, где стояла кровать, от которой не отказался бы даже самый знатный вельможа. На ней было четыре ватных тюфяка, покрытых простынями тончайшего полотна, вышитыми шелком и золотом. Покрывало было из алого атласа, расшитое золотом, украшенное бахромю алого с золотом шелка. В изголовье лежали четыре подушки тонкой работы. Роскошное ложе это укрывал со всех сторон парчовый полог, украшенный драгоценной отделкой. Стены были наместо шпалер с великим искусством обтянуты кармазинным бархатом, в середине стоял удобный, изящный, покрытый шелковой скатертью стол. Восемь очень красивых резных стульев были расставлены вокруг. Четыре кресла, обитые алым бархатом, и несколько картин кисти Леонардо да Винчи прекрасно дополняли диковинное убранство.

Меж тем мадонна Барбара пригласила человек двадцать пять молодых дворян из самых знатных семей города. Предупрежденный об этом, Помпейо успел заранее уложить свою любовницу в кровать и, покрыв ей лицо богатым покрывалом и окропив комнату кипрскими духами, мускусом и другими благовониями, окурив ее алоэ, отдернул полог, Элеоноре же приказал не шевелиться, что бы она ни услышала. Вслед за тем, роскошно одетый, он вышел, и с распростертыми объятиями встретил собравшихся в доме молодых людей. Гости воззрились на него с превеликим удивлением, ибо были убеждены, что он тяжело болен. Он же, видя их изумленные лица, обратился к ним со следующими словами:

– Синьоры и друзья мои, понимаю, как вас должно удивлять, что тот, кто был так тяжело болен, стоит перед вами в добром здравии. Мне действительно было очень худо, и я думал, что мне уже не выжить. Но сегодня я принял чудесное снадобье, которое, как вы видите, меня исцелило. И так как я знал, что все вы были удручены моим недугом, мне захотелось порадовать вас своим видом. Я хочу также показать вам это чудодейственное лекарство, но вместе с тем хочу, чтобы вы пообещали мне не уходить отсюда, что бы ни предстало здесь вашим глазам.

С этими словами он провел их в залу. Всем им показалось, что они вступают в райскую обитель, – до того поразило их убранство залы и струившиеся там чудесные ароматы. Элеонора, которая слышала весь этот разговор и даже по голосу узнала кое-кого из родичей своих и знакомых, вся дрожала, ибо не ведала, что замыслил Помпейо. После того как все громко выразили свой восторг по поводу этой неслыханной роскоши и каждому захотелось увидеть, кто же лежит под пологом, Помпейо сказал:

– На сем ложе, синьоры, вы найдете драгоценное и чудесное снадобье, которое сегодня меня исцелило и которое я собираюсь показать вам, только не все сразу, а постепенно.

Сказав это и предупредив, что лица открывать не следует, он с помощью одного из слуг осторожно снял покрывало: на лежавшую под ним женщину была накинута только тончайшая простыня, под которой угадывались все очертания ее нежного и хрупкого тела. Приподняв затем край простыни, Помпейо обнажил две изящные белоснежные ножки

с продолговатыми и тонкими пальчиками, казалось, вырезанными из чистейшей слоновой кости, и походившими на жемчужины ногтями. Вслед за тем он обнажил почти целиком и бедра. Женщина лежала простертая перед ними, и при виде нежных линий ее тела во всех взиравших на нее мужчинах пробудилось вожделение. Помпейо спросил их, как им нравится это лекарство. Они похвалили его и все воспылали желанием испробовать его на себе. Тогда, прикрыв кончиком простыни то, – что находится между бедер, он обнажил живот и грудь, на которые собравшиеся взирали с восторгом, ибо при том, что женщина была замечательно сложена, груди ее были поистине необычайной красоты. И все с неизъяснимым наслаждением взирали на этот упругий белоснежный торс с двумя круглыми крепкими чашами груди, которые можно было бы принять за алебастровые, если бы они не вздымались и не трепетали, чем вызывали еще большее восхищение. Все ждали, что сейчас увидят ее ангельской красоты лицо, но Помпейо за один миг укрыл снова ее обнаженное тело и, уведя гостей, усадил их за стол, где мадонна Барбара приготовила для них угощение: свежие плоды, засахаренный миндаль и самые лучшие вина. И они стали угощаться и пить вино и вести разные речи, причем каждый говорил о том, что ему было всего интереснее. В то время как они угощались, мадонна Барбара, войдя туда, где мадонна Элеонора лежала еще в постели, сказала:

– Ну как, мадонна, брат мой отплатил вам той же монетой, не правда ли?

Заливаясь слезами, Элеонора стала просить ее отдать ей платье и сетовала на то, что та ее предала. Пришел Помпейо, поклонился и сказал:

– Синьора, мы с вами квиты. Но если рассудить по правде, то виноваты все-таки вы.

И он много всего сказал ей такого, что ее успокоило. А так как она уже извела вкус объятий любовника и нашла, что они сладостнее, чем ласки мужа, то она смирила свой гнев и устроила так, что они долго еще наслаждались своей любовью. С тех пор она никого больше не высмеивала и стала со всеми приветливой и любезной. Вот почему, дорогие дамы, всем надо помнить, что не следует потешаться над другими, если вы не хотите, чтобы люди потешались над вами, а кроме того, и отплатили бы вам за все худое вдвойне.

Часть первая

Новелла LVIII

Фра Филиппо Липпи, флорентийский живописец<sup>[91</sup> - Знаменитый флорентийский художник (1406–1469). О нем ходило много всяких рассказов. То, что рассказывается в данной новелле, никакими фактическими данными не подтверждается.], захвачен в плен маврами и обращен в рабство, но благодаря своему искусству освобожден и окружен почестями

Всегда, во все века и у всех народов пользовались величайшим почетом талантливые и искусные люди, снискавшие себе славу как в знании языков, так и в изучении философии, равно как и во всех других искусствах. Их уважали, любили, ценили, щедро награждали и величайшие властители и разумно устроенные республики, что нам известно из воспоминаний о них и чему мы каждодневно являемся свидетелями. Это столь ясно, что не требует никаких доказательств.

Однажды в Милане во времена Лодовико Сфорца Висконти, герцога Миланского, несколько знатных людей сошлись в трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие и созерцали знаменитую и чудесную «Тайную вечерю», изображавшую Христа с учениками его, которую в ту пору писал славный флорентийский художник Леонардо да Винчи, любивший, чтобы каждый, кто видел его картины, свободно высказывал о них свое суждение. Имел он обыкновение – и я столько раз сам видел это – приходиться рано утром и взбираться на мостки, ибо картина находилась довольно высоко над уровнем

пола. Там вот, по обыкновению, повторяю, работал он от зари до зари, не выпуская кисти из руки, забывая о еде и питье. Бывало и так, что по нескольку дней сряду он не дотрагивался до картины, а только все приглядывался к ней и размышлял над нарисованными фигурами. Не раз приходилось мне видеть, как, побуждаемый внезапной фантазией, в самый полдень, когда солнце стоит в зените, он выходил из Старого замка, где лепил из глины изумительную конную статую, и шел прямо в монастырь Санта Мария делле Грацие, где, взобравшись на мостки, двумя-тремя мазками поправлял фигуры и уходил.

В те дни в монастыре Санта Мария делле Грацие пребывал старый кардинал Гуркенский, который зашел в трапезную полюбоваться картиной как раз в тот момент, когда там собрались упомянутые дворяне. Леонардо, увидя входившего кардинала, сошел вниз ему навстречу, чтобы выразить ему свое почтение. Кардинал приветливо встретил его и осыпал всяческими похвалами. Они затеяли беседу на разные темы и, между прочим, стали говорить о совершенстве и преимуществах живописи, причем некоторые выразили желание посмотреть на старинные картины, столь прославленные замечательными писателями, для того чтобы решить, может ли живопись наших дней сравниться с древней. Кардинал поинтересовался, какое содержание получает художник от герцога. Леонардо отвечал, что обычное его содержание – две тысячи дукатов в год, не считая всяких подарков и наград, которыми щедро одаривает его герцог. Кардиналу показалось, что это очень много, и он удалился из трапезной в свои покои. Тогда Леонардо, желая показать присутствующим, в каком почете и уважении были всегда искусные и выдающиеся художники, рассказал очень занимательную историю. Я был при этом и хорошо ее запомнил, навсегда сохранив в своей памяти, и вот когда я затеял писать эти новеллы, записал и ее. Сейчас, когда я приступил к отбору новелл, она попалась мне в руки, и мне захотелось, чтобы она увидела свет в сопровождении вашего достойного имени. Я дарю ее вам и посвящаю в знак моего почтения к вам за ваши всегдашние милости ко мне. Будьте здоровы.

Монсеньор кардинал был весьма удивлен той щедростью, которую проявляет в отношении меня наш высокочтимый и милостивый синьор герцог Лодовико; но, по правде говоря, я удивлен больше его – я удивляюсь его невежеству, показывающему, как слабо начитан он в хороших авторах. Не буду касаться почестей, которые всегда оказывались людям, прославившим себя в различных науках и искусствах. Я скажу лишь о том уважении и почете, которыми окружали живописцев. Не бойтесь, что надолго задержу вас перечислением всех знаменитых художников, которые процветали в добрые старые времена. Если бы я захотел это сделать, нам не хватило бы и целого дня. Что касается древних, с нас будет довольно одного примера с Александром Великим и славным живописцем Апеллесом[92 - Великий греческий художник, ставший легендой, Апеллес (IV в. до и. э.), известен всему миру, но ни одного его произведения до нас не дошло.], а из современных сошлюсь лишь на одного флорентийского мастера.

Однако перейдем к рассказу. Так вот, скажу я вам, что Апеллес пользовался большим почетом у Александра Великого и был настолько близок к нему, что Александр не раз заходил в мастерскую художника посмотреть, как он работает. Однажды, когда Александр в его присутствии заспорил с кем-то и начал говорить несуразные вещи, Апеллес очень мягко перебил его и сказал:

– Александр, помолчи немного и не носи околесицы! Ты рассмешишь моих учеников, которые растирают краски.

Теперь вы можете судить, сколь велик был авторитет Апеллеса в глазах Александра, особенно если вы вспомните, каким раздражительным, высокомерным и превыше всякой меры вспыльчивым был он. Я не говорю уже о том, что Александр издал публичный указ, по которому лишь Апеллес имел право писать с него портреты.

Однажды Александру захотелось, чтобы Апеллес нарисовал Кампаспу, его прекрасную наложницу, совсем обнаженной. Апеллес, увидя нагое, совершеннейшей формы тело юной

женщины, страстно в нее влюбился, и когда Александр узнал об этом, то под видом дара отослал ее Апеллесу. Александр был человек большой души, но в этом случае он превзошел самого себя и был не менее велик, чем тогда, когда одерживал важную победу на поле боя. Он победил самого себя: он не только подарил Апеллесу тело своей возлюбленной Кампаспы, но пожертвовал и своей любовью, совершенно забыв о том, что она из подружки такого царя станет подружкой простого мастера.

Обратимся же теперь к нашим дням и поговорим о некоем флорентийском художнике и о морском пирате. Жил во Флоренции Томмазо Липпи, у которого был сын по имени Филиппо. Когда отец умер, мальчику было восемь лет, и бедная мать, оставшись без всяких средств к жизни, отдала его в монастырь кармелитов. Маленький монах, вместо того чтобы обучаться грамоте, целыми днями портил бумагу и стены, набрасывая рисунки; увидя это и узнав о пристрастии монашка, настоятель дал ему возможность заниматься живописью. В монастыре была часовня[93 - Речь идет о капелле Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине с росписями Мазаччо (1401–1428).], заново расписанная одним знаменитым художником. Она очень нравилась Филиппо Липпи (так звали в обители нового монаха), и он целые дни проводил там, работая вместе с другими учениками, и настолько превзошел остальных в ловкости и мастерстве, что у всех, кто его знал, составилось твердое убеждение, что в зрелом возрасте он будет величайшим живописцем. Но фра Филиппо уже в ранние годы, не то что в зрелые, так превосходно владел кистью, что создал много удивительных творений во Флоренции и в других местах, где их теперь можно видеть. Слыша постоянные похвалы и пресытившись монастырской жизнью, он сбросил с себя монашескую одежду, хотя и был произведен в дьяконы. Много прекрасных картин написал он для Козимо Медичи Великолепного[94 - Козимо Медичи (1389–1464), флорентийский банкир, меценат, фактический правитель Флоренции. От него и пошла династия Медичи.], который его всегда очень любил.

Но художник был выше всякой меры сластолюбив и большой охотник до женщин. Если он встречал женщину, которая ему нравилась, он не останавливался ни перед чем, чтобы овладеть ею. Когда на него находила такая блажь, он или совсем не рисовал, или очень мало. Однажды фра Филиппо писал картину для Козимо Медичи, которую тот собирался преподнести папе Евгению Венецианскому[95 - Папа Евгений IV (1431–1447)]. На целых двенадцать лет был изгнан из Рима могущественным семейством Колонна. Созвал флорентийский Собор для объединения восточной и западной церквей (с этим собором связало едва ли не первое описанное путешествие русского посольства в Италию), закончившийся безрезультатно.]. Великолепный заметил, что художник частенько бросает работу и пропадает у женщин, и он велел привести его домой и запереть в большой комнате, чтобы он попусту не терял времени. Но тот с трудом просидел три дня, а ночью взял ножницы и нарезал из простыни полосы и таким образом вылез из окна, проведя несколько дней в свое удовольствие.

Как-то раз Козимо Великолепный, навещавший его каждый день, не найдя его дома, страшно рассердился и послал его разыскивать, а потом разрешил ему работать как ему вздумается, и тот с рвением исполнял его заказы; Козимо говаривал, что фра Филиппо и ему подобные – редкостные и высокие таланты, вдохновленные свыше, а не выучные ослы.

Однако вернемся к тому, что заставило нас завести о нем разговор и показать, что талант уважается даже варварами. Как-то Филиппо был в Марке Анконской и отправился со своими друзьями прокатиться на лодке по морю. Внезапно появились галеры Абдула Маумена, великого берберийского корсара того времени, и наш добрый фра Филиппо вместе со своими друзьями был захвачен в плен, закован в цепи и отвезен в Берберию, где в тяжелом положении находились они года полтора и Филиппо пришлось держать в руке вместо кисти весло[96 - То есть заниматься греблей на галере, а не живописью.]. Но как-то раз, когда из-за непогоды нельзя было выйти в море, его заставили рыть и разрыхлять землю в саду. Нередко приходилось ему видеть там Абдула Маумена, своего господина, и вот однажды пришла ему фантазия нарисовать его на стене в мавританской одежде, и это ему удалось так хорошо, что тот вышел совсем как живой.

Всем маврам это показалось каким-то чудом, потому что в этих краях не принято ни рисовать, ни писать красками[97 - Мусульманская религия запрещала изображать людей и животных. В этом смысле и следует понимать этот пассаж.]. Тогда корсар велел освободить художника и стал обращаться с ним как с другом и из почтения к нему поступил так же с другими пленниками. Много еще написал красками прекраснейших картин фра Филиппо для своего господина, который из уважения к его таланту одарил его всякими вещами, в том числе и серебряными вазами и вместе с его земляками приказал доставить их целыми и невредимыми в Неаполь.

Поистине столь велика сила искусства, что даже варвар, наш исконный враг, осыпал наградами тех, кого мог навсегда оставить у себя как рабов. Не меньшей любовью пользовался талант фра Филиппо и на родине. Ему представился случай сойтись с прекрасной молодой флорентийкой по имени Лукреция, дочь Франческо Бути, от которой у него родился сын, тоже названный Филиппо[98 - Филиппино Липпи (1457-1504), художник, сын фра Филиппо, ученик Сандро Боттичелли.] (впоследствии он стал знаменитым живописцем). Папа Евгений видел много славных творений фра Филиппо и так его любил, ценил и баловал, что даже хотел снять с него сан дьякона, чтобы дать ему возможность жениться на Лукреции. Но фра Филиппо не захотел связать себя узами брака, слишком любя свободу.

Часть третья

Новелла XLIII

Дон Ансельмо и дон Баттиста, предполагавшие, что проведут ночь с женщиной, посрамлены перед всем честным народом на площади в городе Комо

Разумеется, синьоры мои, не дело это, что священники с такой великой охотой совершают крестовые походы на жен своих прихожан. А то ведь можно подумать, что пастырь тем праведнее, чем больше своих духовных сынов он увенчает рогами. Вот почему священники, которых прежде все так уважали, по нынешним временам совсем не в почете. Удивляться этому, правда, нечего, среди них немало таких, кому больше пристало по дубравам свиней пасти, чем к святым дарам прикоснуться. Они едва умеют читать, еще того хуже поют, а из того, что читают, ничего или мало что разумеют. Зато коли уж привяжутся к бабе, так почти не бывает, чтобы отступились, пока похоти своей не ублажат. Иные же обманывают их с безмерным лицемерием и под личиною праведности обводят вокруг пальца.

А что уж говорить о тех, которые, едва успев отслужить мессу, спешат в кабак, где обжираются и напиваются в стельку и с утра допоздна, как отпетые мошенники, знай себе играют в карты и кости!

Однако я, как видно, немного сбился и вместо того, чтобы занять вас рассказом, ударился в проповедь. Пусть уж их наставляют на путь истинный их духовные отцы, а я лучше начну с того, что не особенно давно в нашем городе Комо должны были хоронить одного из самых знатных людей, графа Элеутеро Русконе, и все священники, а равно и монахи были приглашены на эту торжественную церемонию. Когда же пришло время выносить покойника, то недосчитались весьма уважаемых священников, настоятелей приходских церквей. А поелику в народе их почитали праведниками, то за ними послали и в церковь и домой, только нигде не могли их сыскать. Тогда пошли всякие толки и стали думать, что, не ровен час, их убили и ограбили. После того как наших священников долгонько проискали и убедились, что их нигде нет, приступили к погребению, и было оно очень торжественным и пышным. По окончании его надлежало огласить правительственные грамоты, и поэтому весь народ собрался на городской площади. Там-то и появились вдруг святые отцы, но в каком виде! Послушайте только!

На полпути между теми двумя церквями, где служили эти священники, жил красильщик по имени Абондио из Порлеццы, большой шутник, женат он был на некоей Аньезе из Лугано, женщине молодой, красивой и добродетельной, имевшей обыкновение каждый день ходить в церковь, где служил дон Ансельмо, один из упомянутых нами священников. Тот же, видя ее каждый день во время мессы и прельстившись ее красотой, воспламенился к ней такой страстью, что, едва успев завести с ней знакомство, стал добиваться от нее самого драгоценного дара. Женщина эта, безмерно возмущенная его домогательствами, ответила, что его дело служить мессу, и стала посещать другую церковь, где настоятелем был его брат по имени дон Баттиста. Стоило второму священнику увидеть жену Абондио, как им тоже овладело желание сойтись с ней поближе. И вскоре после того, как он завел с нею знакомство, он возьми да и попроси у нее милостыни святой Нефиссы. Бедная женщина увидела, что попала из огня да в полымя, и решила: единственное, что ей теперь остается, это ходить в приютскую церковь, хотя это было ей и неудобно и далеко от дома. Муж, заметив, что она изменила своей привычке, спросил ее, что бы это значило. Чтобы не дать ему повода в чем-либо ее заподозрить, жена во всех подробностях рассказала ему о том, что с ней приключилось. Муж рассердился и сказал:

– Так неужели из-за этих распутников ты теперь будешь терпеть неудобства? Совсем мне это не нравится: до приюта ходить очень далеко и в те дни, когда я начну покраску, тебе не успеть. Вот что, давай-ка как следует их проучим, чтобы они за все получили сполна да и чтоб другим собратьям их неповадно было на чужих жен зариться. Погоди, я им такое устрою, что вся любовь у них из головы вылетит. Сходи-ка ты завтра в церковь к дону Ансельмо и, коли он что тебе скажет, сделай вид, что смущена, и немножко поломайся, а потом смирись, скажи, что согласна, и вели ему приходиться в такой-то день в два часа ночи, скажи, что меня в Комо не будет. А на другой день сходи в церковь донна Баттисты и тому слово в слово все повтори и назначь ему прийти в тот же день в пять часов утра.

Покорная жена в точности исполнила все, как ей велел муж, и дело приняло именно такой оборот, какой они предполагали, ибо едва только священники увидели эту женщину, как снова начали приставать к ней. Она же прикинулась польщенной и дала им понять, что они могут просить у нее все, чего им захочется. Когда же они высказали ей свои желания, она велела им прийти в тот день и тот час, какие назначил муж. Дон Ансельмо явился в два часа ночи, и Аньезе заперла его в каморке, где стояла кровать, сказав, чтобы он ложился. Священник тут же разделся и лег. Потом Аньезе снова пришла и почти в полной темноте, подойдя к кровати, сказала:

– Мессер, не огорчайтесь, если вам малость подождать придется, надо тут кое-какие распоряжения по мастерской сделать, потом я приду к вам.

В эту минуту муж постучал в дверь и окликнул:

– Аньезе, ты тут? Открой.

– О горе мне! – прошептала она. – Вернулся муж, погибла я! Скорее, мессер, залезайте вот в эту бочку, а уж об остальном я позабочусь.

И, подняв священника с постели, ответила:

– Иду, муженек!

Впихнув святого отца в бочку, она закрыла ее; потом взяла его одежду, заперла в шкаф, открыла мужу дверь и спросила!

– Чего это ты так рано заявился?

Абондио вошел с фонарем и сказал, что на озере буря, что никак нельзя было

переправиться и теперь он хочет отдать кое-какие распоряжения касательно окраски материи в зеленый цвет. Сказав это, он перевернул бочку так, что святой отец не мог теперь вылезти оттуда без посторонней помощи. В бочке была зеленая краска в порошке. Чтобы еще больше нагнать страху, Абондио сказал:

– Поди-ка, жена, да вели вскипятить котел воды, хочу краску развести, завтра понадобится.

– К чему это? – удивилась жена. – Все уже прибрано. Забыл ты, что ли, что завтра графа Элеутеро Русконе хоронят и никто до обеда работать не будет? Работники все давно разошлись. Идем-ка лучше спать, а завтра с зеленой краской все устроится.

Можете себе представить, что за это время пережил дон Ансельмо, – верно, от всей его любви и духу не осталось. Муж ушел, а жена стала успокаивать святого отца, заверяя, что непременно вызволит его из бочки. Священник же до такой степени весь пропитался зеленой краской, что порошок разъел ему все тело и, чем больше он чесался, тем больше ему становилось, да и вид у несчастного был весьма неприглядный: он ведь был в чем мать родила, а стоял январь.

Как только пробило пять, явился его собрат, мессер дон Баттиста. Аньезе провела его в другое помещение и тоже велела раздеться, сказав, что должна сходить наверх, в мастерскую, чтобы отпустить людей. На самом деле там был сам Абондио и один из работников, они-то нарочно и подняли шум. Как и следовало ожидать, дон Баттиста покорно разделся и лег в постель. Тогда Абондио потихоньку вышел вез дома и начал колотить в дверь и кричать жене, чтобы она ему отворила. Та спустилась вниз, вошла в комнату и спровадила дону Баттисту, совсем голого, в другую бочку, где был порошок синьки, что добавляют в краску для черноты. Несчастный залез туда и весь дрожал, он услышал голос мужа Аньезе и ума не мог приложить, что ему делать.

Войдя в дом и зная уже, что вторая крыса тоже попала в ловушку, дон Абондио велел открыть комнату, где за это время дон Баттиста весь успел вывозиться в синьке, и сказал:

– Жена, поди-ка вскипяти воду и принеси сюда краску развести.

Та ответила так же, как перед этим, когда дело касалось дону Ансельмо. Муж не стал с ней спорить и сказал:

– Раз уж завтра похороны графа Элеутеро Русконе, такого благородного человека и такого верного заступника народа нашего, не хочу я, чтобы в красильне у меня работали.

И, подойдя к бочке, в которой сидел дон Баттиста, он перевернул ее так, что тому уже было из нее не вылезти. И так святые отцы почти всю ночь могли каяться в содеянных грехах, то надеясь, что Аньезе придет и освободит их, то предаваясь отчаянию, как в подобных случаях всегда и бывает. Порошок синьки, как и зеленый, был довольно едким, причем особенно чувствительным для глаз, и дон Баттиста так натер себе глаза, что они стали красными, как вареные раки.

Рано утром во всех церквах начали звонить по случаю похорон. Графа Элеутеро Русконе похоронили, и, когда, как я уже сказал, весь народ собрался на площади, Абондио решил раз и навсегда проучить обоих священников, чтобы им больше неповадно было приставать к чужим женам. И вот к этому времени с помощью слуг он выкатил обе бочки, в которых сидели святые отцы, на площадь, а так как дорогой их все время подбрасывало, то оба они основательно вывалялись в краске, один в синей, другой в зеленой, так что стал похож на ящерицу.

Абондио нес на спине топор, и вид у него был такой, будто он собрался в лес по дрова. А так как это был человек веселый и большой любитель пошутить, то его сразу

же окружил народ. А он принялся рубить обручи на бочках, крича:

– Эй, поберегись, сейчас из моих бочек змеи выползут!

Стоило ему разрубить обручи, как клепки бочек вывалились и злополучные священники, все в краске, словно черти, выскочили оттуда, не зная, куда им деться, – они ведь ничего почти не видели, – и кинулись в разные стороны. Собравшаяся толпа не узнала их, народ стал вопить.

– Держи их, держи! Бей, бей!

Гончая градоправителя, бывшая в это время на площади, кинулась в погоню за доном Ансельмо и укусила его за ногу, а когда он стал кричать благим матом, взывая о помощи, повалила его на землю и отгрызла все снаряжение, болтавшееся у него между ног, вместе с бубенцами. От боли несчастный лишился чувств.

Несколько человек подбежали к нему и, видя, как его изуродовала собака, прониклись к нему жалостью и стали его поднимать. Они привели его в чувство, и тогда он сказал им, кто он такой, и попросил, чтобы ради всего святого его увели с площади. Дона Баттисту, слепцу не знавшего, куда ему идти, сразу задержали и стали спрашивать, кто он такой. Назвав себя, он принялся умолять схвативших его людей увести его куда-нибудь подальше. Абондию, видя, что план его удался и бесчестные священники публично посрамлены, попросил всех замолчать. И, встав на случившуюся там скамью, рассказал жителям города Комо всю эту историю, и люди воочию убедились, что под личиной праведников скрывались два лицемера.

Дона Ансельмо отнесли домой; прошло немало дней, прежде чем он выздоровел; и вот единственное, что он выиграл от этой истории: он мог теперь встречаться с женщинами и не бояться, что сделает их брюхатыми. Дон Баттиста также был с большим позором водворен в дом, и епископ города Комо сурово его наказал: он заставил его уплатить красильщику Абондию за его бочки и краску и на много дней заключил его в темницу. Дону же Ансельмо, которого собака начисто оскопила, пришлось тоже посидеть еще некоторое время в тюрьме. Обоих отрешили от должности и ни тому, ни другому больше не разрешили служить мессу в приходских церквах.

Часть третья

Новелла LXV

В то время как хоронят одну старушку, обезьяна одевается в точности так, как старушка эта была одета во время болезни, и обращает в бегство всех домочадцев

Во времена, когда злосчастный герцог Лодовико Сфорца правил Миланом[99 - Лодовико Сфорца (1451–1508) узурпировал миланский престол при поддержке Франции. Потом перешел на сторону ее врагов, потерпел поражение и скончался в плену. При его дворе жил и работал Леонардо да Винчи.], как мне рассказывал мой отец, возглавлявший охрану миланского замка, в замке этом жила очень большая обезьяна. Это была презабавная тварь, которая всех смшила и никому не делала ничего худого. Поэтому ее никогда не привязывали, а держали на свободе и позволяли разгуливать по всему замку, да и не только по замку, – она выходила также и за его пределы и очень часто бывала в домах кварталов Майне, Кузано и Сан Джованни Суль Муро. Всем окрестным жителям нравилось гладить обезьяну и угощать плодами и другой едой, как из уважения к герцогу, так и потому, что от уморительных проделок ее все покатывались со смеху, а кусать она никогда никого не кусала.

Чаще всего обезьяна заходила в дом старушки, жившей в одном из кварталов Сан

Джованни Суль Муро, матери двух сыновей, из которых старший был женат; старушка всегда с удовольствием смотрела, как обезьяна расхаживает по дому, постоянно чем-нибудь ее угощала, веселилась, глядя на ее проделки, и часто возилась и играла с нею, как с комнатной собачкой. Оба сына ее радовались, видя, как от забав этих оживляется их старенькая и уже совсем дряхлая мать, ибо были они оба почтительными и благонравными. Если бы обезьяна эта принадлежала кому-нибудь другому, а не синьору герцогу, то они уж наверное бы ее купили для того, чтобы старушка могла всегда с ней забавляться. И они наказали всем домочадцам, чтобы никто не смел ни бить, ни мучить милую обезьяну, а чтобы, напротив, все ласкали ее и ублажали. Вот почему обезьяна заходила к старушке чаще, чем к ее соседям, – с ней ведь лучше там обходились и более щедро угощали. Однако каждый вечер она неизменно возвращалась в замок, где у нее был свой угол, к которому она уже привыкла.

Случилось так, что, совсем ослабев от преклонных лет и от одолевавшего ее недуга, старушка перестала вставать с постели. Сыновья заботливо за ней ухаживали, и у нее не было недостатка ни в лекарях, ни в лекарствах. Обезьяна, верная своим привычкам, по-прежнему наведывалась в дом, и ей разрешалось заходить в комнату больной. Старушка всегда радовалась ее приходу и всякий раз угощала ее засахаренным миндалем. Вы, разумеется, знаете, что эти твари очень лакомы до всякого рода сластей, особенно же любят миндаль. Поэтому обезьяна наша почти постоянно торчала у постели старушки и поедала миндаля куда больше, нежели сама больная.

Однако недуг все тягчал, годы тоже брали свое, и в конце концов, исповедавшись, получив отпущение грехов и причастившись, старушка наша отошла в лучший мир. Ей начали готовить пышные похороны, как то было в обычае у миланцев, а тем временем женщины обмыли покойницу, натянули ей на голову чепец, подвязали челюсть, а потом одели. Обезьяна не отходила от нее ни на шаг и все это видела. Потом тело положили в гроб, вскоре пришли священники и, как подобает, отслужили панихиду, после чего гроб перенесли в находившуюся неподалеку приходскую церковь.

Оставшись одна, обезьяна принялась опустошать расставленные на столе коробки и банки со сладостями. Когда она вдосталь наелась, ей взбрела в голову странная мысль, какие часто приходят обезьянам – животным, падким во всем подражать людям. Я уже говорил, что она, видела, как покойнице подвязывали челюсть и как на голову натягивали чепец, перед тем как положить ее в гроб.

Обезьяна отыскала старый чепец, подобрала оставшиеся на постели тряпки, которыми женщины обтирали старуху, и вырядилась в точности так, как те обрядили покойницу. При этом у нее был такой вид, будто она по меньшей мере лет сто только этим и занималась. Потом она забралась в постель и так искусно накрылась одеялом, что ни у кого не могло вызвать сомнений, что в кровати лежит старая женщина.

Пришли служанки, чтобы убрать комнату и все привести в порядок. Но едва только они увидели лежавшее в кровати тело, как сразу же вообразили, что это их покойная госпожа. Смятенные, перепуганные насмерть, они подняли страшный крик, побежали вниз и стали наперебой рассказывать, что покойница, которую унесли в церковь, вернулась и сейчас лежит в кровати. Вскоре из церкви явились оба сына старухи, а с ними кое-кто из родственников. Все поднялись по лестнице и вошли в комнату. И хотя им не приходилось ничего опасаться – их ведь было несколько человек, – волосы у всех на голове встали дыбом, и в ту же минуту, ошеломленные и охваченные ужасом, они убежали вниз. А потом, когда немного пришли в себя, послали за приходским священником, рассказав ему о том, что случилось.

Священник, человек весьма достойный и благочестивый, велел причетнику принести распятие и святую воду, а сам, как был, в полном облачении, явился в дом и стал читать псалмы и различные молитвы. Он старался успокоить сыновей умершей, говоря, что им нечего бояться, ведь мать их он знает уже давно и она, вне всякого сомнения, женщина праведная. Он сказал им также, что если они что и видели в комнате, то либо им это померещилось, как то нередко бывает, либо, не ровен час, это могли быть

козни дьявола. Только пусть они не тревожатся: он освятит весь дом, господь услышит его заклинания и молитвы и злые духи изыдут. И священник принялся молиться и окропил все вокруг святой водою. Вместе с причетником они поднялись наверх, но больше никто не захотел, вернее просто не посмел, пойти вместе с ними. Войдя в комнату и увидав там обезьяну, степенно водворившуюся на постели, священник также принял ее за покойницу, восставшую из гроба, и его начал разбирать страх. Однако он пересилил его, приободрился, подошел совсем близко к постели и, держа в руке кропило, произнес: «Asperges me, Domine!»[100 - «Очисти меня, господи!» (лат.)] – и окропил обезьяну святой водой. Та же, видя, что священник размахивает кропилом, и решив, что он собирается ударить ее, начала скрежетать и щелкать зубами. Услышав это и уверившись, что это поистине нечистая сила, святой отец до смерти перепугался, уронил кропило и бросился бежать со всех ног. Причетник же еще того раньше кинул распятие, разлил святую воду и с такой поспешностью метнулся вниз по лестнице, что упал и покатился вниз головой. За ним последовал и священник, причем умудрился угодить ему прямо на спину, и оба они поползли вниз, будто угри из озера Гарда, которое в древности называлось Бенако, когда они, как говорят крестьяне, «слюбляются». Священник успел только воскликнуть: «Jesus, Jesus! Domine, adjuva me!»[101 - «Господи Иисусе, помоги мне!» (лат.)]

На шум прибежали оба сына покойной, а вслед за ними все домочадцы и обнаружили, что священник и причетник свалились вниз и расшиблись так, что уже не могут больше стоять на ногах. Братья спросили их, что это значит и что с ними такое приключилось. Лица у обоих были бледные, как у выходцев с того света, а глаза растерянно блуждали. Священник долго не мог вымолвить ни слова. У причетника тоже был испуганный вид, а лицо его было расшиблено в нескольких местах. В конце концов священник глубоко вздохнул и сказал, весь дрожа:

– О дети мои, знайте, мне только что явился дьявол в образе вашей матушки!

Обезьяна, успевшая к этому времени вылезти из постели и сунуть нос во все коробки со сладостями, вприпрыжку сбежала вниз по лестнице как раз в ту минуту, когда к священнику вернулся дар речи. На голове у нее был чепец, лицо обвязано бинтами и вокруг всего тела намотаны куски материи. Спустившись, она одним прыжком очутилась в середине комнаты, и все, кто там был, едва не разбежались от страха, ибо видом своим она действительно очень напоминала покойную хозяйку дома.

В конце концов один из братьев все же понял, кто это, и тогда страх, охвативший присутствующих, сменился смехом, причем все выглядело еще смешнее, оттого что виновница переполоха, как была, во всем этом странном облачении, с невероятными ужимками принялась скакать по комнате и отплясывать нечто вроде мавританского танца. Не удовольствовавшись тем, что так позабавилась над людьми, которых перед этим до смерти напугала, она, продолжая свои мавританские пляски, ускользнула от тех, кто хотел ее схватить, убежала из дома и в том же ни с чем не подобном виде вернулась в замок, вызывая отчаянный хохот окружающих. И как ни грустно в доме братьев было у всех на душе, стоило только вспомнить про обезьяну и про ее забавные проделки, как невольно на всех нападавал смех и обитатели дома снова принимались подшучивать друг над другом и над страхом, которого они в тот день натерпелись.

Пьетро Фортини

Из «Дней юных влюбленных»

Новелла II

Антонио Анджелини любит фламандку и, прожив с ней долгое время, научился немного ее языку; вернувшись домой, он, забавляясь с женой, произносит кое-какие словечки по-фламандски; та однажды, когда мимо нее проходит пилигрим, вспоминает одно выражение мужа и, не зная, что оно значит, по простоте душевной произносит его, вызывая пилигрима на поле брани; не подними она крик, ей пришлось бы познать позор поражения

Не так давно жил у нас в Сиене молодой торговец, державший бакалейную лавку, приносившую ему немалый доход. Был он очень хорош собой, ладный, статный, и одевался красиво. Но, дабы поднатореть в своем ремесле, он нередко стоял за прилавком и сам заправлял всеми делами. Случилось так, что другому нашему бакалейщику, у которого дочери были на выданье, показался он весьма подходящей партией и тот задумал женить его на одной из своих дочерей. Очень уж понравились старику его красивые наряды, ибо юноша тот постоянно щеголял в атласных кафтанах и подбитых тафтою штанах, украшенных вышивкой и кружевом, как это принято нынче у молодых людей. Видя, что одевается он богато, а торговля у него идет бойко, названный бакалейщик решил, что дела молодого человека обстоят много лучше, чем то было на самом деле, и, окончательно укрепившись в намерении выдать за него дочь, уведомил его о том через посредство одного своего приятеля. Юноша, помышлявший о женитьбе меньше, нежели бакалейщик, увидав несколько раз девушку, которую за него прочили, остался ею совершенно очарован, потому как была она прелестнейшим созданием; короче говоря, Антонио стал гораздо больше думать о девушке, чем о своей лавке; чувствуя, как в груди у него разгорается любовный пожар, он ни о чем другом и не помышлял. Сват, понукаемый отцом милой и красивой девушки, каждый день торопил юношу со свадьбой, и, поскольку тот теперь жаждал этого больше, чем отец невесты, они быстро поладили и, как только обе стороны пришли к обоюдному согласию, назначили день свадьбы. Нетрудно представить, что, чувствуя себя счастливым сверх меры и желая пустить пыль в глаза, юный бакалейщик потратил на великолепные подарки много больше денег, чем то ему подобало. Когда же были закончены все свадебные обряды и отслужены мессы, он снарядил свою молодую жену и, как положено тому быть, привел ее к себе в дом. Много дней не вспоминал он ни о лавке, ни о всех прочих делах. Потом же, по прошествии нескольких недель, он, как это принято, встретился с тестем и шурьями и потребовал у них обещанное ему приданое. У тестя, хорошо помнившего об их уговоре, приданое было припасено, и, подписав с юношей контракт, он выплатил ему все сполна. Получив деньги, молодой бакалейщик задумал пополнить запасы товаров и привести лавку в порядок; поэтому спустя несколько месяцев после свадьбы он решил съездить в Венецию, дабы закупить там все, что требуется для торговли, как то в обычае у многих бакалейщиков, которым средства могут это позволить. Снарядившись в дорогу и нежно распрощавшись с молодой женой, он взял путь на славный и великий город Венецию и прибыл туда, миновав Флоренцию, Болонью, Феррару и Падую. Так как в Венеции он прежде ни разу не бывал, то, оказавшись в чужом городе, не знал, где ему остановиться; спрашивая встречных, он объяснял им, откуда он родом. И вот в поисках пристанища случайно натолкнулся он на одного нашего земляка по имени Джованни Манетти, который постоянно проживал в Венеции. Юноша рассказал ему, зачем приехал, и попросил показать, где можно достать хорошие товары и где ему лучше пристроиться. Тогда Манетти, который всегда из кожи вон лез ради сиенцев, а также старался ублажить всякого чужеземца (таково ведь свойство всех нас, жителей Сиены: об иностранцах печемся мы больше, нежели о себе самих), послал его к своему приятелю, славянину, сдававшему комнату с пансионом при случае, если ему попадался порядочный человек, ибо так принято в Венеции; рассказывают, будто там сдают дома чуть ли не все дворяне, не говоря уж о людях простого звания. Послав его к славянину, Манетти отправил с ним слугу, дабы тот показал ему дом и отрекомендовал его как близкого друга своего хозяина.

Послушавшись Манетти, надававшего ему множество полезных советов, юный бакалейщик поселился у названного славянина. Прожив в Венеции дней пять, Антонио Анджелини – ибо именно так звали юношу – в воскресенье обедал со своим хозяином; плотно

подзакусив, они разговорились, и Антонио сказал:

– Послушайте, мессер Заноби (так звали славянина), я хотел бы попросить вас сегодня об одном одолжении.

Славянин, будучи человеком любезным и услужливым, спросил:

– Что вам угодно? Вы же знаете, дорогой мой мессер, что вам стоит лишь приказать.

Тогда Антонио сказал:

– Сегодня праздник, давайте, если это вас не затруднит, погуляем немного по Венеции. Покажите мне, пожалуйста, город, ведь без вас с непривычки я непременно заблужусь среди всех ваших улиц и каналов.

Славянин, как я сказал, был рад услужить ему. Обмениваясь любезностями, они вышли из дому и прошли добрую часть Венеции пешком, оставив далеко позади себя дом славянина, расположенный подле церкви Мадонны делла Фава у Кабарбаро. Вдоволь нагулявшись, они дали три маркетти гондольеру, чтобы тот покатал их по каналам и по морю. Когда они плыли в гондоле по каналу, Антонио спросил у славянина:

– Мессер Заноби, а не поехать ли нам к девицам, которые дарят любовь и ласку за деньги и которые называют себя на римский манер куртизанками?

– Поедем, – согласился славянин. – Только сейчас еще слишком рано, потому как все они сейчас в церкви у причастия, а как только причастятся, мы заглянем к ним и найдем среди них немало красоток. А пока что покатаемся еще немного по Большому каналу, доедем до моста Риальто – так время и пройдет.

Пока они плыли по Большому каналу, славянин вспомнил об одной фламандке и сказал:

– Мессер, я хочу свозить вас в Калабаллоте и посмотреть, не застанем ли мы дома некую мадонну Джакену, уроженку Фландрии. Ручаюсь, что она – одно из самых прелестных созданий, каких когда-либо видывал свет, и я уверен, что она вам понравится; а коли нет, мы отправимся куда вам будет угодно.

Засим они отправились в Калабаллоте. Причалив у дома фламандки, славянин постучал в дверь. Услышав стук, фламандка выглянула в окно и, увидав Славянина, с которым она давно водила знакомство, потянула за шнурок и отперла входную дверь. Славянин, следуя обычаю, отпустил гондолу и вошел в дом, ведя за собой Антонио. Поднявшись по лестнице, они очутились в небольшой зале, стены которой были обиты необыкновенным штофом. К ним вышла, любезно им улыбаясь, фламандка. Прелестнейшее существо, не хуже самой красивой венецианки, встретила она их приветливо и радушно. Была она статна, и лицо ее оказалось на редкость миловидным – белое, как первый снег, и вместе с тем чуть-чуть розоватое, словом, кровь с молоком; цвет кожи ничем не отличался от цвета восточных жемчужин; вся она напоминала букет роз и фиалок, взращенных в тенистом саду и сорванных на утренней заре.

Как уже было сказано, встретила она гостей приветливо и усадила их в кресла, обитые зеленым бархатом с золотом. Кресла сии были словно из господского дома. Сама же она уселась между двумя мужчинами, и завязалась беседа о самых различных вещах и предметах. Хотя женщина эта была родом из Фландрии, по-итальянски она изъяснялась совершенно свободно. Внешняя красота сочеталась у нее с красотой души, широкой и благородной. Когда они вдосталь наговорились, она обернулась к служанке, которая тоже была родом из Фландрии, и что-то сказала ей на своем языке. В тот же миг служанка накрыла роскошный стол. Обнаружив на нем все необходимое для трапезы – всевозможные яства и самые дорогие вина, гости, продолжая беседовать, с аппетитом отведали всего. Когда они выпили, славянин, дабы не стеснять юношу своим присутствием, сказал:

– Простите, дорогой мой мессер, но, когда мы уходили из дому, я совсем запамятовал, что мне надо было кое-что отослать в Кьоджу[102 - Кьоджа – рыбацкий городок неподалеку от Венеции, впоследствии прославленный Гольдони.]. Прошу вас, мессер Антонио, если вам не трудно, подождите меня здесь около часа. Побеседуйте пока с мадонной Джакеной, а я постараюсь не задержаться. – Потом славянин добавил: – Видите ли, мессер Антонио, вам придется дожидаться моего возвращения, потому как один дорогу домой вы все равно не найдете.

Он ушел, оставив Антонио наедине с мадонной Джакеной. Юноша ни о чем другом и не помышлял, ему казалось, что он находится подле королевы. Он наговорил ей великое множество всяких приятных слов, взял за руку, а затем, осмелев, стал гладить ее белую упругую грудь, целовать уста и всячески с нею заигрывать. Дама не отвергала его ласки. Она тоже быстро освоилась и начала возвращать ему поцелуи. Долгая любовная игра разожгла в обоих страстное желание. Тогда они в добром согласии, обнявшись, отправились в соседнюю комнату и там, улегшись на богато убранную постель, к обоюдному удовольствию за короткое время сумели довести до конца четыре жаркие схватки. Засим они вернулись в залу. Там они принялись болтать и шутить и чувствовали себя так, будто знакомы целую вечность. Они договорились, поскольку понравились друг другу, провести нынешнюю ночь вместе. Не желая показаться мужланом, Антонио, который насладился столь прекрасной дамой, дал ей на первый раз золотой скудо (цена для нее вполне приличная).

Они пробыли наедине довольно долго, и когда славянину показалось, что прошло достаточно времени, он вернулся к фламандке и спросил Антонио, не угодно ли ему отбыть вместе с ним. Антонио, который, вкушая удовольствие, позабыл и о славянине, и о делах, и о родном городе, и о собственной жене, не нашелся сразу, что сказать. Но тут вмешалась проворная фламандка:

– Мессер Заноби, – сказала она на венецианском диалекте, – мне хотелось бы, чтобы нынче вечером мессер Антонио отужинал у меня.

Однако славянин, заботясь о благе юноши и блюдя его интересы, возразил ей на это:

– Видите ли, мадонна, нынче вечером нам с этим молодым дворянином надо переслать кой-какие товары в Меллоне; как только мы их отправим, я вам его верну.

Фламандка, решив, что славянин говорит ей правду, поверила ему и, обернувшись к юноше, сказала:

– Хорошо, мессер Антонио, я буду ждать вас к ужину; возвращайтесь.

Антонио, не понимая толком, что могут означать речи славянина, попрощался с фламандкой и заверил ее, что непременно вернется. С этими словами он удалился, а фламандка осталась весьма довольна, ибо считала, что нынче заполучила богатого клиента. И она стала поджидать его с большим нетерпением.

Когда Антонио и славянин, беседуя, проходили по Калабаллоте, мессер Заноби сказал ему:

– Знаете, дорогой мой мессер, ведь я вытащил вас из этого дома ради вашего же блага. Фламандку эту содержит один венецианский дворянин. Вот почему мне не хочется, чтобы вы шли к ней ужинать или ночевать, имея при себе деньги. Если бы, на ваше несчастье, сей дворянин застал вас у нее в доме и пронюхал бы, что вы купец, он ободрал бы вас как липку. Ну, а коли вам все-таки угодно к ней отправиться, то прежде оставьте деньги либо у Манетти, либо в каком другом месте, где они будут в полной сохранности. После этого ступайте к ней на здоровье и ничего не опасайтесь. Но помните, если вас в ее доме ограбят или сделают с вами что-либо худое, вы никак не сможете привлечь ее к суду.

Антонио, хотя он сразу же влюбился во фламандку, прислушался к этому совету и поблагодарил за него славянина. И так как он почитал его за человека, которому можно доверять, то, следуя его совету, оставил в своей комнате в крепком и надежном сундуке все, что имелось у него ценного, после чего, не медля ни минуты, он попросил мессера Заноби доставить его снова к дому желанной фламандки. Вернувшись в дом Джакены, Антонио, как говорится, поужинал с ней на венецианский манер. Ночью, которую они провели вместе, фламандка еще больше понравилась юноше, а он столь же сильно понравился фламандке. Судьбе было угодно, чтобы они настолько влюбились друг в друга, что не могли прожить один без другого и часа. Попавшийся в силки Антонио проводил долгие дни в любовных играх, срывая желанные и сладостные плоды страсти. Бедного неосмотрительного Антонио так очаровали не только красота и деликатность фламандки (черта в сем народе весьма нечастая), но и любезное и ласковое обращение и внимание, которым он был постоянно окружен; больше не вспоминал он ни о Сиене, ни о своей жене – всеми его помыслами завладела его дорогая фламандка. Словно глупый, слепой влюбленный, жил он опутанный такого рода сетями, не отходя ни на шаг от Джакены. Целых два месяца продолжалась эта безумная любовь, и Антонио все свое время тратил на фламандку. Будучи женщиной веселой, она учила его некоторым словам на своем языке и между прочими выражениями научила, что надобно сказать, когда мужчина приглашает женщину заняться одним делом, и как следует на это ответить, коли у нее есть на то желание. Всякий раз, когда фламандке хотелось позабавиться, она спрашивала: «Анси визминере?» – а Антонио, который хорошо усвоил ее уроки, коли у него появилась охота, отвечал: «Ио»; когда же охоты у него не было либо по причине усталости, либо еще почему, то он говорил: «Нитти зминере».

Поэтому как только Антонио появлялся на пороге дома фламандки, он всегда произносил вместо приветствия:

– Анси визминере? – И, взяв фламандку за подбородок, целовал ее в губы.

А она, страстно желая доставить ему удовольствие, отвечала:

– Ио!

И вот от слишком частых сражений несчастный юноша был едва жив. Не закармливай его фламандка вкусными и сытными блюдами, он бы и вовсе протянул ноги из-за своей чрезмерно великой любви. Однако бедняга не обращал на это внимания и, как я уже говорил, совсем позабыл и о своей родине, и о собственной жене. Он не представлял, что его дом находится где-то в другом месте; ему казалось, что здесь он родился и что тут его благо. Уже давно прошли все сроки его возвращения, и к нему стало приходить множество писем от супруги, от братьев, от друзей и от многих других лиц, которых побуждала писать ему жалость к столь красивой женщине, покинутой своим мужем. Антонио, занятый лишь своей любовью, никому не отвечал, но тосковал, когда при нем заговаривали о Сиене.

Потом в один прекрасный день, благодаря увещательным письмам родных и уговорам приезжих сограждан, он осознал свой грех и понял, что ему надобно непременно уехать и вернуться на забытую родину. За несколько дней он накупил товаров на те жалкие гроши, что у него остались, приобрел несколько сундуков с венецианским стеклом, собрал свое имущество, упаковал все это, погрузил на корабль и отправил в Пезаро. Он уладил свои дела с фламандкой и распрощался с ней, приведя в свое оправдание доводы правдивые и весьма убедительные. Прощаясь, оба проливали немало слез. Антонио крепко обнял фламандку и, клятвенно пообещав ей в скором времени вернуться, отбыл из Венеции.

Разлука сильно огорчила обоих, но поскольку сам Антонио решил, что ему непременно надо уехать, то он переносил ее легче, нежели фламандка. Сев в гондолу, он взял курс на свою старую родину и через несколько дней добрался до Сиены, где его с превеликой радостью встретила жена, очень довольная его возвращением, ибо за это

время она по нему сильно соскучилась. Несколько дней спустя прибыли товары, и Антонио, выставив напоказ венецианское стекло, пряности и специи, открыл свою лавку.

Так он прожил в Сиене долгое время, но все не мог забыть свою разлюбленную фламандку; и хотя жена его была женщиной неопишуемой красоты, глупец постоянно думал о своей венецианской возлюбленной. Часто, дабы смягчить боль разлуки, он забавлялся с женой так же, как забавлялся когда-то с фламандкой, и тогда ему казалось, будто она опять находится подле него. Обнимая жену и беря ее за подбородок, он спрашивал: «Анси визминере?» – и, целуя ее в губы, сжимал крепкую, словно вылепленную из алебаstra, грудь, вкушая от сладких плодов наслаждения. Молодая женщина, не понимая, что значат слова, которые она слышала от него не однажды, спросила как-то, ласкаясь:

– А что такое «зминере»? – Муж, не ожидавший подобного вопроса, от которого у него сердце захолонуло, испустил глубокий вздох и, вспомнив свою Джакену, ответил:

– Это значит: «Хочешь поесть?»

На что простушка сказала, смеясь:

– А я думала что-нибудь худое, хотя и слышала, как ты говорил это множество раз.

Тогда Антонио привлек ее к себе, дабы насладиться ею вместо фламандки, которую он представлял себе в то самое мгновение, и они принялись забавляться, получая от сего величайшее удовольствие. Женщина подумала, что муж сказал ей правду, ибо она часто слышала от него это слово за ужином, за обедом, в постели, и тоже взяла привычку выражаться таким же образом. Нередко она говорила мужу с задорным смехом:

– Анси визминере?

И Антонио, который прекрасно все понимал, отвечал:

– Ио, – и при этом всякий раз запечатлевал на ее устах жаркий поцелуй. Женщине такая игра пришлась по вкусу, и не проходило дня, чтобы она, сама того не подозревая, не растравляла мужу его раны.

В такого рода увеселениях прошло у них много дней. И вот однажды, в самый разгар лета, прекрасная супруга не очень мудрого бакалейщика сидела в холодке под навесом и шила. Как всем хорошо известно, в это время года, когда дни стоят длинные, многие отправляются в дальние странствия. А в ту пору на дорогах было великое множество пилигримов не только потому, что стояло лето, но и потому, что наступил святой год Юбилея[103 - В описываемую эпоху юбилейными, «святыми» годами церковь объявила каждый пятидесятый год. Любог католик, посетивший Рим в тот год и побывавший в определенном количестве церквей, получал отпущение грехов. В более поздние времена «юбилейным» стал каждый двадцать пятый год.]. Хорошенькая молодая женщина из-за непереносимого зноя была одета совсем по-домашнему и выглядела сущим ангелом, рожденным под кущами рая. На ней было белое открытое крестьянское платье без рукавов, едва прикрывавшее голени, обтянутые белыми шелковыми ажурной вязки чулками, которые муж привез ей из Венеции. Из-под платья виднелись прелестнейшие точеные ножки, обутые в черные бархатные туфельки, расшитые серебром. Голову ее прикрывала шелковая косынка, а шею украшал вышитый воротничок из тончайшего шелка. Так вот, сия ангельской красоты женщина сидела на низенькой скамеечке подле двери дома и шила, склонив головку, отчего видна была ее грудь, красивее которой в то время невозможно было сыскать, – не слишком большая, белоснежная, крепкая, словно выточенная из мрамора, поистине казалось, что сделана она из жемчуга и рубинов.

И вот, когда прелестная молодая женщина сидела подле своего дома, некие фламандские пилигримы, совершавшие странствия в честь святого Петра, шествовали в Рим за

отпущением грехов. Среди них случайно оказался один дворянин, который дал обет совершить паломничество в Рим. Он находился в лучшей поре молодости, ибо ему еще не перевалило за двадцать пять и вместе с тем на вид было не менее двадцати четырех лет. Отправляясь в путь, юноша не оставил дома кошелек и все время жил на свои деньги. Идя по дороге вместе с другими пилигримами, он заметил у дома бакалейщика красивую, изящную женщину, которая, как уже было сказано, сидела и шила. Молодой пилигрим, увидав столь прелестное создание, подумал, что оно спустилось с небесных эмпирей, ибо красота названной женщины показалась ему превыше человеческой. Дабы получше рассмотреть ее, он остановился и попросил у нее то, чего не просил ни у кого за все время своего паломничества: жалобно взирая на женщину, он умолял ее подать ему милостыню Христа ради. Молодая красавица, взглянув на юного фламандца, просившего у нее подаяния, подумала, что он, видимо, человек благородный и благовоспитанный (как то и было на самом деле), и, припомнив словечко своего мужа, спросила:

– Анси визминере?

Услышав такие слова, молодой пилигрим остолбенел от удивления, ибо, как ему казалось, подобного рода предложение никак не вязалось с наружностью названной женщины, и он прямо не знал, что ему делать. Он стоял в нерешительности, растерянный, ошеломленный, и почитал за чудо, что такая женщина сделала ему подобное предложение. Не зная ни слова на нашем языке, он пожирал ее горящим взором, полагая, будто видит перед собой существо божественное, а не земное, и не произносил ни звука, сраженный ее красотой.

Женщина, видя, что он молчит, еще раз предложила ему то же самое. Услышав, что его приглашают во второй раз, юноша пришел к твердому убеждению, что имеет дело с дамой, которой вздумалось позабавиться и сыграть с ним какую-то шутку; однако это не помешало тому, что в его груди вспыхнуло жаркое пламя. Терзаемый любовью, юноша начал строить, всяческие домыслы и в конце концов дерзнул подумать, что женщина эта блудница и что именно об этом свидетельствуют как ее дерзкое предложение, так и ее соблазнительный наряд. Тем не менее он продолжал молча пожирать ее молящим взглядом. Поэтому немного погодя, движимая милосердием и желанием подать ему милостыню, женщина в третий раз обратилась к нему с тем же самым предложением. Тогда юный пилигрим, отбросив всяческую робость и благочестие, не помышляя более ни о святом Петре, ни о святом Павле, всю душой устремился к красотке, долгое лицезрение коей напомнило ему о воскрешении плоти. Молча он потянул за шнурок, препоясывавший его штаны, и развязал его. Штаны свалились, после чего он вбежал на галерею, схватил в охапку молодую женщину, отнес, на руках и уложил на стоявший тут же сундук со стеклом (бакалейщик часто ставил его сюда, дабы он не загромождал лавку, расположенную как раз напротив его дома). Страстными, горячими поцелуями пытался пилигрим вынудить женщину удовлетворить его желания и, шаря одной рукой, силился приладить к месту свой большой кожаный посох. Молодая женщина, увидав, как обернулось дело, и не зная, что надо делать в подобных обстоятельствах, не придумала ничего умнее, как поднять крик и начать звать на помощь:

– Антонио! Антонио!

Услышав ее вопли, бедный пилигрим, который уже задрал ей подол, был вынужден убрать свой длинный, толстенный посох. Хотя он и не знал нашего языка, но все же понял, что женщина вопит от страха и что все ее поведение никак не вяжется с ее словами. Не зная местных обычаев, он испугался, что попадет тут в какую-нибудь беду, и с превеликим сожалением исчез, словно призрак, прежде чем кто-либо успел его задержать.

Антонио, который сидел в лавке против своего дома, услышал крики и, узнав голос жены, помчался домой, опасаясь, что кто-нибудь сыграл с ней какую-то непристойную шутку. Задыхаясь от ярости, ворвался он на галерею, но уже не застал там пилигрима – тот сбежал. Зато он обнаружил там свою супругу, распростертую на сундуке в той

самой позе, в какой ее бросил фламандец – с юбкой, задранной до пупа, всю растрепанную, еле живую от страха и онемевшую скорее всего от злости. Увидев ее, Антонио так и обмер, решив, что честь его безвозвратно потеряна. Трепеща, он спросил у жены, что произошло, на что та, распалившись не только от пережитого страха, сердито ответила:

– Разрази вас господь!

Антонио, не понимая, что она хочет этим сказать, повторил свой вопрос, но в ответ услышал:

– У, холера вам в бок! Дух не могу перевести – так перепугалась.

Муж, которому не терпелось немедля все выяснить, стал настаивать:

– Да отвечай же скорее, не тяни.

А жена оправила на голове косынку, одернула юбку и заявила:

– В жизни мне еще не приходилось так туго; но клянусь крестом господа нашего, жаль, не случилось того, чего вы заслуживаете.

– Так скажешь же ты наконец, что произошло? – сгорая от нетерпения, спросил муж.

А она ему в ответ:

– Не вы ли меня этому выучили? Или, скажете, не вы? Посмотрите-ка на него – уверял, что все это – совсем прилично, а сам обучил меня разным пакостям. Нет. Бог свидетель, не надо бы мне поднимать крик.

Антонио, все еще не понимая, куда она клонит, умолял ее рассказать, что же все-таки произошло:

– Да говори же наконец, – просил он ее, – не тяни ты мне душу!

Тогда она рассказала ему всю историю с пилигримом. Антонио, пока он слушал ее рассказ, бросало то в жар, то в холод, и он понял, что сам оказался виновником приключившегося скандала.

– Никогда больше, – сказал он жене, – не говори этих слов никому, кроме меня, ибо они значат: «Хочешь сделать со мною то, что я хочу сделать с тобой?»

Тогда она нахмурилась и вымолвила сердито:

– И как только вам не стыдно было учить меня подобным мерзостям? – И, вконец разозлившись, она наговорила мужу таких ругательных слов, какие только способна наговорить женщина, браня мужчину.

Антонио, сознавая свою вину, молчал; и только под конец, когда все уже было сказано, заметил:

– Впредь будь умнее и благодари бога, что на сей раз все обошлось благополучно.

С этими словами он повернулся и направился к лавке.

Однако, пока он уходил, жена успела крикнуть ему вслед:

– Сами скажите богу спасибо. Больше не услышите от меня ни слова, прежде чем я не узнаю, что оно значит. И пожалуйста, без чужеземных словечек. Когда вам захочется

попросить меня о чем-либо, изъяснитесь по-нашему.

Антонио, сильно раздосадованный, бросил на ходу:

– Ладно, поступай как знаешь.

И ушел, оставив жену в большом гневе.

Та кинула шитье и ушла в дом, унося с собой свою досаду. Так в одно и то же время остались раздосадованными, распаленными и разъяренными все трое: бакалейщик Антонио, его прелестная супруга и фламандский пилигрим.

Джованфранческо Страпарола

Из «Приятных ночей»

Ночь вторая

Сказка I

Сын Галеота, короля Англии, уродившийся поросенком, женится три раза; после того как он сбрасывает с себя свиную шкуру и превращается в прекрасного юношу, его прозывают королем-свиньей

Нет языка, очаровательные дамы, ни столь изощренного, ни столь красноречивого, коему бы и за тысячу лет под силу было выразить, сколь благодарен должен быть человек своему Творцу, который создал его человеком, а не грубым животным. В этой связи мне вспоминается приключившаяся в наши дни история про того, кто появился на свет поросенком, а со временем обернулся прекрасным юношей, и все с тех пор прозвали его королем-Свиньей.

Надобно вам знать, милые мои дамы, что Галеот был королем Англии[104 - Галеот – лицо вымышленное. Такого короля в Англии не было. Не исключено, что имя это подсказано автору сказаниями о рыцарях Круглого стола.], человеком, не менее богатым достоинствами благоприобретенными, чем врожденными; и женой его была, дочь короля Венгрии Матиаша[105 - Вероятно, имеется в виду венгерский король Матиаш Корвин (XV в.), талантливый полководец и законодатель, ведший успешную борьбу с Австрией, Польшей и Турцией.] по имени Эрсилія, и красотой, и добродетелью, и учтивостью превосходившая любую из тогдашних матрон. Галеот до того рассудительно управлял своим королевством, что не было человека, который имел бы истинные основания роптать на него. Хотя они уже давно жили вместе, судьбе угодно было, чтобы Эрсилія ни разу не понесла плод, каковое обстоятельство очень печалило обоих супругов.

Случилось так, что Эрсилія, прогуливаясь по своему саду, Собирала цветы; почувствовав, что притомилась, она облюбовала местечко, покрытое зеленою травкой, и, дойдя до него, присела отдохнуть и, побуждаемая сонливостью и сладостным пением птиц на зеленых ветках, задремала.

Тем временем, на ее счастье, по небу пролетали три добрые волшебницы, кои, увидав спящую, остановились и, поскольку из себя она была пригожа и полна очарования, заговорили о том, чтобы заколдовать ее и уберечь от бесчестия.

На этом все три волшебницы и порешили. Первая молвила:

– Я хочу, чтобы она не знала бесчестия и в первую же ночь, как ляжет с мужем, зачала; и пусть у нее родится сын, которому не будет в целом свете равных по красоте.

Вторая молвила:

– И я хочу, чтобы никто ее не мог оскорбить и чтоб сын, рожденный от нее, был наделен всеми достоинствами и добродетелями, какие только можно представить.

Третья молвила:

– Я же хочу, чтобы она была самой мудрой и самой богатой из женщин, но чтобы сын, которого она понесет, родился в свиной шкуре и все его поступки и манеры были свиными дабы таким оставался он до тех пор, покуда не возьмет за себя третью жену.

Волшебницы отправились дальше, Эрсилия же пробудилась и, легко поднявшись с травы и взяв свои цветы, вернулась во дворец.

Прошло некоторое время, и Эрсилия понесла и, когда наступили вожделенные роды, разрешилась сыном, у коего члены были не человеческими, но свиными. Как скоро это дошло до слуха короля и королевы, их обуяла неопишуемая скорбь. И, не желая, чтобы ребенок, появившийся на свет в таком виде, навлек позор на королеву, женщину добрую и святую, король не раз склонялся к тому, дабы повелеть его умертвить и бросить в море. Но, прикинув в душе и будучи достаточно уверен, что младенец, каков бы он ни был, зачат им и что это его кровь, он отменил первоначальные жестокие намерения и, побуждаемый смешанным чувством сострадания и скорби, порешил сделать все, дабы новорожденного не как скотину, а как разумную тварь растили и вскармливали.

Детеныш, вскормленный в любви, часто приходил к матери и, встав на ножки, клал рыльце и лапки ей на колени. И сердобольная мать гладила при этом покрытую щетиной спину, обнимала его и целовала не иначе, как если бы это было человеческое существо. И ребенок помахивал хвостиком, явно показывая, до чего материнские ласки ему приятны.

Выйдя из младенческого возраста, поросенок начал говорить человеческим языком и разгуливать по городу; и если где находил нечистоты и грязь, он, как это делают свиньи, зарывался в самую гущу. Потом, весь грязный и вонючий, возвращался домой и, подойдя к отцу и к матери, терся об их платье, измызгивая его навозом; поскольку же он был у них единственным сыном, они терпеливо все сносили.

Однажды хряк, явившись домой, забрался к матери на колени и, прихрюкивая, сказал:

– Матушка, я хочу жениться.

Услышав это, мать ответила:

– О безумец, неужели ты думаешь, что за тебя кто-то пойдет? Ты грязный, от тебя скверно пахнет; и ты хочешь, чтобы какой-нибудь барон или рыцарь отдал за тебя свою дочь?

На это он сказал, прихрюкивая, что хочет жениться, и все.

Королева, не зная, как тут быть, поспешила к королю:

– Что нам делать? Вы видите, каково наше положение. Наш сын вознамерился жениться, за него же никто не согласится выйти.

Когда хряк снова пришел к матери, он, громко прихрюкивая, заявил:

– Я хочу жену и не отступлюсь, покуда не получу ту девушку, которую я видел сегодня, потому что она мне очень нравится.

Девушка была дочкой одной бедной женщины, матери трех дочерей; все три были красавицы. Уразумев это, королева тот же час послала за женщиной, наказав, чтобы та привела с собой старшую дочь, и сказала:

– Милая матушка, вы бедны, и на вашей шее сидят три дочери, между тем стоит вам пожелать, как вы скоро станете богатой. У меня есть сын-свинья, и я бы хотела женить его вот на этой вашей старшей дочке. Уважьте не его, что уродился свиньей, но нас с королем, тем паче что все наше королевство перейдет в конце концов к ней.

Дочь, услышав эти слова, страшно возмутилась и, покраснев как утренняя роза, ответила, что нипочем на то не согласится. Однако уговоры королевы до того были ласковы, что она уступила.

Воротившись, весь грязный, домой, хряк прибежал к матери, которая ему сказала:

– Сын мой, мы нашли тебе жену по твоему вкусу. – И, велев привести жену, обряженную в благороднейшие царские одежды, представила ее хряку.

Тот увидел ее, красивую и грациозную, и ну радостно прыгать вокруг, замызганный и вонючий, тереться об нее рылом и гладить лапами, как ни одна еще свинья никого отродясь не гладила. Она же, поскольку он перемазал ей все платье, отталкивала его.

– Почему ты меня отталкиваешь? – удивился хряк. – Не я разве справил тебе этот благородный наряд?

На его слова она, заносчивая, высокомерно ответила:

– Ни ты сам, ни твое свиное королевство ничего мне не справляли. – А как скоро пришло время укладываться на покой, сказала. – Нынче же ночью, пусть только его сморит сон, я убью его.

Хряк, бывший неподалеку, все слышал, однако смолчал. И вот, подойдя в должный час, как был в навозе и в грязи, к роскошной постели, он рылом и лапами откинул тончайшие простыни и, все испакостив смердящими нечистотами, лег рядышком с женой. Последняя довольно скоро уснула. Хряк же, который лишь прикидывался спящим, до того сильно ранил ее острым клыком в грудь, что она тут же умерла.

Встав поутру в урочное время, он отправился, по своему обыкновению, пастись и валяться в грязи. Королеве пришло на ум проведать невестку, и, обнаружив ее убитую сыном, она страх как расстроилась. Когда хряк вернулся домой и был встречей суровыми упреками королевы, он сказал, что сделал с женою то, что она намеревалась сделать с ним, и, разобиженный, ушел.

Минуло некоторое время, и хряк принялся снова докучать матери, твердя, что хочет жениться на другой сестре; хотя королева решительно его отговаривала, он упрямо стоял на своем, грозя в противном случае учинить вокруг настоящий погром. Услышав это, королева поспешила к мужу и все ему передала; и король сказал, что сына не худо бы убить, не то он, чего доброго, натворит бед в городе. Но королева была матерью, очень любила сына и не мыслила жизни без него, пусть даже он был свиньей. И вот, призвав бедную женщину с другой дочерью, она долго с ними говорила; и после долгого разговора о замужестве вторая дочь согласилась взять хряка в мужья. Однако ж на деле все вышло не так, как она рассчитывала, ибо тот убил ее подобно первой своей жене и тут же ушел из дому. А когда он, заляпанный грязью и нечистотами до

того, что к нему из-за вони невозможно было приблизиться, воротился в обычный час во дворец, король с королевой очень бранили его за жестокость. Но хряк отвечал им, что сделал с женою то, что она намеревалась сделать с ним.

И опять минуло некоторое время, и мессер хряк снова пристал к королеве, что хочет жениться – на сей раз на третьей сестре, еще большей красавице, чем первые две. Получив на свою просьбу решительный отказ, он принялся не просить, а требовать, в ужасных и грубых выражениях угрожая королеве смертью, если его не женят, на ком он хочет. Непристойные и омерзительные эти слова столь удручающе подействовали на королеву, что та едва не лишилась рассудка. И, ни о чем больше не думая, она послала за бедной женщиной и за третьей ее дочерью, которую звали Мельдина, и сказала:

– Мельдина, дочь моя, я хочу, чтобы ты стала женой мессера хряка; уважь не его, а короля и меня; если ты уживешься с нашим сыном, ты сделаешься самой счастливой и довольной женщиной на свете.

На это Мельдина, не переменявшись в лице и не моргнув глазом, ответила, что она рада-радешенька и очень благодарна королеве за предложенную честь и за желание видеть ее своей невесткой. И даже если бы она ничего больше не получила, с нее было бы достаточно того, что она, бедная девушка, станет невесткой могущественного короля. Растроганная этими благодарными и уветливыми речами, королева не удержалась от слез. Однако в душе она опасалась, как бы Мельдину не постигла участь первых двух жен.

Надев богатые наряды и драгоценные украшения, Мельдина стала дожидаться, когда ее дорогой супруг вернется домой. И как скоро мессер хряк пришел, грязный и замызганный, больше, чем когда бы то ни было, она, ласково его встретив, сбросила свои дорогие облачения на пол и пригласила его возлечь рядом с ней. Королева учила ее не подпускать его близко, но она не послушалась и на эти слова королевы ответила так:

Три стоящих совета я слыхала,  
о государыня: один совет  
предупреждал про то, что толку мало  
за тем, чего не сыщешь, гнаться вслед;  
другой – про то, что верить не пристало  
тому, в чем смысла праведного нет;  
и третий был совет про то, что надо  
полученную дорожить наградой.

Мессер хряк, который не спал и все слышал, поднялся на задние лапы и принялся лизать ей лицо, шею, грудь и плечи, она же в ответ гладила и целовала его, так и млевшего от любви. Когда приспело время ложиться, жена взошла на постель и стала ждать своего дорогого мужа, каковой вскоре пришел, весь в грязище и вонючий, намереваясь последовать ее примеру. И тут она, откинув одеяло, уложила его рядышком, так чтобы голова его покоилась на подушке, хорошенько его укрыла и подоткнула одеяло, дабы он не замерз.

С наступлением дня мессер хряк, изгадив за ночь весь матрас, ушел пастись. Утром королева решила заглянуть в комнату невестки: она боялась, что обнаружит то же зрелище, какое уже видела два раза, однако застала невестку веселой и благостной, тогда как постель все еще была в грязи и нечистотах. И она возблагодарила всевышнего за то, что он помог ее сыну найти жену, которая пришлась ему по вкусу.

Минуло некоторое время, и как-то раз мессер хряк, предаваясь с женой отрадным рассуждениям, сказал ей:

– Мельдина, дражайшая моя супруга, будь я уверен, что ты не выдашь никому

величайшую мою тайну, я бы, к большой твоей радости, открыл тебе некую вещь, каковую до сих пор таил; но коль скоро я знаю твое благоразумие и мудрость и вижу, как крепко ты меня любишь, я хотел бы приобщить тебя к этому секрету.

– Вы можете спокойно доверить мне любую свою тайну, – ответила Мельдина, – потому что я вам обещаю никому ее не выдавать без вашей на то воли.

Тогда, заверенный женой, мессер хряк сбросил вонючую грязную шкуру и остался пригожим юным красавцем; и всю эту ночь он лежал со своею Мельдиною тело к телу.

Еще раз наказав ей хранить обо всем молчание, ибо недалек день, когда он избавится от этого несчастья, он встал с постели и предался, как делал раньше, нечистотам.

В скором времени девушка понесла, а когда наступили роды, разрешилась прелестным сыном. Король и королева страх как обрадовались, тем паче, что все у малыша было не от животного, но от человека. Мельдина не могла далее скрывать такую великую и удивительную тайну и явилась к свекрови:

– Благоразумнейшая королева, я считала, что делю ложе с животным, а между тем вы дали мне в мужа самого красивого, самого добродетельного и самого благовоспитанного юношу, какого природа когда-либо создавала. Входя в мою комнату, чтобы лечь рядом со мной, он сбрасывает на пол зловонную шкуру и остается милым и грациозным юношей. В это никто бы ни за что не поверил, если б не увидел собственными глазами.

Королева подумала, что невестка смеется, но та говорила истину. И на вопрос королевы, как ей убедиться, что так оно и есть на самом деле, Мельдина ответила:

– Приходите сегодня пораньше ночью в мою комнату; вы найдете дверь незапертой и удостоверитесь, что мои слова – истинная правда.

С наступлением ночи королева, обождав, пока все лягут спать, велела запалить факелы и вместе с королем направилась к невесткиной комнате; войдя, она заметила свиную шкуру, валявшуюся на полу рядом с постелью; когда же мать приблизилась к ложу, она увидела, что сын ее – пригожий юноша и что жена его Мельдина спит, тесно к нему прижавшись. Открытие это неописуемо обрадовало короля и королеву, и король приказал, первым выйдя из комнаты, разодрать шкуру в клочья. Счастье родителей до того было велико, что они едва не умерли. Король Галеот, видя, что у него такой сын и что у того, в свою очередь, такие дети, сложил с себя корону и королевскую мантию, и на престол с пышными почестями взошел вместо него сын, который, будучи прозван королем-свиньей, правил государством к удовольствию всего парода и долгие лета счастливо жил с Мельдиною, своей дорогой супругой.

Ночь вторая

Сказка II

В Болонье три прелестные дамы жестоко насмеялись над студентом Филеньо Систерна, и он воздает им тем же, устроив ради этого пышное празднество.

У меня и в помыслах не было, достойные дамы, да я не мог бы и представить себе, что Синьора поручит мне рассказать сказку и притом в очередь синьоры Фьордьяны, которой это было предуказано жребием. Но раз так угодно ее высочеству и вы все пожелали того же, постараюсь рассказать нечто такое, что пришлось бы вам по душе. И если мое повествование, упаси боже, наведет на вас скуку или преступит пределы благопристойности, отнеситесь ко мне снисходительно и предъявите свои обвинения

синьоре Фьордьяне, ибо она и будет истинною виновницей этого.

В Болонье, матери наук[106 - Характеристика, обязанная наводящемуся там университету, основанному еще в самом начале XII века.], благороднейшем городе Ломбардии, где есть все, чего только можно пожелать, жил один студент, дворянин с острова Крита, по имени Филеньо Систерна, очаровательный и любезный юноша. Случилось так, что в Болонье было устроено прекрасное и великолепное празднество, на котором присутствовали многие дамы этого города, и притом из самых красивых; туда же собралось множество местных дворян и студентов, среди которых был и Филеньо. Как это свойственно молодым людям, он восхищался то одной, то другой дамой, и, так как все они ему очень нравились, загорелся желанием сплясать с одной из них. И подойдя к той, которую звали Эмеренцьяной[107 - Имена дам, о которых повествуется в новелле, расшифровываются так: Эмеренцьяна (лат.) – заслуженная, Пантемья (греч.) – всеми чтимая, Симфорозья (греч.) – счастливая.] и которая была женою мессера Ламберто Бентивольо, попросил ее подарить ему танец. И она, любезная и столь же смелая, сколь красивая, не отвергла его. И вот Филеньо, неторопливо ведя ее в танце и время от времени сжимая ей руку, вполголоса произнес такие слова: «Высокочтимая дама, ваша красота такова, что вы безусловно красивее всех, кого я когда-либо видел. Здесь нет ни одной женщины, к которой я пылал бы такою любовью, как к вашей милости, а буде вы ответили бы мне взаимностью, я счел бы себя самым довольным и самым счастливым человеком из всех живущих на свете; но если вы отнесетесь ко мне иначе, то вскоре увидите меня бездыханным и станете причиною моей смерти. Итак, синьора, поскольку вы мною любимы – а я вас люблю и не могу не любить, – позвольте мне быть вашим рабом и располагайте мной и моим достоянием, сколь бы незначительно оно ни было, как полною своей собственностью. И для меня не может быть большей милости неба, как сделаться подвластным такой госпоже, уловившей меня в любовные сети, наподобие птички, пойманной при помощи птичьего клея[108 - Птичий клей готовился из омелы, паразитирующей на коре дуба, груши и других деревьев. Клеем обмазывали ветви и ловили увязших в нем птиц.]. Эмеренцьяна, не пропустившая ни одного из этих сладостных и упоительных слов, как особа благоразумная, повела себя так, словно у нее заложило уши, и ничего не ответила. По окончании танца она направилась на свое место, а юноша Филеньо взял за руку другую важную даму и начал танцевать с нею; и едва он повел ее в танце, как обратился к ней с такой речью: «Разумеется, нет ни малейшей нужды, благороднейшая мадонна, чтобы я изобразил вам словами, сколь необъятна и сколь безгранична пламенная любовь, которую я к вам питаю и буду питать, пока мой жизненный дух будет властвовать над моими хрупкими членами и жалкими моими костями. И я счел бы себя счастливым, более того, наверху блаженства в час, когда бы вы стали моей госпожой, а скорее всего – моею самодержавной владычицей. И поскольку вы любимы мною так, как я вас люблю, и я целиком ваш, в чем вы легко можете убедиться, снизойдите приблизить меня к себе смиреннейшим слугой вашим, ибо в вас и ни в чем больше все мое благо и вся моя жизнь». Молодая дама, которую звали Пантемьей, хотя и слышала решительно все, тем не менее ничего не ответила и, полная достоинства, продолжала танцевать как ни в чем не бывало. По окончании танца, чуть-чуть улыбаясь, она села среди всех прочих дам. Немного спустя влюбчивый Филеньо взял за руку третью даму – самую прелестную, самую стройную и самую красивую, какая в то время была в Болонье, и повел ее в танце, побудив расступиться всех тех, кто столпился, чтобы полюбоваться ею, и, прежде чем они успели закончить танец, сказал ей такие слова: «Досточтимая госпожа, быть может, я покажусь вам слишком самонадеянным, признавшись в сокровенной любви, которую я питал и питаю к вам; но браните за это не меня, а свою красоту, которая возносит вас над любой другой женщиной и делает меня вашим рабом. Обхожу молчанием ваши достохвальные нравы, выдающиеся и поразительные добродетели ваши; которые столь многочисленны и таковы, что способны заставить вышних богов спуститься с горнего неба. Итак, если ваша красота, созданная самою природой, а не ухищрениями рук человеческих, нравится бессмертным богам, то не удивительно, что она побуждает и меня пылать к вам любовью и лелеять ее в лоне моего сердца. Итак, молю вас, прелестная повелительница моя, единственная отрада жизни моей, оцените того, кто из-за вас тысячу раз на дню умирает. Если вы это сделаете, я буду считать, что обязан вам жизнью, вам, на чью милость я себя отдаю».

Красавица, которая звалась Симфорозьей, отлично слышала обольстительные и сладостные слова, исходившие из пламенного сердца Филеньо, и не смогла подавить легкий вздох, но, памятуя о своей чести и о том, что она замужем, ничего в ответ не сказала и по окончании танца села на свое место. Когда все три дамы оказались рядом и составили как бы отдельный кружок, развлекаясь занятой беседой, Эмеренцьяна, жена мессера Ламберто, без всякого злого умысла, а просто шутя сказала своим приятельницам: «Милые мои дамы, не рассказать ли вам о забавной истории, приключившейся сегодня со мною?» – «О какой истории?» – спросили приятельницы. «Танцую, – ответила Эмеренцьяна, – я обрела влюбленного, самого красивого, самого стройного и самого прелестного, какого только можно найти, и он сказал, что так пленен моей красотой, что ни днем, ни ночью не находит себе покоя». И она дословно пересказала все то, что наговорил ей Филеньо. Услышав это, Пантемья и Симфорозья в один голос воскликнули, что точно такое приключилось и с ними. И они не покинули праздника, пока легко не установили, что любезничавший со всеми тремя – один и тот же юноша. И тут они ясно поняли, что слова влюбленного были порождены не искренним любовным порывом, а безрассудной и надуманной страстью и что этим словам следует верить не больше, чем сновиденьям больных или бредням романов[109 - Очевидно, имеются в виду рыцарские романы, над которыми подтрунивали многие писатели Возрождения и которые так жестоко осмеял Сервантес.]. И они расстались не прежде, чем связали себя, с общего согласия, уговором, что каждая из них, действуя самостоятельно, сыграет с влюбленным шутку, и к тому же такого рода, чтобы он твердо и раз навсегда запомнил, что и женщины также умеют шутить. Филеньо между тем продолжал любезничать то с одной из них, то с другою и, видя, что каждая как будто благосклонна к нему, задался целью, если будет возможно, добиться от всех трех завершающего плода любви. Но ему не довелось вкусить то, о чем он мечтал и что являлось предметом его желаний, ибо все его замыслы потерпели крушение. Эмеренцьяна, которой было невмоготу выносить притворную влюбленность незадачливого студента, позвала свою молоденькую служанку, миленькую и прехорошенькую, и поручила ей при первом удобном случае поговорить с Филеньо и поведать ему о любви, якобы питаемой к нему ее госпожой, и о том, что та, если ему угодно, готова принять его ночью у себя дома. Услышав это, Филеньо обрадовался и сказал служанке: «Возвращайся домой и расхвали меня своей госпоже и передай ей от моего имени, чтобы она ждала меня этим вечером, как только муж ее уйдет из дому». Эмеренцьяна, не мешкая, распорядилась приготовить несколько связок колючих прутьев, сунула их под ложе, на котором спала по ночам, и стала дожидаться прихода возлюбленного. Настала ночь, и Филеньо, взяв шпагу, направился один-одинешенек к дому своего тайного недруга, и, по поданному им условному знаку, его сразу впустили. Проведя некоторое время в беседе и за роскошным ужином, они оба перешли в спальную комнату и, едва Филеньо разделся и собрался лечь в постель, как неожиданно явился мессер Ламберто, муж Эмеренцьяны. Узнав об этом, она прикинулась перепуганной насмерть и, ломая голову, куда бы спрятать своего возлюбленного, повелела ему залезть под ее ложе. Хорошо понимая, в какой опасности оказались и он и его дама, Филеньо, ничего на себя не накинув, в одной рубашке, сунулся под ложе и так искололся, что на всем его теле, с головы до ног, не осталось места, из которого не сочилась бы кровь. И чем больше старался он в этой крошечной тьме оберечься от шипов и колючек, тем сильнее они вонзались в него, а он и пикнуть не смел из боязни, как бы его не услышал мессер Ламберто и не убил. Предоставляю судить вам самим, каково пришлось этой ночью бедняге; и самой малости недоставало, чтобы он не расстался со своим кончиком совершенно так же, как остался было без языка. Наступил день, муж ушел наконец из дому, и горемычный студент, облачившись как мог в свое платье, весь окровавленный, воротился к себе, причем его жизнь внушала немалые опасения. Однако, выхоженный искусным врачом, он пришел в себя, и к нему вернулось былое здоровье. Миновало несколько дней, как Филеньо вновь охватило любовное беспокойство, и он принялся обхаживать двух других, то есть Пантемью и Симфорозью, и настолько в этом преуспел, что изыскал способ побеседовать как-то вечером наедине с Пантемьей и, поведав ей о своих долгих мучениях и непрестанной пытке, кончил тем, что стал умолять ее пожалеть его и подарить ему свою милость. Хитрая Пантемья, прикинувшись, что сострадает ему, отговаривалась тем, что лишена возможности пойти навстречу его желаниям, но в конце концов, побежденная его красноречивыми мольбами и пылкими

вздохами, уступила и впустила его к себе. И когда он уже сбросил с себя одежду и собрался лечь в постель со своею Пантемьей, она послала его в находившийся рядом чуланчик, где хранились ее апельсиновая вода и другие душистые притирания, ибо ему подобает как следует натереться и надушиться и лишь после этого лечь в постель. Студент, не догадываясь о коварной уловке, подстроенной ему злокозненной женщиной, вошел в чуланчик и ступил ногой на доску, оторванную от балки, на которой она держалась, и, не устояв на ногах, свалился вместе с доской в расположенное внизу помещение, где некие купцы хранили хлопок и шерсть. И хотя он упал с большой высоты, все же при падении совсем не ушибся. Очутившись таким образом в непроглядной тьме, студент стал ощупью передвигаться вдоль стен в поисках лестницы или двери, но, не отыскав ни той, ни другой, принялся проклинать день и час, когда впервые узнал Пантемью. Занялась утренняя заря, и, поняв – увы, слишком поздно – как хитро обманула его эта дама, бедняга увидал в одной стене склада тонкие полоски света, пробивавшегося сквозь трещины, и так как стена была ветхой и вся изъедена отвратительной плесенью, он принялся что было силы вытаскивать из нее камни, где, казалось, они лежали менее прочно, и вытаскивал их до тех пор, пока не проделал настолько большого отверстия, что выбрался через него наружу. Оказавшись в переулке близ людной улицы, босой и в одной рубашке, он пустился к своему дому и, никем не признанный, добрался до него и вошел к себе. Симфорозья, прослышав о той и другой проделке с Филенью, задумала третью, не менее забавную, чем две первые. И она начала всякий раз, как он попадался ей на глаза, бросать на него искоса томные взгляды, всячески стремясь показать ему, что млеет и чахнет по нем. Студент, успев позабыть перенесенные оскорбления, стал прохаживаться пред ее домом, изображая собой страстно влюбленного. Подметив, что он сверх всякой меры воспламенился любовною страстью к ней, Симфорозья переслала ему с одной старухой письмо, в котором писала, что своей красотой и благородством поведения он настолько ее покорила и пленил, что она ни днем ни ночью не знает покоя, и если ему это по сердцу, то и она со своей стороны ничего так не желала бы, как иметь возможность с ним побеседовать. Получив это письмо и ознакомившись с его содержанием, Филенью, не распознав обмана и успев позабыть перенесенные оскорбления, почувствовал себя самым счастливым и самым довольным человеком на свете. И, взяв перо и бумагу, он ответил, что если она любит его и претерпевает сердечные муки, то вознаграждена за это сторицей, ибо он любит ее много больше, чем она любит его, и что в любой час, какой она сочтет для себя удобным, он к ее услугам и в ее полном распоряжении. Прочитав ответ и выбрав подходящее время, Симфорозья пригласила его к себе и, когда он пришел, после многих притворных вздохов сказала: «Мой Филенью, право, не знаю, кто другой мог бы вынудить меня к тому шагу, на который ты меня вынудил. Ибо твоя красота, твое изящество, твоя речь заронили мне в душу такой огонь, что я готова вспыхнуть, точно сухое дерево». Услышав это, студент окончательно уверился в том, что она вне себя от любви. И вот среди усладительной и приятной беседы, когда злосчастному студенту казалось, что уже самое время отправляться в постель и лечь с Симфорозьей, она вдруг сказала: «Душа моя ненаглядная, прежде чем мы ляжем в постель, нам, по-моему, следует немножечко подкрепиться», – и, взяв его за руку, увлекла в соседнюю комнату, где был приготовлен стол с изысканными и дорогими сластями и лучшими винами. У этой лукавой женщины было припасено вино с подмешанным к нему сонным зельем, дабы студент по прошествии определенного времени погрузился в глубокий сон. Филенью взял кубок, наполнил его, этим вином и, не подозревая обмана, выпил его до дна. Укрепив дух, омыв себя апельсиновой водой и основательно надушившись, он лег в постель. Но напиток не замедлил оказать свое действие, и юноша так крепко заснул, что и гром пушечных выстрелов и любой другой грохот с трудом могли бы его разбудить. И вот, видя, что он беспробудно спит и зелье наилучшим образом на него подействовало, Симфорозья покинула комнату и пошла за своей молодой служанкой, которая была посвящена в эти дела, и они вдвоем, подхватив студента за руки и за ноги и тихонько отворив наружную дверь, вынесли его и опустили на землю на расстоянии хорошего броска камня от ее дома. Примерно за час до рассвета, так как напиток потерял свою силу, бедняга проснулся. Полагая, что рядом с ним Симфорозья, он неожиданно обнаружил, что босой, в одной рубашке и полумертвый от холода лежит на голой земле. Злополучный студент, у которого почти начисто отнялись руки и ноги, еле-еле поднялся, но, хоть и встал он с превеликим

трудом и на ногах почти не держался, все же, как смог, никем не замеченный, достиг своего жилья и сразу же стал лечиться. И не помоги ему его молодость, он, несомненно, остался бы скрюченным и расслабленным. Поправившись и придя в свое прежнее состояние, Филеньо затаил в душе пережитые обиды и, никак не выказывая ни своего раздражения, ни ненависти к обидчицам, притворился, что влюблен во всех трех еще больше, чем прежде, и усердно ухаживал то за одной, то за другою. А они, не догадываясь о его затаенной вражде, испытывали от этого явное удовольствие и встречали его с веселыми лицами и с тем выражением предупредительности и благожелательности, каким принято одарять истинного влюбленного. Юноша, который был довольно горяч, не раз собирался дать волю рукам и разукрасить синяками их лица, но, будучи вместе с тем рассудительным, помнил о высоком положении этих дам и о том, сколь постыдно было бы для него нанести побои трем женщинам, и сдержался. И все же он непрестанно думал и придумывал, как бы им отомстить, и, так как ему не приходило на ум ничего подходящего, немало про себя сокрушался. Спустя некоторое время у него наконец возник некий замысел, успев в котором он мог бы легко удовлетворить заветнейшее свое желание. И судьба благоприятствовала ему в осуществлении его замысла. Филеньо занимал в Болонье снятый внаймы роскошный дворец с обширным залом и великолепными покоями. Вот он и решил устроить у себя пышное и блестящее празднество, пригласив на него многих дам и среди них Эмеренцьяну, Пантемью и Симфорозью. Итак, приглашение было послано и принято ими, и когда пришел день этого пышного празднества, все три дамы, не заглядывая вперед и ничего не подозревая, легкомысленно явились к Филеньо. Между тем пришла пора угостить дам молодым вином и дорогими конфетами, и хитрый юноша, обняв за плечи трех якобы пылко любимых им женщин, с веселыми шутками и остротами, предложив им слегка угоститься, повел в одну из комнат своего дворца. И когда эти три безрассудные и глупые дамы вошли в эту комнату, Филеньо запер за ними дверь и, подойдя к ним, сказал: «Так вот, коварные женщины, наступил час моего мщения, и я заставлю вас претерпеть наказание за оскорбления, которыми вы вознаградили мою пламенную любовь». Услышав эти слова, дамы перепугались насмерть и принялись притворно сокрушаться, что причинили ему обиду, а сами в душе проклинали себя за чрезмерную доверчивость к человеку, которого должны были бы ненавидеть. Студент с нахмуренным и грозным лицом приказал всем трем раздеться донага, если они хоть чуточку дорожат своей жизнью. Выслушав это и переглянувшись друг с другом, лицемерки разразились безудержными рыданиями и стали молить Филеньо, взывая уже не к его любви, а к его учтивости и вложенной в него самой природою человечности, пощадить их честь. Внутренне исполненный ликования, юноша обошелся с ними весьма учтиво, но тем не менее со всею решительностью потребовал от них, чтобы они догола разделись в его присутствии. Пав в ноги студенту, дамы, горестно всхлипывая, смиренно попросили выпустить их и не чинить им такого бесчестия. Но, успевший придать своему сердцу твердость алмаза, он сказал, что цель его не унижить их, но им отомстить. Итак, дамам пришлось сбросить с себя все, что было на них, и они остались, как говорится, в чем мать родила, и нагие они были столь же хороши, как одетые. Молодой студент, рассматривая их с головы до ног и видя, сколь они прекрасны и сколь стройны и то, что тела их белее снега, начал в душе испытывать некоторое сострадание к ним, но, вспомнив про нанесенные ему оскорбления и смертельную опасность, которой он подвергался, отбросил прочь всякую жалость и остался при своем жестоком и бессердечном намерении. Больше того, предусмотрительный юноша, собрав их платья и остальные бывшие на них вещи, снес это в находившуюся по соседству каморку, после чего в достаточно неучтивых выражениях приказал всем трем лечь на постель бок о бок. Перепуганные и трепещущие от страха, они воскликнули: «О мы безрассудные! Что скажут мужья, что скажут родичи наши, когда им станет известно, что здесь найдены наши останки и что мы были убиты нагими? Ах, лучше было бы нам умереть в колыбели, чем быть обнаруженными в таких постыдных и позорных обстоятельствах!» Удостоверившись, что они улеглись, прижавшись друг к другу, точно муж и жена, студент взял белоснежную и достаточно плотную простыню, дабы сквозь нее нельзя было рассмотреть и узнать их тела, и всех трех накрыл ею с головы до ног. Выйдя затем из комнаты и заперев за собою дверь, он разыскал их мужей, танцевавших в зале, и по окончании танца, приведя их в комнату, где лежали на постели три дамы, сказал: «Синьоры мои, я увлек вас сюда, чтобы немножечко позабавить и показать вам самое

что ни на есть прекрасное, такое, чего за всю свою жизнь вы никогда не видели». И, подойдя со светильником в руке к изножью постели, он начал приподнимать простыню и, постепенно ее подворачивать, пока не открыл дам до колен. И их мужья узрели белые точеные икры с изящными проворными ножками – смотреть на них было просто загляденье. Потом он приоткрыл дам по грудь и показал их безупречной белизны бедра, казавшиеся двумя колоннами из безукоризненно чистого мрамора, с круглым животом, точно изваянным из лучшего алебаstra. Далее, подняв простыню еще выше, он показал их мужьям нежную, слегка приподнятую над животом грудь с двумя упругими, прелестными, округлыми персями, которые заставили бы самого Юпитера вседержителя прильнуть к ним и жарко их лобызать. Мужьям это зрелище, как нетрудно представить себе, доставляло неизъяснимое удовольствие и наслаждение. Предлагаю судить вам самим, каково было состояние несчастных и злополучных дам, когда они слушали речи своих мужей, развлекавшихся рассмотрением их наготы. Они боялись пошевелиться и не смели пикнуть, чтобы те, упаси боже, их не узнали. А мужья между тем уговаривали студента открыть лица этих женщин, но тот, более осмотрительный, когда дело шло о чужой беде, чем когда она свалилась на него самого, не пожелал уступить их настояниям. Не удовольствовавшись сделанным с тремя дамами, он принес их платья и все, что было на них, и показал эти вещи мужьям. При виде всего этого те испытали немалое недоумение, смутившее их сердца; а разглядев вещи внимательнее, в величайшем изумлении сами, себя принялись вопрошать: «Не то, ли это платье, что я подарил моей жене? Не тот ли это чепец, что я ей купил? Не та ли это подвеска, что обычно свисает у нее с шеи на грудь? Не те ли это кольца, что она носит на пальцах?» Выйдя из комнаты, где находились их жены, мужья не ушли из дворца Филеньо, чтобы не омрачать праздника, и остались ужинать. Между тем юный студент, узнав, что ужин готов и что заботами старательного дворецкого все в полном порядке, распорядился, чтобы гости садились за стол. И пока гости усердно работали челюстями, студент воротился в комнату, где лежали на постели три дамы, и, сдернув с них простыню, обратился к ним с такими словами: «Сударыни, здравствуйте, слышали ли вы ваших мужей? Они рядом, всего в двух шагах отсюда, и ждут не дождутся свидеться с вами. Что же вы медлите? Вставайте, сони вы этикие. Хватит зевать, хватит протирать глаза! Берите свои платья и не мешкая одевайтесь, ибо самое время отправиться в зал, где вас ожидают прочие дамы». Так насмехался он над ними и с огромным наслаждением томил их своими речами. Вконец павшие духом дамы, трепеща, как бы приключившееся с ними не возымело рокового конца, горько рыдали и отчаивались в своем спасении. Удрученные и убитые горем, они встали с постели, не чая для себя ничего иного, как смерти, и, обернувшись к студенту, сказали: «Ты великолепно, сверх всякой меры нам отомстил, Филеньо, и теперь тебе ничего другого не остается, как взять свою острую шпагу и заколоть нас ею насмерть, чего мы только и ждем. Но если ты не хочешь одарить нас этой милостью, то, умоляем тебя, дозволей нам вернуться домой по крайней мере неузнанными, дабы честь наша осталась незапятнанной». Рассудив, что сделанного им предостаточно, Филеньо принес дамам вещи, и, вручая их, повелел мигом одеться, и, как только они оделись, выпустил из своего дворца через потайную дверь, и они, посрамленные, но никем не узнанные, разошлись по домам. Сняв в себя платья и все, что на них было, они убрали свои вещи в шкафы и, заперев их на замок, не легли в постель, а, имея в виду свои цели, принялись за работу. По окончании ужина их мужья поблагодарили студента за отменный прием и еще больше – за удовольствие, которое они испытали при виде прелестных тел, превосходивших красотой самое солнце. Распровавшись с хозяином, мужья покинули его дом и возвратились к себе. Вернувшись домой, мужья застали жен сидящими по своим комнатам у очага за шитьем. И так как одежда, кольца и драгоценности, которые мужьям показал Филеньо, заронили в их души известное подозрение, каждый из них, чтобы рассеять свои сомнения, спросил у жены, где она провела этот вечер и где ее вещи. И каждая из трех дам ответила своему мужу, что этой ночью она не выходила из дому, и, взяв ключи от того шкафа, где хранилось ее добро, показала ему свои платья, кольца и все, что он когда-либо купил ей. Увидев это и не зная, что подумать, мужья успокоились и рассказали женам со всеми подробностями, что им удалось повидать этой ночью. Выслушав их рассказ, жены сделали вид, что ничего об этом не знают, и, немного посмеявшись, разделлись и улеглись в постели. Прошло всего несколько дней, и Филеньо, не раз столкнувшись на улице со своими дорогими

приятельницами, в конце концов обратил к ним такие слова: «Так кто же из нас натерпелся большего страху? Кто из нас испытал худшее обхождение?» Но они, опустив глаза долу, ничего не ответили. Вот так-то студент, как сумел и смог лучше, не давая воли рукам, подлинно по-мужски отомстил за нанесенные ему оскорбления.

По окончании рассказанной Молино забавной истории Синьоре и девицам сперва показалось, что месть студента трем дамам за нанесенные ему оскорбления была столь же беспощадной, как и бесчестной, но, припомнив жестокие муки, которые пришлось претерпеть студенту от колючих шипов, и то, какой опасности он подвергся, падая с высоты вниз, и то, как он заоченел на городской улице от страшного холода, лежа одурманенный сонным зельем в одной рубашке на голой земле, они рассудили, что его месть была в высшей степени справедливой. И раз Фьордьяна была избавлена от обязанности рассказывать сказку.

Синьора повелела ей предложить хотя бы загадку, в которой, однако, говорилось бы о предметах, хорошо известных студенту. Фьордьяна, горевшая желанием выполнить это распоряжение, молвила: «Синьора моя, хотя загадка, которую я намерена предложить, будет не о суровой и беспощадной мести, как то было в истории, рассказанной нашим даровитым синьором Антонио, тем не менее она все же коснется предметов, близких всякому изучающему науки юноше». И сразу же, не дожидаясь возможного ответа Синьоры, она преподнесла свою нижеследующую загадку:

Двух мертвых взяв в помощники, живой  
Дал третьему блаженство воскрешенья,  
А тот в порыве жизни огневой  
Источником стал нового рожденья.  
Так первый из живых, своей рукой  
Двум давший жизнь, обрел в ней награжденье.  
Он, сделав мертвых и живых друзьями,  
Сумел вести беседу с мертвецами[110 - Стихи в переводе Н. Я. Рыковой.]

Хитроумная загадка Фьордьяны породила многообразные истолкования, но ни одно из них не вскрыло ее истинного смысла. И так как собравшиеся видели, что Фьордьяна, всякий раз слегка усмехаясь, покачивает отрицательно головой, Бембо сказал: «Синьора Фьордьяна, мне представляется величайшей нелепостью тратить попусту время. Расскажите нам, как вы сами понимаете вашу загадку, и мы все удовлетворимся сказанным вами». — «Поскольку ваше достопочтенное общество выражает желание, чтобы я сама стала истолковательницей моей загадки, извольте, я сделаю это весьма охотно — и не потому, что считаю себя пригодной для подобного дела, а для того, чтобы удовлетворить вас всех, перед кем я по многим причинам в большой долгу. Итак, милые дамы, наша загадка имеет в виду студента, который рано утром встает с постели, чтобы предаться занятиям. Это студент, будучи живым, оживляет труп при посредстве двух мертвых, то есть при посредстве кремня и кресала, от какового живого, то есть от оживленного трута, получает в дальнейшем жизнь доселе мертвый, каковым является свет. Затем первый живой, каковой есть студент, благодаря двум вышеназванным живым и двум мертвым принимается беседовать с мертвыми, каковыми являются книги ученых людей, сочиненные им и весьма и весьма давно». Всем чрезвычайно понравилось объяснение хитроумнейшей загадки, столь — искусно преподнесенной скромной Фьордьяною. И так как уже близилась полночь, Синьора повелела Лионоре начать свою сказку. Та, более веселая, чем когда-либо прежде, с приветливым выражением лица приступила к повествованию.

Ночь шестая

Сказка I

Некие два кума, коих водой не разольешь, обманывают друг друга, и в конце концов

жена каждого из них становится одновременно женою второго

Велики плутни и надувательства, на которые пускаются в наши дни несчастные смертные, но куда хуже, я полагаю, когда кум совершает предательство по отношению к куму. Поскольку ж моя именно сказка должна положить начало рассуждениям этой ночи, я и подумала поведать вам о хитрости, обмане и предательстве, учиненных кумом куму. И подобно тому как первый обманщик с удивительной ловкостью одурачил второго, в точности так же сам он ничуть не менее хитроумно и с не меньшей изобретательностью был обведен своею жертвой вокруг пальца. Об этом вы и узнаете, ежели соблаговолите выслушать мой рассказ.

В Генуе, городе славном и старинном, жили-были некогда два кума: первый из них, коего звали мессер Либерале Спинола, был Человек весьма богатый, однако ж приверженный мирским удовольствиям; второй, по имени Артилао Сара, всецело был привержен торговле. Они друг в дружке души не чаяли, и такова была их любовь, что один без другого, как говорится, жить не мог. И если что было нужно, то, нимало не раздумывая и не чинясь, один прибегал к услугам другого.

Поскольку мессер Артилао был крупным торговцем и вел множество дел, как собственных, так и чужих, он порешил однажды съездить в Сирию. И вот, сыскав мессера Либерале, сердечнейшего своего кума, он любезно и с чистой душой обратился к нему:

– Кум, не только вы знаете, но и всем давно очевидно, сколь мы с вами любим друг друга и как я всегда рассчитывал и сейчас рассчитываю на вас, полагаясь на старую-престарую нашу дружбу, а также на священные узы кумовства, которые нас связывают. Задумав отправиться в Сирию и не имея человека, на коего можно было бы положиться больше, чем на вас, я смело и с открытой душой поспешил к вам, чтобы просить об одной милости, в каковой, хоть она причинит вам немалые хлопоты, я надеюсь, вы, при вашей доброте и при нашем с вами благорасположении друг к другу, мне не откажете.

Мессер Либерале рад был угодить куму и потому, не предаваясь, в отличие от него, долгим рассуждениям, ответил:

– Мессер Артилао, кум мой, добрые наши с вами отношения, искренние чувства и взаимная любовь, скрепленные к тому же кумовством, делают излишними столь пространные речи. Скажите мне прямо, что от меня требуется, и повелевайте мною, я же выполню любое ваше поручение.

– Я бы очень хотел, – сказал мессер Артилао, – чтобы на время моего отсутствия вы взяли на себя заботу о моем доме, а также и о моей жене, помогая ей во всем, в чем бы ни возникла у нее необходимость; то, что вы на нее израсходуете, я полностью вам возмещу.

Мессер Либерале, выслушав волю кума, сперва хорошенько поблагодарил его за высокое о нем мнение и лишь потом охотно обещал исполнить, в меру скромных своих сил, то, о чем его просили. Когда настало, время отъезда, мессер Артилао загрузил товарами корабль и, поручив Дарию, свою жену, которая вот уж три месяца как была беременна, куму, поднялся по трапу, подставил паруса попутному ветру и благополучно отбыл из Генуи к цели своего путешествия.

Как скоро мессер Артилао пустился в путь, мессер Либерале направился в дом мадонны Дарии, дорогой своей кумы, и сказал ей:

– Кума, мессер Артилао, ваш муж и возлюбленный мой кум, перед отъездом отсюда настоятельнейше меня просил взять на себя заботу о его делах и о вас, способствуя вам во всем, в чем явится у вас нужда, я же в силу добрых наших с ним отношений обещал исполнить его просьбу. Потому-то сейчас вы и видите меня здесь: я пришел с

тем, чтобы вы, если вам что-либо надобно, располагали мною без малейшего стеснения.

Мадонна Дария, женщина от природы мягкая, очень его благодарила, прося не оставлять ее без поддержки, буде таковая ей понадобится. И мессер Либерале заверил ее, что она может быть спокойна на этот счет.

Почасту бывая в доме кумы и следя, чтобы она ни в чем решительно не испытывала недостатка, он заприметил, что она беременна, и, делая вид, будто ничего о том не знает, спросил:

– Как вы себя чувствуете, кума? Может быть, вам странно, как это ваш муж мессер Артилао взял вдруг да уехал?

Мадонна Дария ответила:

– Разумеется, мессер кум, и по многим причинам, а в особенности потому, что он оставил меня в таком положении.

– В каком же таком положении, – поинтересовался мессер Либерале, – он вас оставил?

– В интересном, – призналась мадонна Дария. – Я ношу уже три месяца и чувствую себя так скверно, как никогда еще при беременности не чувствовала.

Услышав это, кум сказал:

– Стало быть, кума, вы в тягости?

– Главное, куманек, не было бы тягостно на душе, – ответила мадонна Дария.

Пребывая с кумой в подобного рода рассуждениях и видя, какая она красивая, свеженькая и пухленькая, мессер Либерале до того в нее влюбился, что денно и ночью только и помышлял, что об утолении бесчестного своего желания, хотя любовь к куму немало его в этом сдерживала. Но, понукаемый изводившей его пылкой любовью, он подошел однажды к мадонне Дарии и сказал:

– О, как мне жаль, кума, как больно, что мессер Артилао покинул вас и оставил в тягости, ибо я опасюсь, что из-за поспешного своего отъезда он позабыл в суматохе закончить создание, которое вы носите во чреве. И тут как раз, может статься, причина, плохого вашего самочувствия.

Женщина в ответ спросила:

– Так вы полагаете, кум, что у создания, которое я ношу, под сердцем, недостает какого-нибудь из членов и что потому именно я маюсь?

– Воистину так я и считаю, – подтвердил мессер Либерале. – Я убежден, что мой кум мессер Артилао не довел свое дело до конца. А ведь отсюда как раз и выходит, что один родится, хромцом, другой кривым, кто с таким изъяном, кто с этаким.

То, что вы говорите, кум, все едино, что удар обухом по голове, – перепугалась женщина. – Но каково же средство, дабы отвести эту напасть?

– Ах, кума! – молвил мессер Либерале. – Вы совершенно правы, была бы только ваша воля, ибо от всего существует средство, кроме как от смерти.

– Прошу вас, кум, – взмолилась женщина, – ради вашей любви к куму дайте мне это средство; чем скорее вы мне его дадите, тем больше я буду вам благодарна, да и вы не явитесь причиной того, что ребенок родится с изъяном.

Смекнув, что изрядно обработал мадонну Дарию, мессер Либерале продолжал:

– Кума, было бы страшно подло и некрасиво, если б человек при виде страданий своего друга не пришел бы ему на помощь. Поскольку же я в состоянии образовать то, чего недостает плоду, я совершил бы предательство и был бы несправедлив к вам, ежели бы этого не сделал.

– Так не медлите, дорогой мой кум, – взмолилась женщина, – иначе ребенок останется калекой! А это было бы не только злосчастьем, но и немалым грехом.

– Не извольте сомневаться, кума, я услужу вам как нельзя, лучше. Велите прислуге собирать на стол, мы же тем временем начнем выправление.

Покамест прислуга накрывала обед, мессер Либерале удалился с кумой в покои и, заперев дверь, ну оглаживать ее и целовать, осыпая такими ласками, какими ни один мужчина еще не осыпал женщину. Мадонна Дария весьма тому удивилась и сказала:

– Неужто принято, мессер Либерале, так обращаться с кумой? О горе мне! Это чересчур большой грех[111 - Крестный отец и крестная мать в соответствии с церковными правилами не могли вступить в брак, не говоря уже о прелюбодейной связи, которая в глазах церкви становилась кровосмесительной.]; кабы не так, я бы вас удовольствовала.

Мессер Либерале ответил:

– В чем больший грех – в том, чтоб лежать с кумой, или в том, чтоб ребенок родился калекой?

– Я почитаю большим грехом, если он родится калекой по вине своих близких, – рассудила кума.

– Стало быть, вы будете великой грешницей, ежели не дадите мне довершить то, чего не доделал ваш супруг.

Женщина, желавшая, чтобы ребенок родился совершенным, поверила словам кума и, несмотря на кумовство, вменила себе в долг убогатворить его, после чего они еще не раз встречались наедине. Ей пришлось по вкусу выправлять ущербные члены, и она знай просила кума употребить больше тцания, нежели употребил ее муж, хотя мессер Либерале, которому нравился доставшийся ему лакомый кусочек, и без этого со всем усердием трудился денно и ночью над выправлением плода, с тем чтобы довести его до совершенства.

Как скоро наступили роды, мадонна Дария разрешилась младенцем, поразительно походившим на отца; и до того получился он справный, что невозможно было обнаружить у него ни единого изъяна. Мать это страх как радовало, и она рассыпалась в благодарностях куму, сделавшему столь доброе дело.

Минуло некоторое время, и мессер Артилао вернулся в Геную. Войдя в дом, он нашел жену цветущей и прекрасной; та встретила его с младенцем на руках, и они крепко обнялись и расцеловались.

Узнав о приезде кума, мессер Либерале поспешил к нему, заключил его в объятия, поздравил с благополучным возвращением и порадовался, что он превосходно выглядит.

Случилось, что мессер Артилао обедал в один прекрасный день с женой и, лаская маленького, сказал:

– О Дария, до чего же прелестное у нас дитя! Видела ли ты когда-нибудь ребенка более справного, чем этот? Ты только посмотри на его личико! А какие ясные у него

глазки, прямо звезды! – И в таком духе он перебирал все достоинства малыша.

Мадонна Дария ответила:

– Да, у него все на месте, однако ж заслуга в том не ваша, муженек, ибо до вашего отъезда, как вам известно, я носила три месяца и плод в моем чреве был несовершенно, отчего беременность причиняла мне множество неприятностей. Стало быть, мы должны сказать спасибо мессеру Либерале, который своевременно и любезно взял на себя труд исправить ваши упущения, довершив за вас то, чего не доделали вы.

Мессер Артилао, услышав слова жены и прекрасно уразумев их смысл, пришел в ярость, ибо слова эти были для него как нож в сердце; он тут же понял, что мессер Либерале его предал и надругался над мадонной Дарией, однако ж, как человек осторожный, прикинувшись, будто ничего здесь не усмотрел, смолчал и перевел разговор на другую тему.

Отобедав, мессер Артилао принялся про себя рассуждать о странном и постыдном поступке своего любимца кума, денно и ночью обдумывая способ и путь отомстить ему за нанесенное оскорбление.

Упорно, стало быть, пребывая в подобных размышлениях и не ведая, какой путь выбрать, он в конце концов задумал одну вещь, отвечавшую как он рассудил, его намерениям. После этого Он сказал жене:

– Дария, приготовь завтра обед получше, ибо я хочу, чтобы мессер Либерале и мадонна Проперция, его жена и наша кума, пришли к нам обедать; но если тебе дорога жизнь, молчи, снося терпеливо все, что бы ты ни увидела и ни услышала.

Взяв с нее обещание молчать, он, выйдя из дома, направился на площадь, нашел своего кума мессера Либерале и пригласил его с женой отобедать с ним на следующий день. Тот с удовольствием принял приглашение.

Назавтра кум с кумой пожаловали в дом мессера Артилао, где были радушно приняты. Хозяева и гости рассуждали о том о сем, когда мессер Артилао сказал:

– Кума, покуда готовятся кушанья и накрывают на стол, вы должны подкрепиться, – и, уведя ее в небольшую комнату, подал ей стакан вина, в которое заранее примешал опиума; она же, докрошив туда хлеба, все это съела и выпила.

Засим хозяева и гости уселись за стол и весело пообедали. Как скоро они встали из-за стола, мадонну Проперцию до того одолела сонливость, что у нее слипались глаза. Видя это, мессер Артилао предложил:

– Кума, вы должны чуточку отдохнуть; наверно, вы плохо спали ночью, – и проводил ее в покои, где она, упав на постель, тут же уснула. Опасаясь, что действие вина скоро кончится и он не успеет осуществить свой тайный замысел, мессер Артилао кликнул мессера Либерале и предложил ему:

– Кум, оставим ее здесь, пусть она спокойно выпится: ведь небось кума поднялась нынче ни свет ни заря, и ей надобно отдохнуть.

Выйдя вместе из дому, кумовья направились к площади, и тут мессер Артилао сочинил, будто почитает за нужное уладить кое-какие торговые дела, распрощался с кумом и незаметно воротился домой.

Потихоньку проникнув в комнату, где лежала кума, он приблизился к ней и, видя что та сладко спит, проворно, как только мог, снял у нее с пальцев кольца и жемчуга с шеи и покинул комнату, так что она не проснулась и ни единая душа в доме ничего не заметила.

Вино с опиумом утратило уже свое действие, когда мадонна Проперция очнулась от сна. Намереваясь встать, она обнаружила пропажу жемчугов и колец и, сойдя с ложа, принялась искать там и тут, переворачивая все вверх дном, однако ж ничего не нашла. Тогда, обеспокоенная, она вышла из комнаты и спросила мадонну Дарию, не у той ли часом ее жемчуга и перстни, на что кума ответила отрицательно, весьма этим мадонну Проперцию опечалив.

Бедняжка пребывала в горе, не ведая, что бы ей предпринять, как тут появился мессер Артилао и, увидав куму в расстроенных чувствах, удивился.

– Что с вами, кума, чем это вы так опечалены?

Женщина все ему рассказала.

Мессер Артилао, прикинувшись, будто ничего не знает, посоветовал:

– Ищите хорошенько, кума, да вспомните, не положили ли вы их где-либо, позабыв потом, где именно; может, они все-таки сыщутся. Если же вы их не найдете, клянусь честью доброго кума, что худо придется тому, кто их взял. Но прежде все тщательно осмотрите.

Обе женщины и служанки обыскали комнату за комнатой, учинив в доме жуткий беспорядок, но драгоценностей так и не нашли. Видя это, мессер Артилао поднял страшный крик, грозя то тому, то другому, однако ж все божились, что ведать ничего не ведают. Тогда, обратившись к мадонне Проперции, он сказал:

– Не отчаиваться надлежит, кума, но радоваться, ибо я считаю, что пора положить этому предел. Знайте же, кума, мне известна одна тайна такого свойства, что, кто бы ни взял ваши драгоценности, я его избобличу.

Услышав это, мадонна Проперция взмолилась:

– О мессер кум, покорнейше вас прошу, сделайте это, дабы мессер Либерале не заподозрил меня в чем и не подумал обо мне дурно.

Мессер Артилао, сочтя, что пришло время расквитаться за полученное оскорбление, позвал жену и служанок и велел им выйти из комнаты, запретив кому бы то ни было приближаться к двери иначе как по его зову. Едва жена и прислуга удалились, мессер Артилао запер дверь и углем сделал на полу круг; начертав там какие-то знаки и буквы, понятные ему одному, он вступил в круг и обратился к Проперции:

– Кума, лежите спокойно на постели и не пугайтесь того, что услышите, ибо я отсюда не выйду, покуда не сыщу ваши драгоценности.

– Не извольте сомневаться, – ответила женщина, – я не пошевельнусь и ничего не сделаю без вашего приказа.

Тут мессер Артилао, поворотившись вправо, начертил на полу несколько новых знаков, повернувшись же влево, написал что-то в воздухе; изображая, будто изъясняется с целой толпой, он говорил при том на разные голоса, столь странно звучащие, что мадонне Проперции становилось страшно; видя это, мессер кум успокаивал ее и убеждал не бояться.

Постояв в круге не меньше четверти часа, он не своим голосом забубнил:

То, что найти досель не удалось,  
на дне лохматой спрятано лощины;  
отчаиваться больше нет причины:

найдется все – лишь удочку забрось.

Слова эти столь же рассмешили мадонну Проперцию, сколь и поразили. Кончив колдовать, мессер Артилао объявил:

– Кума, вы все слышали: драгоценности, которые вы, по-вашему, потеряли, на самом деле у вас внутри. Будьте спокойны, сейчас мы все разыщем. Но для этого, как вы поняли, мне придется поискать их в определенном месте.

Женщине не терпелось получить свои драгоценности, и она весело ответила:

– Я все уразумела, кум, не медлите же и ищите хорошенько.

Мессер Артилао, выйдя из круга и приблизившись к постели, улегся рядом с кумой, которая при этом не пошелохнулась, и, сняв с нее платье и рубашку, принялся удить в мохнатой лощине. Только-только еще приступив к лову и незаметно вытащив из-за пазухи перстень, он протянул его мадонне Проперции со словами:

– Ну что я говорил, кума? Недурное начало: с первого же раза я поймал брильянт.

При виде брильянта женщина пришла в восторг:

– О милый мой куманек, ловите дальше, может быть, вам удастся найти остальное.

Кум, мужественно продолжая лов, извлекал на свет то одну вещицу, то другую, и в конце концов с помощью своего щупа нашел, к великому удовольствию кумы, все, что было утеряно.

Обретя свои дорогие сокровища, женщина сказала:

– О любезный мой куманек, вы вернули мне столько вещей, так посмотрите, не удастся ли вам часом найти мерку, которую намерены у меня стащили: очень уж она была красивая, и я к ней так привыкла.

– Охотно, – согласился мессер Артилао, и, сызнава погрузив свой инструмент в лохматую лощину, он до того усердствовал, что добрался до мерки; правда, ему не хватило сил извлечь ее на поверхность, и он, видя, что его труды остаются втуне, сказал:

– Кума, мерку я нащупал и сейчас упираюсь в нее, однако ж, поскольку она опрокинулась донышком кверху, мне ее никак не подцепить и, следовательно, не выудить.

Мадонна Проперция, которой страх как хотелось заполучить мерку, не говоря уже о том, что забава пришлась ей по вкусу, упрашивала его поудить еще, но кум, у коего вышло все масло в лампаде, так что он больше не горел, объяснил в ответ:

– Знайте, кума, что у инструмента, каковым мы до сих пор удили, обломился кончик и им невозможно орудовать дальше, посему малость потерпите. Завтра я отошлю инструмент кузнецу, он приделает кончик, в тут-то мы в свое удовольствие выловим злополучную мерку.

Женщина спорить не стала и, распростившись с, кумом и с кумой, счастливая и благостная воротилась домой.

Однажды ночью мадонна Проперция, лежа с мужем в постели, сказала ему, поскольку в лохматой лощине удил на сей раз не кто иной, как он:

– О муженек, поглядите, не удастся ли вам часом найти мерку, которую мы намерены потеряли, ибо позавчера, когда я посеяла все свои драгоценности, наш кум мессер

Артилао, удя в лохматой лощине, вытащил их одну за другой. Как скоро же я попросила его извлечь кстати и пропавшую мерку, он объяснил мне, что нащупал ее, но вытащить не может, ибо она опрокинулась донышком кверху, да и, кроме того, от долгого ужения у его инструмента обломился кончик. Так что потщитесь теперь вы, может быть, у вас получится.

Мессер Либерале, смекнув, что кум в долгу не остался, ничего на это не сказал и терпеливо проглотил оскорбление.

Следующим утром кумовья повстречались на площади; один косился на другого, но ни тот, ни другой не дерзнул себя выдать и, умолчав о случившемся, а также ни словом не попрекнув изменщиц, они в конце концов сделали жен общими, и один давал возможность другому забавляться с чужою женой.

Ночь тринадцатая

Сказка IV

Слуга Фортуньо, намереваясь прихлопнуть слепня, убивает своего хозяина; обвиненный в человекоубийстве, он оправдан благодаря своей находчивой шутке

Я слышала великое множество раз, высокочтимые господа, что непреднамеренные грехи не столь тяжелы, как содеянные по умыслу, и что отсюда проистекает наше снисходительное отношение к людям темным и невежественным, детям и им подобным, которые никогда не грешат столь тяжело, как те, кто ведает, что творит. Посему, поскольку подошла моя очередь рассказывать сказку, мне припомнилось приключившееся со слугою по имени Фортуньо, который, намереваясь прихлопнуть докучавшего его хозяину назойливого слепня, нечаянно убил самого хозяина.

Жил в городе Ферраре один богатый бакалейщик из хорошего рода, и был у него слуга по имени Фортуньо, юноша неотесанный и ума недалёкого. Случилось как-то его хозяину из-за стоявшего тогда невыносимого зноя прилечь и уснуть, и Фортуньо, размахивая опахалом, отгонял от него докучливых мух, дабы он мог спокойнее спать. Среди бесчисленных мух там оказался на редкость назойливый слепень, который, не обращая внимания на опахало и на наносимые им удары, садился на лысину спящего и не переставал мучить его укусами, вонзая в его голову острое жало, и, будучи прогнан оттуда дважды, трижды и четырежды, возвращался все снова и снова и надоедал бакалейщику. В конце концов, увидев, до чего упорна и настойчива эта тварь, и не будучи в силах справиться с нею, Фортуньо легкомысленно надумал ее прихлопнуть. И лишь только слепень уселся на лысине хозяина и принялся сосать его кровь, слуга Фортуньо, человек простой и бездумный, взял увесистый медный пестик и, бросив его изо всей силы в слепня, с тем чтобы его убить, убил своего хозяина. Поняв, что он и впрямь убил своего господина и по этой причине будет осужден на смерть, Фортуньо сначала решил бежать и таким образом спасти свою жизнь. Потом, отказавшись от этой мысли, он придумал, как, таясь от всех, похоронить убитого. И вот, упрятав мертвое тело в мешок и отнеся его в находившийся по соседству с лавкою сад, Фортуньо зарыл его в землю. Вслед за тем он отнял у коз их козла и бросил его в колодец. Так как хозяин, вопреки своему обыкновению, вечером не вернулся домой, жена стала подозревать в лихом деле слугу и, спросив его о своем муже, услышала от него в ответ, что он не видел его. Тогда, потрясенная горем, женщина принялась плакать навзрыд и скорбными воплями призывать своего мужа, но призывала она его понапрасну. Родичи и друзья этой женщины, прослышав о том, что ее муж бесследно исчез, отправились к правителю города и обвинили пред ним слугу Фортуньо, ходатайствуя о том, чтобы градоправитель распорядился бросить его в темницу и вздернуть на дыбу, дабы он открыл, что же приключилось с его хозяином. Приказав схватить слугу и опутать его веревкой, он вздернул Фортуньо, поелику противного имелись косвенные

улики, в соответствии с велением закона, на дыбу. Слуга, которому было невмочь терпеть пытку, пообещал открыть всю правду, если его опустят на землю. Снятый с веревки и поставленный пред очи градоправителя, он, измыслив хитрый обман, произнес такие слова: «Вчера я услышал во сне громкий всплеск, словно кто-то кинул в воду тяжелый камень; этот всплеск немало меня удивил, и я направился к колодцу взглянуть на воду и, увидев, что она ясна и прозрачна, но стал больше в него смотреть; однако, возвращаясь назад, я вторично услышал такой же всплеск и остановился в недоумении. Теперь я думаю, что это был мой хозяин, который, желая достать воды, свалился в колодец. И чтобы истина не осталась неустановленной и подозрения разрешились достоверной и обоснованною уверенностью, пойдите к колодцу – я не мешкая в него спущусь и увижу, что там такое». Желая проверить сказанное слугою, ибо проверкой определяется и утверждается все что ни есть на свете и зримое доказательство не в пример лучше и убедительнее любого другого, градоправитель со всеми своими людьми и многочисленными сопровождавшими его знатными лицами направился к колодцу, и с ними направились туда также многие из народа, любопытствуя посмотреть, чем это дело закончится. И вот обвиняемый по повелению градоправителя спустился в колодец и, разыскивая в воде хозяина, нашел в ней козла, которого сам туда и швырнул. Тогда он хитроумно, с заранее обдуманной намерением возопив во весь голос, позвал хозяйку и обратил к ней такие слова: «О хозяйка, скажите, пожалуйста, были ли у вашего мужа рога? Я наткнулся здесь на кого-то с очень длинными и могучими рогами; не будет ли это часом ваш муж?» Охваченная стыдом и смешавшаяся женщина молчала и не вымолвила ни слова. Окружающие сгорали от нетерпения, желая посмотреть на это мертвое тело. Наконец его извлекли наверх, и, когда обнаружилось, что это козел, все принялись топтать ногами и хлопать в ладоши, и их разобрал такой смех, что еще немного, и они бы лопнули. Правитель, увидев, в чем дело, счел показанья слуги правдивыми и, признав его невиновным, отпустил на свободу. В дальнейшем никто никогда ничего не узнал о его хозяине, а жена бакалейщика в глазах всех так навсегда и осталась женщиною, наставлявшей мужу рога.

И мужчин и дам немало насмешил найденный в колодце козел, а еще больше – начисто онемевшая женщина. Но поскольку шло время и еще многим предстояло огласить свои сказки, синьора Вероника, не дожидаясь особого приказания, предложила загадку такого рода:

Наружу выпустив свой хвост зеленый,  
Живу, зарывшись в землю головой.  
Еще в младенчестве, едва рожденный –  
Я белый, я уже совсем седой.  
Для знатных и богатых я зловонный  
И неприятный, – только люд простой  
Меня ценить умеет по заслугам,  
И я ему всегда останусь другом[112 - Стихи в переводе Н. Я. Рыковой.]

Присутствующим понравилась прочитанная синьорой Вероникой загадка, и, хотя она была понята почти всеми, никто тем не менее не пожелал присвоить себе заслугу ее разьяснения, но все предоставили самой Веронике взять на себя труд дать разгадку ее, и видя, что все молчат, она молвила так: «Хотя среди вас я самая ничтожная и невежественная, все же при всей скудости моего разума я не премину истолковать загадку, признавая одновременно превосходство надо мной знающих больше меня. Итак, моя низменная загадка имеет в виду лук-порей, белая головка которого пребывает в земле, который наделен зеленым хвостом и служит пищей не для господ, но для простого народа». По разьяснении забавной загадки синьора повелела синьору Бернардо Капелло поделиться с собравшимся обществом какой-нибудь из своих сказок, памятуя при этом о должной для данной ночи краткости повествования. И, отложив на время глубокомысленные свои размышления, он приступил к следующему рассказу.

Джиrolамо Парабоско

Из «Потех»

### Новелла III

Один монах влюбляется в благородную даму, умоляет ее, ответить ему взаимностью, она же рассказывает все своему, супругу, который хочет хорошенько проучить монаха, но тот сумел великолепно постоять за себя, с честью выйдя из трудного положения

В тосканском городе Ареццо жил некогда монах с деревянной ногой, по имени Стефано, коего за его красноречивые проповеди иначе как маэстро Стефано никто не называл. Родом он был из Мантуи, но так давно жил в Ареццо, что многие – а вернее сказать, все – считали его аретинцем. Это был красивый мужчина лет тридцати восьми, большой говорун и весьма склонный к любовным приключениям; люди вроде него (я имею в виду плутов, подобных этому монаху) только и делают, что обличают других во всех смертных грехах, а сами же никогда христианской любви и милосердия к ближнему не питают. Они целыми днями вещают с церковных кафедр и кричат на всех перекрестках, что, мол, грех пожелать жену ближнего своего и что надобно как можно больше жертвовать на церковь. Все сие говорится, дабы другие доверчиво отворяли перед ними двери и впускали их в дом, а потом жертвовали им, как людям бедным, ведущим жизнь, полную святости, свои имения, дома и всякое иное имущество, лишая тем самым наследства своих родственников, а иногда даже собственных детей; они же сами потешаются над глупостью тех, кто оказывает им гостеприимство, радуются своим победам и множат число незаконнорожденных детей и опозоренных матерей. Они не брезгают ничем и мало помнят о заповеди божьей, что они – апостолы Христа и что не хлебом единым жив человек, и постоянно хлеба этого требуют. А когда им выпадает случай причащать умирающего, который незаконным образом завладел имуществом ближнего своего, то они убеждают его, что лучше и надежнее для грешной души пожертвовать сие имущество им, а не возвращать его тому, у кого оно взято с помощью лихоимства либо каким-нибудь другим обманным путем. Но это еще не все! Скажу, не покривив душой, что они еще никого не одаряли своей любовью: они не хотят исповедовать людей, если те им не платят денег; дорого продают они милосердие господне и кровь Христову.

О человеконенавистники, не удивительно, что вы именно такие, потому как вы, чего тут греха таить, прекрасно обходитесь без любви к нам! Вы отгораживаетесь от нас высокими монастырскими стенами, но ни для кого не секрет, что вы строите козни друг другу, плетете интриги, стараетесь погубить один другого и способны на самые страшные предательства, каких мы себе и не мыслим. Вы кочуете с места на место, нигде не оставляя после себя друзей. Разве вы любите своих отцов, матерей, родных? Думаю, что нет. И не только затаенная подлость заставляет вас облачаться одного в сутану, другого в стихарь, но и ваша алчность и ненависть к родным, вместе с которыми вы не хотите жить. Можете ли вы сказать, что пребываете в любви и милосердии, как все люди, когда в душе вы готовы причинить нам любой вред, любым путем опозорить нас? Поэтому не рассчитывайте на наше доброе отношение, ибо вы его не заслуживаете; зато мы, в свою очередь, готовы отплатить вам вдвойне, вернее, отомстить вам за то, что вы каждодневно совершаете или замышляете против нас. Правда, я говорю все время только о тех нескольких мошенниках, каковых знал лично (а доверялся я не очень-то многим) и которым не мешало бы поучиться милосердию, доброте и набожности у первых святых отцов, кои своим примером показали бы, живи они ныне, совсем иные нравы и обычаи, а не те, по которым живете вы.

Наш маэстро Стефано был среди них, как говорится, самый отпетый негодяй. Он

влюбился в одну красивую, благородную молодую даму по имени Эмилия, которая была женой молодого человека, звавшегося Джироламо де'Брендали. Благородная дама, которой никогда бы и в голову не пришло, что монах Стефано, коего она держала за человека праведного и святой жизни, может быть обуян греховными помыслами и может влюбиться в нее, принимала его всегда в своем доме необыкновенно радушно, поскольку считала его человеком достойным, чрезвычайно уважаемым ею мужем, и; кроме всего прочего, он уже давно был ее духовником, которому она исповедовалась не менее двух раз в год.

В один прекрасный день монах, будучи человеком избалованным и разнузданным, не в силах долее скрывать свой любовный пыл, надумал открыться ей; но сперва он решил немного повременить, поскольку наступили дни праздничного карнавала, после которого она всегда ему исповедовалась, а чтобы все было шито-крыто, он порешил для осуществления своего замысла встретиться с ней не в ее доме, а подыскать место, где бы его жизни не грозила опасность, а честь осталась незапятнанной.

Прошло восемь дней после карнавала, и дама, как и следовало ожидать, отправилась исповедоваться в церковь, в которой в том году нашел себе приют и читал проповеди монах Стефано; она вызвала его и сказала, что пришла исповедоваться. Монах, который только того и ждал, быстро повел ее в дальний и темный придел церкви и, не мешкая долго, начал задавать ей вопросы; о всех смертных грехах он упомянул вскользь, а о плотском грехе стал распространяться подробно, всячески смакуя эту тему, – как любят это делать многие монахи, – поэтому часто, вместо того чтоб порицать и наставлять людей на путь истинный, они своей бесстыдной болтовней поучают их разным гадостям, чем усугубляют их грехи; они столь мало считаются с этим, что не стесняются задавать любому человеку самые бесцеремонные вопросы.

Итак, монах, разглагольствуя о плотском грехе, о котором он любил поговорить, а сейчас это его особенно волновало, собрался поведать Эмилии о своей любви. Он тяжело вздохнул и молвил следующие слова:

– Мадонна, одному богу известно, сколь часто я сомневался: отпускать вам грехи после исповеди или нет, потому как слишком целомудренными и сдержанными находил я ваши слова о плотском грехе.

– Как, отец мой? – воскликнула женщина. – Разве грех хранить верность мужу и быть честной?

Монах ответил:

– Я не верю, что у столь прекрасной, любезной и очаровательной дамы, как вы, нет целой свиты кавалеров, домогательствам которых вы в конце концов должны были уступить; и я часто думал, что вы, стыдясь меня, не говорите мне всего до конца либо из боязни, что я (избави бог!) скажу об этом вашему мужу, либо из страха, что я не дам вам отпущения грехов, которого вы будете недостойны, ежели скроете свои прегрешения. Поэтому, скажите мне все, пусть вас не остановит ни стыд, ни страх, я обещаю вам, что там, где вы, быть может, ждете от меня упреков и нравоучений, вы услышите похвалу и найдете поддержку. Потому как я считаю большим грехом не замечать любви и тем самым обречь на смерть человека, тогда как за свои чувства он заслуживает в награду тысячу жизней, человека, который волею судеб владеет малым достатком и вынужден жить скромно, чего не произошло бы, если бы все делились друг с другом своим добром.

Немало подивившись подобным речам, дама, женщина умная и осторожная, поняла, куда клонит монах. Но, в душе решив принять его игру, она с невинным видом продолжала говорить с ним как ни в чем не бывало, дабы ему не оставалось ничего другого, как высказать ей все, что было у него на уме. Поэтому она с улыбкой сказала:

– Неужели, отец мой, вы не считаете меня честной, добропорядочной женщиной, какой

считают меня все?

– Напротив, – ответил монах, – я считаю вас и честной и добропорядочной, но вы сами этого не хотите доказать, потому как истинная честность заключается не в том, чтобы блюсти ее ценой мук и смерти другого человека.

– Господи помилуй! – воскликнула женщина. – Кого это я, по-вашему, могу свести в могилу? Никто еще никогда не смотрел на меня влюбленными глазами.

– Нет такого человека, – ответил монах, – который, раз взглянув на вас, не отдал бы вам свое сердце. Я сам (простите мне мою дерзость!) с тех пор, как увидел вас, и денно и ночью думаю только о вашей красоте и заклинаю Амура послать мне случай (пусть даже ценою самой жизни!) доказать вам те чувства, которые я питаю к вам. И если мне выпала несчастная доля докучать вам напрасно, то будьте ко мне милосердны и вините во всем вашу красоту и вашу обходительность, кои привели меня в то состояние, когда я не смогу больше жить, коли вы мне не поможете, а ежели вы будете медлить, то опоздаете, ибо я умру.

Эмили, женщине честной, разговор монаха не поправился более всего потому, что ее муж питал к нему добрые чувства, и поэтому она решила его проучить. Сказав, что не верит всем этим небылицам ни о его чувствах, ни о ее красоте, – Эмилия удалилась, оставив его все-таки полным радужных надежд, хотя ни жестом, ни словом она, чистая душа, не пыталась подать ему повод для этого. Вернувшись домой, Эмилия поведала все своему мужу Джироламо, сперва взяв с него клятвенное обещание ограничиться только невинной местью монаху, а потом уже отказать ему от дома, поскольку его поведение недопустимо для порядочных людей их круга. Разгадав замыслы негодного монаха, Джироламо решил сыграть с ним злую шутку, от которой вреда большого не будет, но уж стыда тот не оберется. Поэтому муж сказал жене, что она должна устроить так, чтобы отец проповедник пришел как-нибудь к ней переночевать, а уж он его проучит. Эмилия во всем согласилась с мужем. А чтобы укрепить в монахе надежду и добиться успеха в своем деле, она спустя для два-три послала ему со своей служанкой несколько пустяковых подарков, а именно: флакон с туалетной водой и небольшой букет цветов, перевязанный зеленой и коричневой шелковыми лентами, – такие подарки имеют обыкновение посылать своим возлюбленным влюбленные женщины; грязный греховодник спокойно все это принял, даже не позаботился, в свою очередь, отослать через послушника ответный подарок своей даме, а та не заставила долго ждать: прислала и второй. По этой причине монах почувствовал, что дело сладилось, и решил в субботу навестить даму, поскольку в тот день он был свободен и надеялся закончить с ней свой поединок. Поэтому в субботу, накануне дня воскресения святого Лазаря, избавившись от своего послушника, он отправился в дом Эмили и, к своей радости, поскольку он именно этого и хотел, узнал, что ее мужа Джироламо дома нет. С довольным видом поднялся он по лестнице и объявил Эмили, что зашел ее навестить. Она приветливо встретила его и накормила до отвала, потом он спустя некоторое время после короткого разговора напомнил ей о своих муках и своем желании, на что Эмилия, которую муж научил, как надо отвечать и вести себя, сказала:

– Отец мой, бог свидетель, я всегда считала грешницей ту женщину, которая изменяет своему мужу, но так как вы уверили меня, что греха в этом нет и что весьма любите меня, то я решила вознаградить вас, как вы того заслуживаете, только обещайте мне сохранить все в тайне; и дабы вы не подумали, что это пустые слова либо что я хочу затянуть дело, – если завтра, в день воскресения святого Лазаря, у вас нет проповеди, то приходите нынешней ночью, часов в пять-шесть, сюда, ко мне в дом, я сама отпущу вам двери, поскольку муж мой вечером уезжает в имение, а все слуги и домочадцы будут спать.

Мессер монах, который большего и не желал и которому каждая минута промедления казалась вечностью, ответил:

– Мадонна, располагайте мною в свое удовольствие и как вам заблагорассудится, не

думайте о моей проповеди, потому как то, что меня ожидает с вами нынче ночью, даст мне силы произнести завтра такую проповедь, которой все останутся довольны. Мне достаточно того, что вы выпустите меня из дома на рассвете, дабы никто не увидел меня выходящим от вас, поскольку я не ваш муж.

Таким образом, они порешили, что встретятся ночью, после чего монах откланялся и отправился к известному рода женщине, чтобы она как следует умастила его тело всяческими благовониями, дабы избавиться от того тяжелого запаха, который распространяют иные живые люди не хуже всякой мертвечины.

Эмилия, со своей стороны, все рассказала мужу, который снова напомнил ей, как она должна поступать далее, затем ушел из дома и отправился ужинать к одному своему приятелю.

Когда настал назначенный час, монах оказался у дверей дома Эмилии, которая, как и было договорено, впустила его и повела наверх, в комнату, где она обычно спала с мужем; там она предложила ему раздеться и, прежде чем улечься с ним рядом, вышла из спальни, сославшись на то, что ей надо еще кое-что сделать по хозяйству, да так быстро, что он не успел даже ни разу поцеловать ее. И только он облачился в ночную рубашку, как Джироламо, карауливший у дверей дома со своим другом, с которым вместе ужинал и которого посвятил в суть дела, сильно забарабанил в дверь. Эмилия, притворившись напуганной, тотчас же бросилась на балкон и спросила:

– Кто там?

На это Джироламо ответил, чтобы она отворила, – это он, ее муж. Тогда Эмилия, сделав вид, что едва жива от страха, прибежала в комнату, где находился монах, который от ужаса и тяжелых предчувствий сам был ни жив ни мертв, и сказала ему:

– Отец мой, мы пропали! Не могу понять, как это случилось. Я думала, что мой муж находится за десять миль отсюда, а он, как сами слышите, стучит в дверь. Умоляю вас, поскольку нет иного выхода, спрятаться в этом сундуке (она указала на огромный сундук) и посидеть там, пока я что-нибудь не придумаю. А вещи ваши я спрячу от греха подальше. Видит бог, ваша жизнь мне сейчас дороже, чем моя собственная.

Несчастный монах, понимая, что попал как кур в ошип, исполнил все, что она ему сказала. А тем временем проснулись слуги и отворили двери хозяину. Джироламо сказал, что, как только он выехал с другом из Ареццо, на них напали разбойники, поэтому они вынуждены были вернуться и у городских ворот три часа упрашивали стражников впустить их в город, за что уплатили пошлину в одно скудо. Потом хозяин приказал постелить своему другу в соседней комнате, а сам улегся возле жены и, зная, что монах заперт в сундуке, всю ночь напролет развлекался с нею, не выпуская ее из своих объятий.

Наступило утро, а затем и день, в церкви, где чесал языком (я хотел сказать, читал проповеди) наш добрый монах, зазвонили колокола, созывая прихожан. Джироламо со своим другом взвалили сундук на плечи двух дюжих парней, которые ради этого случая пришли накануне вечером в дом, и приказали им отнести его в церковь, сами же пошли впереди, расчищая в толпе дорогу; в церкви они велели поставить сундук на самом видном месте и сказать, что якобы выполняют наказ самого монаха-проповедника, потом отпереть сундук, но крышку не подымать, а так и оставить. Те все, как было велено, исполнили. Люди, собравшиеся в церкви, не понимали, что происходит, и каждый говорил свое.

Наконец, когда все увидели, что колокол звонит не переставая, а на кафедре никто не появляется, вперед вышел какой-то молодой человек и сказал:

– По правде говоря, наш проповедник заставляет себя долго ждать. Давайте в таком случае посмотрим, что он велел принести в этом сундуке.

Сказав это, он у всех на виду поднял крышку сундука и, заглянув в него, увидел бледного и испуганного монаха в одной ночной сорочке, который был похож на мертвеца, лежащего в гробу. Монах, видя, что его обнаружили, собрал все свои силы, встал перед изумленной толпой и, вспомнив, что сегодня день воскресения святого Лазаря, начал говорить:

– Моя благочестивая паства, я ничуть не удивлен, что вы ошеломлены и поражены, видя меня явившимся к вам в этом сундуке, вернее сказать, принесенным в оном. Вы знаете, что сегодня день, когда наша мать-церковь отмечает великое чудо, сотворенное господом. Он воскресил Лазаря, который четыре дня пролежал в могиле[113 - Евангелие от Иоанна, Гл. XI, 1–44.]. Я тоже хотел показать вам мертвого Лазаря, явившись в его облике, дабы вы, увидав меня в этом сундуке, который служил мне гробом, проникнулись большим сознанием бренности человеческого бытия и, узрев меня в одной сорочке, поняли, что в конце концов на том свете нам ничего не надобно. И если вы хорошенько обдумаете увиденное, то, может быть, во многом измените свою жизнь. Верите ли вы, что я со вчерашнего дня до сего часа тысячу раз умирал и воскресал, как Лазарь, сознавая свою ничтожность? Можете не верить, но это так! Вспомните, что каждый живой человек должен умереть, и обратитесь к тому, кто может вас воскресить. Но еще при жизни вы умираете от похоти, алчности, лихоимства и прочих пороков, которые вам навязывает ваша слабая плоть, главный враг вашей души, а всего более опасайтесь пожелать жену ближнего своего: господь редко милует тех, кто связывается с чужими женами.

Такими и еще многими подобными словами и поучениями закончил свою проповедь наш добрый монах, которого за его изворотливость похвалили все аретинцы, а особенно Джироламо и его друг, пришедшие, чтобы присутствовать при развязке дела. Отметив удивительную находчивость и хитрость монаха, они вдоволь нахохотались над его проповедью, особенно когда он убеждал людей не пожелать жену ближнего своего; поэтому Джироламо счел себя в достаточной мере вознагражденным подобной мезьтю и уже никогда впредь не пускал на порог своего дома ни этого монаха, ни подобных ему мошенников.

Шипионе Баргальи

Из «Забав»

Новелла V

Лавинелле, девушке, наделенной острым умом и неопикуемой красотой, приглянулся прелестный юноша, прозванный Риччардо, и она в него пламенно влюбилась. Девушка прибегает к необычному способу довести до благополучного конца свою любовь, оставшись для Риччардо навсегда неизвестной

Надобно вам знать, любезные мои дамы и господа, что не так давно в нашем городе[114 - То есть в Сиене.], нравы коего за последнее время стали более изнеженными и распущенными, чем то нам пристало, жила девушка, происходившая из знатного рода и от природы наделенная немалым и острым умом. Была она свежа, мила, на редкость хороша собой и звалась Лавинелла. Ей должно было вот-вот исполниться восемнадцать лет, но, неизвестно уж почему те, на ком лежало бремя забот о ней, видимо, вовсе не помышляли о том, чтобы подыскать ей подходящего супруга, вследствие чего, побуждаемая не столько резвой и пылкой юностью, сколько в гораздо большей мере

дерзким, решительным правом, который в ту пору обнаруживался у нее все чаще и чаще, она не желала сидеть целыми днями, за исключением дней воскресных и праздников, одна-одинешенька, запершись в своей комнате, как то делают многие ее сверстницы, все занятия и развлечения коих сводятся к уходу за цветами и птицами, наряжению кукол и разучиванию религиозных песнопений, В отличие от них ее нельзя было оторвать от окна, выходящего на главную улицу подле портала церкви святого Августина. Скрывшись за ставней, она, получая от сего величайшее удовольствие, внимательно наблюдала за каждым прохожим, но так, что самое ее разглядеть было невозможно, ибо, как вам известно, согласно обычаю, ставшему у нас непреложным законом, – что, по моему разумению, заслуживает всяческих похвал, – девушку на выданье не должен Видеть никто, за исключением самых близких родственников, до тех пор, пока она не станет замужней женщиной.

Так вот, сидя подобным образом у окна каждый будний вечер, а по праздникам и целыми днями, Лавинелла успела разглядеть большую часть молодых людей Сиены, пока те прогуливались пешком или скакали верхом по городу в свите какого-нибудь вельможи. Случилось, что одному из этих красивых и статных юношей довелось не однажды попасться ей на глаза, и девушке показалось, что красотой, изяществом и благородством он намного превосходит всех, кто когда-либо проходил или гарцевал под ее окном. Все звали этого юношу Риччардо[115 - «Riccio» («риччо» по-итальянски значит «курчавый»)] из-за густых, курчавых волос, венчавших его горделивую голову, хотя настоящее его имя было Пандольфо, и принадлежал он к знатнейшему роду, но подробно об этом распространяться здесь мне бы не хотелось. Увидав несколько раз такого молодца, Лавинелла, как то бывает с веществом легко воспламеняющимся, в единый миг загорелась любовью, и этот огонь сильно сжигал ее и извне и изнутри, столь беспощадно пожирал ее, что ни душа ее, ни тело не знали более ни отдохновения, ни покоя. Все ее мысли отныне были сосредоточены на предмете ее любви, и, подогреваемая ими, она все чаще и чаще оставляла свое рукоделие и бросалась к закрытому ставней окну; там она поджидала своего Риччардо, которого, неизвестно почему, вдруг стала сильно ревновать. Вследствие этого, когда ей доводилось его увидеть, она чувствовала, что любовный жар разгорается в ее сердце сверх всякой меры; когда же ей видеть его не удавалось, а это случалось, пожалуй, еще чаще, она в отчаянье проклинала себя и горько сетовала на Амура, на судьбу и даже на самого Риччардо как на человека неблагородного и неучтливового. Правда, затем, по здравом размышлении и несколько успокоившись, она решила, что ей нечего корить себя, ибо она отдала любовь человеку весьма достойному и того заслуживающему, и что у нее нет ни малейших оснований упрекать Риччардо, поскольку он оставался в полном неведении относительно ее чувств, однако на судьбу и Амура она досадовала с каждым часом все больше и больше. Поэтому вскоре у юной влюбленной родилась мысль, смелая и дерзкая, которая, отринув скромность и благочиние, Побуждала ее любыми путями добиваться удовлетворения своего желания; девушка припоминала неких молодых дам, которые каждодневно стремятся делать и делают то, что задумала совершить она, и ставила себе в пример тех из них, кому было угодно довести до конца замыслы гораздо более дерзновенные и менее позволительные, не отступая ни перед чем; а кроме того, она полагала, что для любящего не существует истинно трудных деяний. Но едва лишь ею овладевали такого рода помыслы, как тут же в ее сознании, – она еще сохранила способность рассуждать разумно, – возникали мысли иные и совсем противоположные, показывающие ей, сколь тяжкий проступок она готова совершить, следуя своей безумной и необузданной страсти, а также говорящие о том, что, осуществив свой замысел, она подвергнется немалому риску замарать собственную репутацию и запятнать честь семьи и что ей, возможно, придется поплатиться за это тем, что вся ее дальнейшая жизнь окажется непоправимо испорченной.

Такого рода рассуждения подкрепляла она примерами из жизни женщин, которые, идя на поводу у столь же неукротимого желания, сами обрекли себя на вечную погибель.

Лавинелла почла такие мысли верными и почти совсем притупила острие противных доводов, выдвигаемых ее не слишком твердым духом, однако все же не в такой степени, чтобы дух ее не смог вооружиться другими аргументами, сходными с прежними, но еще

более весомыми. Так что в душе девушки опять завязалась битва, из которой пыталась выйти победительницей могучая страсть, и Амур снова побуждал ее следовать этой страсти, сокрушая и попирая все другие желания, возникающие у нее из стремления как-то посчитаться с благопристойностью и оберечь свою репутацию. Вот почему, раздираемая мучительными сомнениями, она обратилась к себе самой со следующими речами: «Да, Лавинелла, положение твое весьма плачевно, оно хуже и невыносимее, чем положение всякой другой влюбленной. Иные, изнемогавшие подобно тебе под игом любви, обретали некоторое облегчение, изъясняясь в своем чувстве тем, кто его пробудил. У тебя такого облегчения не было и быть не может, ибо тебе невозможно открыть свою любовную тоску тому, кто сумел бы и по законам любви был бы обязан ее развеять. Тебе нечего даже мечтать о чем-либо подобном, поскольку ты своей рукой (о случай неслыханный и небывалый!) душишь собственные надежды, не будучи склонной поведать ему о своей беде. Поразмысли немного: это твое столь пылкое желание либо подвластно разуму, либо, что намного вернее, порождено страстью и безумием. Если оно разумно, ты можешь не колеблясь рассказать о нем твоему Риччардо, человеку мудрому и скромному, и просить у него о снисхождении; если же твое желание во всем противоречит рассудку, тебе должно даже не намекать на него Риччардо и с корнем вырвать его из сердца, подчинившись доводам разума и вспомнив кое-какие примеры, которые наводили на грустные размышления.

Но, возможно, тебе захочется, какой бы ни была природа твоей пылкой страсти, довести ее до желанного завершения. Если так, то почему бы тебе не обратиться к тому, кто, как ты знаешь, один обладает возможностью сделать тебя вполне довольной и совершенно счастливой? Ты робеешь и не решаешься, ты стыдишься обнаружить пламя, в котором сгораешь? По учти, что ты никогда не зальешь и не потушить бушующий пожар, коли будешь держать его в тайне, напротив, так он разгорится еще сильнее. Поэтому откройся, проси, умоляй, а если просьбы твои окажутся тщетными, сопровождай мольбы свои слезами и вздохами. Однако, может, тебе кажется неприличным признаваться изустно и идти к нему самой? Тогда пиши, диктуй, посылай других от своего имени.

Горе мне, несчастной! Я прекрасно вижу, с одной стороны, чего мне надо, а с другой – какое поведение мне пристало. Едва лишь, подстрекаемая Амуром, я следую душевному порыву, как тут же честь, натянув жесткие удила, поворачивает меня вспять. Я и хочу и не хочу в одно и то же время и испытываю чуть ли не тысячу разных порывов, но не желаю никому говорить о них и не думаю, чтобы кто-нибудь сумел понять это. Но если бы даже Риччардо и был наделен искусством угадывать чужие мысли, то что заставило бы его использовать это искусство ради меня, которую он совсем не знает? Поэтому, раз я не могу получить ни из милости, ни по чести то, к чему я стремлюсь с тем большей силой, чем менее я рассчитываю сего удостоиться, то не следует ли мне прибегнуть к обману? Конечно, обман противен закону благородной души, но что делать, коли я чувствую, как во мне говорит закон страсти, столь отличный от закона рассудка?»

Так неопытная девушка оказалась ввергнутой в великую пучину любви, и, подобно утлону суденышку без верного кормчего, ее гнали в открытое море спорящие друг с другом бурные ветры. С равным рвением и силой напирала на нее Амур и честь, и она никак не могла понять, какому из противоборствующих желаний следует ей подчиниться. Наконец у Лавинеллы, захваченной столь страшным душевным ураганом, мелькнул в уме, словно молния в черных тучах, яснейший, как ей казалось, замысел, следуя которому, как она думала, ей удастся привести в спокойную гавань корабль сжигающих ее желаний, причем так, что оба стремления ее сердца будут улагодворены и не понесут никакого ущерба.

А теперь слушайте, я расскажу вам, в чем состоял ее замысел.

В то время, как и нынче, шел карнавал и повсюду в нашем городе устраивались шумные празднества и веселые гулянья. И не незачем напоминать вам ни о том, какая допускается в эту пору свобода, коей, если кто того пожелает, можно пользоваться

как днем, так и ночью, ни о том, сколь различно и по-всякому проявляют свою радость люди в последние три дня мясоеда, как они тогда веселятся, гуляют, ликуют. В эти дни улицы Сиены заполнены мужчинами и женщинами в масках, причем ночью ничуть не меньше, чем днем, а то и больше, – ведь по ночам на улицах появляются даже те, кого днем никогда не встретишь. Лавинелла решила воспользоваться карнавалом и его свободными нравами. Во вторник вечером (а вторник последний и, пожалуй, самый беззаботный, самый веселый день карнавала, после ужина, не сказав никому о своем решении, в тайне от всех, она скрыла под маскою свое прелестное лицо и, хотя, как всякую девушку из знатной семьи, ее усердно стерегли домашние, выскользнула на улицу. Совсем одна, ведомая только Амуром, она быстрехонько направилась туда, где проживал Риччардо, а именно на площадь Постьерела. Там она стала ждать, пока он выйдет из дома, дабы, по обыкновению всех молодых людей, отправиться куда-нибудь развлечься. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре она увидела, что Риччардо появился в дверях, держа в руке, как это теперь принято, глиняный светильник. Лавинелла немедля устремилась к нему. Сердце у нее замирало, но, собравшись с духом, она подошла к Риччардо и, не снимая с лица маски, сказала ему нежным и жалобным голосом:

– Любезнейший юноша, будьте так добры и не откажите зажечь от вашего светильника мой фонарь, который совсем погас.

Риччардо, памятуя, что вежливость по отношению к любому прохожему требует не только поделиться с ним огнем, но и показать ему дорогу, если он заблудился, сразу же ответил, что он сделает сие весьма охотно, и, подойдя к Лавинелле, будучи человеком осторожным, несколько раз оглядел ее с головы до пят, желая уразуметь, кто же попался ему навстречу в столь поздний час. Он увидел, что маска одета легко и богато; ему показалось, что она наделена красивой наружностью, и он без труда представил, что сокрытое от его взоров ничуть не хуже того, что видел его глаз. В тот же миг в его воображении возникла картина одного из тех приятных ночных приключений, которые не раз случались с его друзьями. Думать о такого рода приключении побуждал нежный и жалобный голосок, а также устремленные на него живые глаза, которые сверкали из-под маски, словно две яркие звезды, и доносящиеся до него страстные, прерывистые вздохи. У Риччардо возникло великое желание узнать, кто эта маска, в которой он ясно признал благородную даму, и он еще раз внимательно оглядел ее всю, что сделать было нетрудно, ибо дрожащей от волнения рукой она долгое время никак не могла зажечь фонарь то ли по той причине, что фитиль свечи в нем отсырел, то ли из-за какой-то другой неполадки. Теперь Риччардо уже не сомневался, надо ли ему воспользоваться подвернувшимся случаем; желая узнать намеренья незнакомки, он любезно предложил ей свое общество, спросив, куда она направляется в столь поздний час и притом совсем одна. Лавинелла, для которой не могло быть ничего сладостнее такого предложения, исходившего от ее любимого, и которая именно этого и ждала, незамедлительно ответила:

– Сударь, если это не причинит вам затруднений, вайю общество будет мне весьма приятно; под вашей защитой и покровительством я даже в столь поздний час не побоюсь пойти всюду, куда вам будет угодно. Однако я последую за вами при одном лишь условии: прежде всего вы должны дать честное благородное слово, что не покуситесь на мою честь и не будете пытаться узнать, кто я такая и каково мое имя, пока я сама не открою вам этого.

Связать Риччардо такого рода обещанием было делом не сложным, и оба они, довольные друг другом, отправились бродить по городу, присматриваясь и прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг них забавного и веселого. Через некоторое время Риччардо осведомился у незнакомки, где бы ей было приятней всего провести эту праздничную ночь, и ради бога просил ее не таить от него своих желаний, обещая тут же исполнить любой из ее приказов, на что Лавинелла ответствовала, что пусть он выбирает ту дорогу, которая покажется ему наилучшей, и идет туда, куда ему нравится; что до нее, то, если ее общество ему не наскучило, она пойдет за ним всюду и ей будет приятнее всего там, где ему больше всего придется по вкусу.

Видя, как держит себя незнакомка, Риччардо пришел к заключению, что та, видимо, питает к нему слабость и добивается его любви. Посему, не долго раздумывая, он кратчайшим путем повел ее к себе и, войдя в дом, проводил ее в красивую залу, расположенную на первом этаже. Там немедленно был накрыт стол, уставленный всевозможными сладостями и тонкими винами. Риччардо полагал, что так ему легче удастся уговорить даму снять маску и узнать, кто она такая. Пока они ходили по городу, он не раз пытался сделать это, но все его старания не привели ни к чему. Теперь он принялся упрашивать ее подкрепиться после прогулки, отведав стоящие на столе яства. Он снова и снова угощал ее и просил не побрезговать его закусками. В конце концов Лавинелле пришлось уступить пылким и настойчивым уговорам того, кто властен был ей приказывать и кто, даже повелевая, оказывал ей милость.

– Уберите все светильники, – сказала она, – и я перестану упрямо и столь невежливо отвергать вашу любезность; я хочу доказать вам, как мило и дорого мне все, что исходит от вас, сколь сердце и воля мои готовы служить и повиноваться всему, что вам угодно будет повелеть мне честным и благородным образом.

Хотя такая неожиданная просьба легко могла бы насторожить Риччардо, он с юношеской решимостью изгнал из своей души всякие подозрения и как до этого следовал всем пожеланиям маски, так и теперь порешил сделать то, о чем она его просила. Приказав вынести светильники, горевшие в комнате, он остался наедине с незнакомкой в полной темноте. Лавинелла тут же сняла маску и принялась расхваливать угощения, хотя она едва к ним прикоснулась, алча, видимо, пищи иного рода и для нее несравненно более сладостной и аппетитной.

Некоторое время молодые люди сидели в темноте, обмениваясь шутками и двусмысленными речами. Затем юноша решил проверить, правда ли то, что обычно толкуют о женщинах, а именно, будто в темноте они обнаруживают совсем не те настроения, нежели при ярком свете. С этой целью он приблизился к незнакомке и, нежно пожимая ей руку, вызвал ее на любовную схватку. Девушка сперва сильно сопротивлялась, однако не настолько, как ежели бы ей хотелось остаться победительницей. Поэтому Риччардо потребовалось немного времени, чтобы одержать над ней верх. Правда, она ни за что не хотела сдаваться после первого же поражения, и ему, дабы лучше показать ей свое превосходство в силе, пришлось за короткий срок подмять ее еще два-три раза, причем, смею вас уверить, побежденная получала от сего удовольствие не менее полное, чем ее победитель. Потом по нем боя стала мягчайшая постель. Лежа на ней, Лавинелла, по-прежнему не называя своего имени возлюбленному, любовницей которого она теперь стала, в самых нежных выражениях рассказала ему, сколь давно она пылает к нему любовью и как она, во-первых, чтобы дать испытать огонь ее любви, а во-вторых, дабы несколько поостудить жар оной, решила с ним встретиться – и обо всем поговорить.

Однако мне нет надобности ни пересказывать здесь те доводы, которыми она оправдывала свою влюбленность, ни повторять ее рассказ о том, как она впервые увидела Риччардо проходящим по ее улице, каким образом она выведала, кто он такой, и как с тех пор она много раз видела его и в городе и за городом. Слушая такие речи совсем ему незнакомой дамы, Риччардо пришел в полнейшее недоумение. Впрочем, он наивно полагал, что теперь незнакомка перестанет от него прятаться, как она делала это до сих пор по причине каких-то особых соображений, а вернее, из-за чисто женского каприза. Как только в комнату опять будут внесены светильники, думал он, ему удастся без особых препирательств удостовериться в том, что с виду товар не хуже, чем на ощупь. Но здесь его постигло разочарование: на даме опять оказалась надета личина. Это не понравилось Риччардо и смутило его, но он скрыл свое неудовольствие за улыбкой, сделав вид, будто считает игрою и шуткой то, что, дав ему насладиться своими прелестями, незнакомка теперь лишает его радости узреть их воочию. Такими и другими подобными речами он все время пытался убедить ее уступить его просьбам и показать свое лицо тому, кому она уже доказала свою любовь как на словах, так и на деле. Однако это ни к чему не привело, ибо дама искусно и весьма

логично отражала все его доводы и аргументы. Тогда Риччардо решил придать своим убеждениям больше веса, присоединив к словам действия: он полагал вполне естественным приложить все усилия к тому, чтобы увидеть ту, с которой он столь приятно провел ночь. Но Лавинелла, защищая себя руками и ногтями не менее успешно, чем языком, оттолкнула от себя юношу и напомнила ему, что он дал клятвенное обещание не обижать ее и не докучать тем, что может показаться ей неприятно. К этому она добавила слова о том, что если он не уступит и не откажется от праздного желания увидеть ее лицо, то подвергнет ее опасности скандала, в результате которого ее репутации будет нанесен невосполнимый ущерб. А дабы заставить молодого человека отказаться от попыток силой спясть с нее маску, она ему тут же наобещала, что ежели он позволит ей беспрепятственно уйти и не станет принуждать ее к дальнейшим признаниям, то не пройдет и двух часов, как он получит достовернейшие сведения о том, кто она такая. Риччардо подобные заверения Лавинеллы показались весьма странными. Он не мог уразуметь, как это она, не желая открыться в его доме, исполнит его просьбу через какой-нибудь час-другой, и не знал, какое решение ему принять. Все же ему представлялось делом недостойным стремиться вопреки воле дамы выведать имя и положение в обществе той, которая столь великодушно и любовно шла до сих пор навстречу всем его прочим желаниям. В конце концов Риччардо решился сделать так, как угодно и приятно его даме.

В тот самый вечер в квартале Казато давался шумный бал, на который были приглашены все знатные дамы города. Туда-то Лавинелла и попросила ее проводить. Остановившись у двери того дома, где давался бал, она сказала, обращаясь к Риччардо:

– Не препятствуйте, душа моя, тому, чтобы я одна вошла в этот дом. Войдите в него через некоторое время после меня. А когда вы подниметесь наверх, то пройдите в залу, где веселятся женщины, и обратите внимание на ту из них, которая станет покусывать кончик своей косынки. Так вы узнаете ту, которая, испытывая от сего великую радость, незнакомкой лежала в ваших объятьях и которая всецело отдала вам и душу свою и тело.

Риччардо послушно исполнил все, о чем его попросила дама в маске, и не заподозрил с ее стороны никакого подвоха, памятуя о том, что она до сих пор говорила и делала. Выждав время, которое понадобилось его юной спутнице для того, чтобы затеряться в толпе гостей, он вошел в комнату, где собравшееся там благородное общество предавалось благопристойным играм и забавам, и принялся, внимательно вглядываясь в лица, присматриваться к приглашенным, дабы по имеющейся у него примете распознать наконец ту, кого подарила ему в эту ночь судьба. Однако, оглядев по очереди всех дам и обнаружив, что ни одна из них не покусывает кончик косынки, как то ему было обещано, а также не одета в цвета его незнакомки, уразумев из разговоров мужчин, что в этот вечер в доме никто не появлялся в маске, Риччардо без труда понял, что произошло. Он подумал, – как оно и оказалось на самом деле, – что незнакомка оставила его под конец с носом, заставив ждать у двери, в то время как сама ускользнула через другой вход, даже не поднявшись ни в залу, ни в какую-либо другую комнату. У названного дома помимо главного, парадного подъезда, выходящего на центральную улицу квартала Казато, имелась другая и, пожалуй, не менее удобная входная дверь, через которую можно было попасть прямо к церкви Санта Кроче. Воспользовавшись ею, Лавинелла укрылась в своем доме, и там ее уже мало заботили мысли о Риччардо и о том, что с ним случилось. Юноша же, движимый своими подозрениями, спустился вниз и, обнаружив незапертую дверь, окончательно убедился в правильности своих предположений.

Вот каким образом Риччардо оказался лишенным той страстно им желаемой радости, которая, как он надеялся, вознаградила бы его за все огорчения минувшей ночи, а Лавинелла в одно и то же время удовлетворила и свои пылкие желания, и порывы чувственной страсти, причем так, что тот, кто послужил для сего орудием, никогда не узнал, кому он доставлял наслаждения. Лавинеллу это весьма радовало, ибо она твердо верила, что сохранила честь свою незапятнанной, полагая, видимо, как то делают ныне очень многие, что честь целиком исчерпывается сведениями, которыми располагают о

жизни и нравах человека его соседи, и мнением, которое они о нем составляют. Именно поэтому она считала, что ей удалось уберечь овец, накормить волков и самым неприятнейшим образом сочетать любовь с честью.

#### Примечания

Джованни Боккаччо (1313–1375) – наряду с Петраркой одни из зачинателей литературы итальянского Возрождения, автор большого количества сочинений на народном (итальянском) и латинском языках. Среди них «Амето», «Фьяммотта», «Фьезоланские нимфы», «Ворон» («Корбаччо»), «Жизнь Данте» (называю лишь произведения, имеющиеся в русском переводе). Но безусловно величайшим созданием Боккаччо является «Декамерон» (1349–1351), обессмертивший имя автора.

На русском языке имеются шесть полных переводов этой книги. Из дореволюционных переводов лучшим и самым известным является перевод академика А. Н. Веселовского, неоднократно издававшийся с небольшими купюрами церковно-цензурного порядка. Сохранилось, впрочем, небольшое количество экземпляров первого издания без купюр. Один такой экземпляр принадлежал писателю Н. С. Лескову и ныне хранится в его личной библиотеке в г. Орле.

Для настоящего издания отобраны три новеллы из «Декамерона» (5 новелла второго дня, новелла 7 восьмого дня, и новелла 10 десятого дня). Последняя пользовалась в свое время особенной известностью. В знак восхищения Петрарка перевел ее на латинский язык, а в России начала XIX века ее перевел на русский знаменитый поэт и тонкий знаток итальянской литературы К. Н. Батюшков. В данном издании все три новеллы даются в переводе Н. М. Любимова.

Франко Саккетти (около 1330–1400) – довольно плодовитый флорентийский писатель, автор одной из первых в итальянской литературе ироикомических поэм «Битва юных красоток со старухами», многочисленных стихотворений морального, любовного и политического характера. Но в литературе он остался как автор сборника «Триста новелл», из которых до нас дошло 223, да и то не всегда в совершенных списках. Впервые новеллы Саккетти были напечатаны в двух томах в 1724 г., а уже через три года издание это попало в Индекс запрещенных книг. По современники и последующие поколения итальянских новеллистов хорошо впали новеллы Саккетти по рукописным спискам. Многие писатели на него ссылались, а некоторые и прямо использовали его сюжеты.

В настоящий сборник включены новеллы в переводе А. Г. Габричевского.

Имеется и полное русское издание новелл Саккетти в переводе академика В. Ф. Шишмарева (издание АН СССР, 1962 г.).

Сер Джованни Флорентиец – анонимный автор второй половины XIV в. Споры о том, кто скрывается под этим именем, велись и ведутся. Ясно только, что это был флорентиец и что ему приписывается сборник из пятидесяти новелл под названием «Пекороне», поделенный на двадцать пять дней, в течение которых юный капеллан и юная монашка, влюбленные друг в друга, поочередно рассказывают различные истории.

Многие из новелл сборника восходят к известной хронике Виллани и литературе средневековья.

Публикуемая в переводе Н. Живаго новелла I, четвертого дня, одна из лучших в «Пекороне», имела счастливую литературную судьбу. Этой новеллой воспользовался Шекспир для своего «Венецианского купца».

Мазуччо Гуардати (около 1410–1475), писавший под псевдонимом Мазуччо Салернитанец. Из знатной семьи, родом из Салерно (или, по другим предположениям, из Сорренто). Биография его малоизвестна. Достоверно лишь, что был он связан с крупнейшими неаполитанскими гуманистами и что некоторое время он отправлял должность секретаря Роберто Сансеверино, князя Салернитанского. Знаменитый его «Новеллино», сборник, состоящий из пятидесяти новелл и разбитый на пять декад, вышел уже после смерти автора (в 1476 г.). В начале второй половины XVI в. «Новеллино» был внесен в Индекс запрещенных книг.

Работая над своими новеллами, Мазуччо ориентировался на «Декамерон» Боккаччо. Это заметно и в построении сборника и в художественных частностях. Уступая своему великому предшественнику в литературных достоинствах, Мазуччо превосходил его в остроте критики, особенно в ряде новелл с антиклерикальной направленностью.

«Новеллино» Мазуччо был издан на русском языке в 1931 г. Нами взяты две новеллы: одна в переводе М. Рындина, другая – С. Мокульского.

Луиджи Пульчи (1432–1487) – одна из самых ярких фигур флорентийского кружка Лоренцо Великолепного. Из разнообразного литературного наследия Пульчи (письма к Лоренцо Медичи, лирика, поэмы) наибольшей известностью пользуется его знаменитая поэма в двадцати восьми песнях «Большой Моргайте». Публикуемая в сборнике «Новелла о сиенце» (перевод Т. Блантер) является у Пульчи единственным сочинением в этом жанре.

Лоренцо де'Медичи (1448–1492). Личность Лоренцо де'Медичи, прозванного Великолепным, замечательное явление даже для эпохи Возрождения. Выдающийся политик, фактический самодержец Флоренции, тонкий дипломат, превосходный поэт, образованнейший гуманист, он создал при своем дворе один из важнейших центров культуры Возрождения.

«Новелла о Джакопо», публикуемая в переводе Р. Хлодовского, единственное сочинение Лоренцо в этом жанре.

Никколо Макьявелли (1469–1527) – выдающийся мыслитель, политик и писатель эпохи Возрождения. Его многочисленные письма, трактаты, исторические сочинения, а также пьесы («Мандрагора» в первую очередь) сыграли большую роль в формировании итальянской прозы и драматургии. Как стилист Макьявелли не имел себе равных в итальянской прозе после Боккаччо. Менее интересна его поэзия.

«Сказка» о черте, который женился, написана в вынужденном изгнании лет за десять до смерти. Впервые опубликована она была в 1549 г. В XVII в. новеллу Макьявелли переложил стихами знаменитый французский поэт и баснописец Лафонтен. Англичанин Уилсон воспользовался ей для своей трагикомедии «Бельфагор, женитьба дьявола».

На русский язык ее впервые перевел А. Г. Габричевский в издании: Н. Макьявелли. Сочинения, т. 1. М. – Л., «Academia», 1934. В этом переводе новелла воспроизводится в настоящем издании.

Франческо Мария Мольца (1489–1544) – поэт-гуманист, связанный с окружением двух пап из дома Медичи (Льва X и Климента VII). Писал, согласно обычаю времени, по-итальянски и по-латыни. При жизни пользовался большой известностью (особенно поэма «Тибрская нимфа»). Начал работать над сборником новелл, но успел написать всего четыре. Родился и умер в Модене, хотя большую часть жизни прожил в Риме.

Новелла «Дочь короля Британии...» в переводе Н. Живаго была впервые напечатана в томе БВЛ «Европейская новелла Возрождения». М., 1974.

Луиджи Аламанти (1495–1556) по знатности своего происхождения и полученному воспитанию довольно рано приобщился к избранному флорентийскому обществу, кружку поэтов, художников и ученых, собиравшихся в садах Оричеллари. Участвовал в заговоре против Джулио Медичи, правителя Флоренции. Аламанти вынужден был бежать в Венецию, а с восшествием Джулио Медичи на папский престол под именем Климента VII бежал дальше, во Францию. Вернувшись после восстановления республики (1527) в родной город, снова вынужден был бежать во Францию, так как Медичи опять овладели Флоренцией. Во Франции прочно обосновался при дворе Франциска I, а потом и Екатерины Медичи, будущей королевы Франции. Тогдашняя мода на все итальянское облегчала жизнь поэта-изгнанника. Он писал бывшие тогда в моде эклоги, петраркистские стихи, поэмы, более всего заботясь о совершенстве слога. Публикуемая в переводе Т. Блантер новелла «Бьянка, дочь Тулузского графа...» – единственная в его творчестве.

Луиджи Да Порто (1485–1529) родом северянин (из Виченцы), воспитывался при Урбинском дворе, бывшем тогда одним из центров итальянского гуманизма. На службе у Венецианской республики участвовал в войне против Камбрейской лиги (Папская область, Франция, Испания и Германская империя). Эту войну он описал в своих «Исторических письмах». Как лирик не выделялся среди других итальянских петраркистов того времени.

Больше прославил имя Да Порто единственная его новелла «История двух благородных влюбленных», дошедшая до нас в двух редакциях (1524 и около 1530). Именно она через последующие ее обработки Банделло и др. вдохновила Шекспира на знаменитую его трагедию «Ромео и Джульетта», хотя, как полагают исследователи, непосредственным источником послужила Шекспиру поэма Артура Брука «Трагическая история Ромео и Джульетты» (3020 стихов), опубликованная в 1562 г.

Публикуемый перевод А. Вишневого впервые напечатан в сборнике «Европейская новелла Возрождения», БВЛ. М., 1974.

Аньоло Фиренцуола (1493–1545) по языку один из самых «флорентийских» писателей первой половины XVI в. Он старается сохранить простой местный говор и в своем «Золотом осле» (вольной обработке книги Апулея), и в «Первой части разговоров животных» (переложение «Метаморфоз» Апулея и сказок Панчатантры), и, прежде всего, в «Беседах о любви», сборнике, задуманном в подражание «Декамерону», Фиренцуола предполагал написать тридцать шесть новелл, распределенных на шесть дней, с «рамкой», живописующей аристократическое общество рассказчиков в духе этических и эстетических идеалов эпохи. Но замысла своего он исполнить не успел.

В данном издании публикуются две новеллы в переводе А. Г. Габричевского, взятые из сборника «Итальянская новелла Возрождения» М., «Известия», 1964.

Антонфранческо Граццини по прозвищу Ласка (1503–1584) – флорентийский комедиограф, поэт-сатирик, знаток народного флорентийского наречия. По роду занятий аптекарь, а потому сталкивавшийся с самыми разными человеческими судьбами и житейскими горестями. «Вечерние трапезы», откуда взята публикуемая в переводе Р. Хлодовского новелла, при всей своей незаконченности остаются лучшим произведением Граццини. Во «Введении» описывается компания из пяти молодых людей и пяти юных дам, играющая в снежки. За вечерними трапезами (по плану их три) они должны были рассказывать всякие истории: за первой – короткие, за второй – средние, за третьей – длинные. От

последней осталась только одна история.

Маттео Банделло (1485–1561) – замечательнейший после Боккаччо итальянский новеллист. Учился в Милане, потом в Павии. Юношей вступил в доминиканский орден, генералом которого был его дядя. По долам ордена много разъезжал по Италии. В 1506 г. обосновался в Милане, где стал завсегдатаем светских и литературных сборищ у Ипполиты Сфорца Бентиволья. Одним из литературных пристрастий Банделло был Петрарка. По его стопам (но не превращаясь в эпигона) он стал писать сонеты и канцоны. Обессмертившие его новеллы писал в течение пятидесяти лет (с 1510 по 1560 гг.). Написал двести четырнадцать из трехсот замысленных. Большинство их было напечатано еще при жизни автора. Бурная общественная и политическая жизнь эпохи в изобилии поставляла материал. Именно своими новеллами он заслужил прозвище «Боккаччо Чинквеченто». Последние десятилетия прожил во Франции, куда бежал от возможных преследований за свою службу у военачальника Фрегозо, убитого по повелению Карла V. Во Франции пользовался покровительством короля Франциска I и водил дружбу с Маргаритой Наваррской, спокойно занимаясь литературными трудами.

В настоящий сборник включены две новеллы из первой части «Новелл» Банделло (новелла III в переводе А. Шадрина и новелла LVIII в переводе Н. Георгиевской) и две новеллы из третьей части новеллы XLIII и LXV в переводе А. Шадрина). Все четыре взяты из сборника «Европейская новелла Возрождения», БВЛ. М., 1974.

Пьетро Фортини (1500–1562) – сиенский писатель, оставивший после своей смерти несколько комедий, поэму на сюжет сказки Апулея и два собрания новелл: «Дни юных влюбленных» и «Приятные и сладостные ночи юных влюбленных». В первом – сорок девять новелл и восемь рассказчиков, во втором – тридцать две новеллы и десять рассказчиков. Оформление схоже с декамероновской традицией, но сами новеллы по своему характеру вполне оригинальны.

Публикуемая в переводе Р. Хлодовского, новелла взята из первого сборника (вторая новелла первого дня). Ранее перевод был опубликован в сборнике «Европейская новелла Возрождения», БВЛ. М., 1974.

Джованфранческо Страпарола (1480–1658?) родился и жил в Караваджо (Эмилия). Многочисленные стихотворные сочинения (сонеты, канцоны, страмботти и др.) не снискали ему особой славы. Поэтом он был посредственным. В литературе он остался благодаря сборнику своих новелл «Приятные ночи», которые рассказывают десять дам и два кавалера в дни карнавала на острове Мурано (Венеция) во дворце Лукреции Сфорца. Рассказывая различные истории (многие из которых носят сказочный характер), они предлагают собравшимся и хитроумные загадки. Многие новеллы восходят и к новеллистам прошлого (Боккаччо, Саккетти и др.). Рассказываются они в нарочито неприглаженной форме. Некоторые написаны даже на местном бергамаском наречии. Отдельными новеллами Страпаролы воспользовался впоследствии французский сказочник Шарль Перро.

Всего в сборнике, разделенном на тринадцать «ночей», семьдесят с лишним новелл.

На русском языке имеется полный перевод сборника (проза А. С. Бобович, стихи Н. Я. Рыкова), изданный в серии «Литературные памятники». М., «Наука», 1978. В нашем издании две новеллы даются в переводе Е. Солоновича и две в переводе А. Бобовича.

Джироламо Парабоско (1524–1557) – музыкант, поэт, прозаик, комедиограф и полиграф. Родом из Пьяченцы. Жил преимущественно в Северной Италии, был тесно связан с венецианской художественной интеллигенцией. Лучшее из им написанного – семнадцать

новелл (из ста задуманных). В смысле подачи материала весьма традиционен: компания молодых людей укрывается от непогоды у рыбаков и в течение трех дней рассказывает истории «за» или «против» женщин. Из сборника Парабоско «Потехи» дается одна новелла в переводе Т. Блантер, ранее опубликованная в томе БВЛ «Европейская новелла Возрождения», М., 1974.

Шипионе Баргальи (1540–1612)) – писал на закате эпохи Возрождения. По происхождению и воспитанию был связан с высшим обществом Сиены. Это сказалось на наиболее примечательном его сочинении с несколько велеречивым названием: «Забавы, во время которых прелестные дамы и молодые люди развлекались пристойными и приятными играми, рассказывали новеллы и спели несколько любовных песенок». Но рассказать они успели всего шесть новелл. Публикуемая новелла является в сборнике предпоследней. На русском языке она впервые появилась в переводе П. Муратова («Новеллы итальянского Возрождения. Часть третья. Новеллисты Чинквеченто». М., 1913). В данном издании она публикуется в переводе Р. Хлодовского, ранее напечатанном в сборнике «Европейская новелла Возрождения», БВЛ. М., 1974.

## Примечания

1

«О достопамятных событиях» (лат.).

2

Добродетели (лат.).

3

Pertugio, Malpertugio (ит.) – буквально «Дыра» и «Скверная дыра» – квартал в портовой части Неаполя, там находились торговые склады и лавки. Район славился злачными местами.

4

Агридженто – город в Сицилии.

5

То есть сторонником Анжуйского дома, изгнанного из Сицилии в 1282 г. после знаменитой Сицилийской вечери.

6

Имеется в виду Карл II (1285–1309).

7

Имеется в виду Фридрих II Арагонский, провозглашенный в 1296 г. королем Сицилии.

8

Характерная для «почвенности» этой новеллы деталь: именно во времена Боккаччо в районе «Трущобы» проживала некая мадонна Флора-сицилийка.

9

Имеются сведения о реальном существовании этого сицилийца, сторонника Анжуйского дома. В новелле имеется много временных смещений, хронологических неувязок. Но, главное, Боккаччо воспроизводит с удивительной точностью атмосферу жизни современного ему Неаполя, со всеми сплетнями, пересудами, городскими преданиями и легендами.

10

Филиппо Минутоло – архиепископ Неаполя; умерший в 1301 г.

11

В этом соборе похоронен архиепископ Минутоло. Его мраморная гробница находится там и по сей день. Бенедетто Кроче сообщает, что тело архиепископа, которое обнимал дрожавший от страха Андреуччо, покоится в капелле Минутоло Капече. Любопытно, что новеллу об Андреуччо рассказывает именно Фьимметта, та девушка, которой Боккаччо присвоил имя своей неаполитанской возлюбленной.

12

Средневековая литература изобиловала описаниями всяческих проделок, которые вытворяли женщины над поэтами, учеными, философами. Вслед за другими писателями в защиту этих «обижаемых» выступил и Боккаччо.

13

Церковь Санта Лючия у Порта дель Прато существует и поныне.

14

Мысль эту о грозной силе пера Боккаччо разовьет потом в своем «Корбаччо». Вообще же мысль о силе писательского пера будет очень популярной у писателей эпохи Возрождения разных стран. Перо охотно приравнивали к колющему оружию, а с изобретением пороха – и к огнестрельному.

15

Боккаччо слегка перефразирует стих Данте («Божественная Комедия», «Чистилище», песнь VI, 116).

16

Начиная с 1142 г. Салуццо на протяжении четырех веков был центром сильного маркизата. Среди маркизов Салуццских несколько человек носили имя Гвальтьери.

17

Конец жизни Данте (1265–1321) провел в Равенне, где и похоронен. Саккетти обращается к Данте и в ряде других новелл, в частности в новелле CXIV.

18

Имеется в виду замок неподалеку от Сиены.

19

В XIV веке Италию неоднократно посещала чумная эпидемия (одну из них красочно описал Боккаччо в «Декамероне»), и потому трудно сказать, какую именно эпидемию имел в виду Саккетти.

20

Виопа – добрая, хорошая (ит.)

21

Гвидо Кавальканти (ок. 1259–1300) – знаменитый итальянский поэт, друг Данте, родом из знатной флорентийской семьи.

22

Близ этих флорентийских ворот жил Данте.

23

Речь идет о стихах «Божественной Комедии».

24

То есть о героях средневекового рыцарского эпоса.

25

Данте принадлежал к фракции «белых» гвельфов, враждовавшей с «черными» гвельфами.

26

Реальное историческое лицо. О нем писал Петрарка, находя в нем «неплохое, но странное дарование». Да и Саккетти называет его «отчасти поэтом».

27

Бернардино да Полента был синьором Равенны с 1346 по 1359 гг.

28

Действительно, во времена Саккетти (и до 1482 г.) гробница Данте находилась в церкви св. Франциска.

29

То есть в 1370 г. С Урбаном V связано возвращение панской столицы из Авиньона в Рим.

30

То есть Рима.

31

Король Артур – легендарный кельтский король, герой рыцарских романов «О короле Артуре и рыцарях Круглого стола». Готфрид Бульонский (XI в.) – герцог Нижней Лотарингии, участник первого крестового похода и герой ряда эпических произведений.

32

Давид, Иисус Навин, Иуда Маккавей – библейские персонажи. Давид – победитель великана Голиафа. Два последних – полководцы.

33

Подразумевается притворное самобичевание.

34

Фабула этой новеллы отнюдь не нова. Она встречается, например, в новелле XXV знаменитого сборника «Сто новых новелл», составленного в конце XIII в. во Флоренции. С новеллами этого сборника Саккетти был несомненно знаком по спискам или устной традиции.

35

То есть в церкви того же названия.

36

Речь идет об Андреа ди Чоне, по прозвищу Орканья (1308–1358), известном живописце, скульпторе, архитекторе и поэте. Капелла в Орто Сан Микеле – лучшее его творение.

37

Джотто ди Бондоно (1266 или 1267–1337) – великий итальянский живописец.

38

Таддео Гадди – ученик Джотто. Автор фресок в церкви Сан Миньято а Монте.

39

Тогда один, по имени Альберто... – Альберто Орланди, ученик Андреа Пизано. Работал во Флоренции.

40

Похоже, что речь идет о Никколо ди Бельтрамо, скульпторе-каменотесе,

заготовливавшем мрамор для флорентийского кафедрального собора.

41

Речь идет о великом греческом скульпторе V в. до и. э.

42

На этом новелла Саккетти обрывается.

43

Фаенца – город в Италии, славный гончарным производством.

44

Франческо – основатель синьории Манфреди в 1313 г. В 1327 г. был свергнут своим сыном Альбергентино, обезглавленным в 1329 г. Ричардо был владетельным синьором Фаенцы и Имолы с 1334 по 1348 г.

45

Нона – церковная служба, совершавшаяся в три часа пополудни. По-итальянски «Нона» означает «9-й час», учитывая же разницу в исчислении времени, соответствует нашим трем часам.

46

Джованни Понтано (1426–1503). Родом из Умбрии, с 1447 г. в Неаполе. При короле Альфонсе I занимал крупные государственные должности. Автор многочисленных сочинений, виднейший неаполитанский гуманист, основатель Понтановской академии.

47

Св. Бернардин (1330–1444) – реформатор ордена францисканцев, умер в Аквиле, куда он отправился в предсмертное паломничество.

48

В ту пору Милан славился как центр не только оружейного производства, но и своими кузнями и литейными мастерскими.

49

Капитул – совет из духовных лиц, состоящий при настоятеле и вершащий важнейшие монастырские дела.

50

Приди, животворящий дух» (лат.).

51

Энрико Арагонский, сын короля Фердинанда I. Умер в 1478 г., отравившись ядовитыми грибами.

52

Болонский университет был не только старейшим в Европе (основан в XII в.), но и крупнейшим научным центром.

53

Известный итальянской филолог Луиджи Сеттембрини, издатель первого научного издания «Новеллино», сделал к этому месту примечание: «А какое другое имя могла носить авиньонка?» Сеттембрини имел в виду знаменитейшую Лауру Петрарки.

54

Новелла посвящается Ипполите Сфорца, дочери кондотьера, породнившегося через жену с миланским герцогом Филиппо Мария Висконти. После смерти последнего Сфорца силой заставил признать себя его наследником.

55

По договору 1438 г. Франческо Сфорца обязывался никогда не выступать против Флоренции. Слова о любви к Медичи – дань этикету.

56

Под «родичем» подразумевается французский король Людовик XI.

57

Папа Пий II (1458–1464). Под этим именем на панский престол был избран видный гуманист Энеа Сильвио Пикколомини, уроженец Корсиньяно (Сиена). Далее в тексте говорится, что был он славен не менее, «чем Троянец». Речь идет о троянском герое Энее, от которого, согласно легенде, ведет свою родословную Юлий Цезарь.

58

Согласно греческой мифологии, Пик был сыном Сатурна. Волшебница Кирка, отвергнутая Пиком, обратила его в дятла. Пик почитался первым властителем Италии.

59

Далее следует краткий, но достаточно энергичный сатирический выпад против этого города, давнего соперника, а иногда и прямого противника Флоренции. У писателей-флорентийцев таких выпадов можно отыскать множество.

60

В Сиене того времени фамилия Беланти пользовалась большим весом, но никаких конкретных намеков в персонаже новеллы Медичи искать не следует. Важнее другое: проделка с простофилей Джакопо весьма сходна с той, что измыслил Каллимако с друзьями над простаком Ничей в знаменитой комедии Макьявелли «Мандрагора».

61

В ту пору университет Сиены считался одним из лучших в Италии.

62

В Библии говорится иначе: царь Давид был наказан за то, что отнял жену у своего полководца Урии.

63

Архидьявол Бельфагор – согласно библейской версии, бог моавитян, особенно почитавшийся женщинами (видимо, по аналогии с Приапом, римским богом сладострастия и плодородия).

64

Минос, Радамант – судьи в загробном мире (греч. миф).

65

Речь идет о Карле Анжуйском.

66

Либо простая ошибка, либо анахронизм. Современником Карла Анжуйского был Людовик IX.

67

Дофин – наследный принц.

68

То есть с помощью правительственных или судебных чиновников.

69

Орест – герой греческих аргосских сказаний, сын царя Агамемнона и Клитемнестры. Возвратившись из-под Трои Агамемнон был предательски убит своей женой Клитемнестрой и ее возлюбленным Эгистом. Мстя за отца, Орест убил мать и любовника. За пролитую кровь матери его долго преследовали богини мести Эриннии.

70

Мольца перечисляет трех поэтов-гуманистов, пользовавшихся в первой половине XVI века известностью и, видимо, хороших знакомцев самого Мольца.

71

Аргус – стоглазый страж богини Геры; Линкей – герой греческой мифологии, сын Афаря, отличался необыкновенно острым зрением. В переносном значении Линкей – зоркий страж.

72

Под «Золотыми лилиями» следует понимать Францию (лилия – французский герб), присоединившую Лангедок в XIII в.

73

Уния Каталонии и Арагона произошла в XII в., а объединение Арагона с Кастилией в самом конце XV в.

74

Речь идет о Персефоне, похищенной Плутоном. Плутон заставил ее проглотить гранатовые зерна, символ нерасторжимости брака.

75

Св. Рокко был родом из Монпелье, города в Лангедоке.

76

То есть в Сантьяго-де-Компостелла, на поклонение мощам св. Иакова, покровителя Испании.

77

Обращение к родственнице Лучине Саворньяна. Ей посвящена новелла.

78

Бартоломео делла Скала – правитель Вероны (1300–1304).

79

Об этих двух веронских семействах писал еще Данте: «Приди, беспечный, кинуть только взгляд: // Мональди, Филиппески, Каппеллетти, // Монтекки, – те в слезах, а те дрожат!» («Божественная Комедия». «Чистилище», песнь VI, 106–108, перевод М. Лозинского). Понимание дантевской терцины вызывает спор комментаторов. Более или менее установлено лишь одно: Каппеллетти принадлежали к партии гвельфов, а Монтекки – к яростным гибеллинам. И Да Порто несомненно знал текст Данте.

80

Духовные лица могли быть схвачены или судимы только с разрешения церковных властей.

81

Под «нашими краями» следует понимать Флоренцию.

82

Речь идет об истории, рассказанной в «Декамероне» Боккаччо (день второй, новелла 8), про графа Анверского, которого ложно обвиняют и он отправляется в изгнание. Вернувшись неузнанным, он поступает в качестве конюха к французскому королю, признается повинным и возвращается в прежнее состояние.

83

В 10 новелле третьего дня Боккаччо рассказывает о том, как Алибек становится пустынною и монах Рустико научает ее, как «загонять дьявола в ад».

84

Прямая цитата из «Божественной Комедии» («Ад», песнь V, 103), слова Франчески да Римини.

85

В «Естественной истории» Плиния Старшего и в самом деле в соответствующем месте говорится о гермафродитах.

86

Видимо, речь идет о «Достопамятных деяниях и речениях в девяти книгах» Баттисты Фрегозо (1453–1504).

87

Авиценна (Абу Али Ибн Сина) – знаменитейший ученый и мыслитель (980–1037). В эпоху средневековья и Возрождения пользовался непререкаемым авторитетом в области медицины за свою книгу «Канон врачебной науки».

88

89

Сан Мартин ла Пальма – селение неподалеку от Флоренции.

90

Исходный мотив новеллы – месть молодого человека за перенесенные им издевательства со стороны кокетничающей с ним дамы – несколько напоминает известную новеллу

Боккаччо (день восьмой, новелла 7), публикуемую в данном сборнике. Сама же новелла Банделло служила для многих критиков образцом при анализе повествовательной техники Банделло-рассказчика.

91

Знаменитый флорентийский художник (1406–1469). О нем ходило много всяких рассказов. То, что рассказывается в данной новелле, никакими фактическими данными не подтверждается.

92

Великий греческий художник, ставший легендой, Апеллес (IV в. до и. э.), известен всему миру, но ни одного его произведения до нас не дошло.

93

Речь идет о капелле Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине с росписями Мазаччо (1401–1428).

94

Козимо Медичи (1389–1464), флорентийский банкир, меценат, фактический правитель Флоренции. От него и пошла династия Медичи.

95

Папа Евгений IV (1431–1447). На целых двенадцать лет был изгнан из Рима могущественным семейством Колонна. Созвал флорентийский Собор для объединения восточной и западной церквей (с этим собором связало едва ли не первое описанное путешествие русского посольства в Италию), закончившийся безрезультатно.

96

То есть заниматься греблей на галере, а не живописью.

97

Мусульманская религия запрещала изображать людей и животных. В этом смысле и следует понимать этот пассаж.

98

Филиппино Липпи (1457–1504), художник, сын фра Филиппо, ученик Сандро Боттичелли.

99

Лодовико Сфорца (1451–1508) узурпировал миланский престол при поддержке Франции. Потом перешел на сторону ее врагов, потерпел поражение и скончался в плену. При его дворе жил и работал Леонардо да Винчи.

100

«Очисти меня, господи!» (лат.)

101

«Господи Иисусе, помоги мне!» (лат.)

102

Кьоджа – рыбацкий городок неподалеку от Венеции, впоследствии прославленный Гольдони.

103

В описываемую эпоху юбилейными, «святыми» годами церковь объявила каждый пятидесятый год. Любой католик, посетивший Рим в тот год и побывавший в определенном количестве церквей, получал отпущение грехов. В более поздние времена «юбилейным» стал каждый двадцать пятый год.

104

Галеот – лицо вымышленное. Такого короля в Англии не было. Не исключено, что имя это подсказано автору сказаниями о рыцарях Круглого стола.

105

Вероятно, имеется в виду венгерский король Матиаш Корвин (XV в.), талантливый полководец и законодатель, ведший успешную борьбу с Австрией, Польшей и Турцией.

106

Характеристика, обязанная наводящемуся там университету, основанному еще в самом начале XII века.

107

Имена дам, о которых повествуется в новелле, расшифровываются так: Эмеренцьяна (лат.) – заслуженная, Пантемья (греч.) – всеми чтимая, Симфорозья (греч.) – счастливая.

108

Птичий клей готовился из омелы, паразитирующей на коре дуба, груши и других деревьев. Клеем обмазывали ветви и ловили увязших в нем птиц.

109

Очевидно, имеются в виду рыцарские романы, над которыми подтрунивали многие писатели Возрождения и которые так жестоко осмеял Сервантес.

110

Стихи в переводе Н. Я. Рыковой.

111

Крестный отец и крестная мать в соответствии с церковными правилами не могли вступить в брак, не говоря уже о прелюбодейной связи, которая в глазах церкви становилась кровосмесительной.

112

Стихи в переводе Н. Я. Рыковой.

113

Евангелие от Иоанна, Гл. XI, 1–44.

114

То есть в Сиене.

115

«Riccio» («риччо» по-итальянски значит «курчавый»).